

The background of the cover is an abstract composition of various geometric shapes and organic forms in shades of terracotta, ochre, and cream. A prominent white triangle is positioned in the lower-left quadrant. In the bottom-left corner, there is a small graphic element consisting of a black square partially overlaid by a pink rectangle. In the bottom-center, there is a solid black circle. In the top-right corner, there is a white graphic element consisting of several parallel diagonal lines.

Диана Пинто

Меж двух миров

Библиотека
Московской
школы
политических
исследований



Библиотека
Московской
школы
политических
исследований

Библиотека Московской школы
политических исследований

Редакционный совет:

А.Н. Мурашев

В.А. Найшуль

Е.М. Немировская

А.М. Салмин

Ю.П. Сенокосов

А.Ю. Согомонов

Диана Пинто

Меж двух миров

Европейская культура
и американская демократия

Москва, *Ad Marginem*, 1996

Перевод с французского Наталии Кисловой;
главы “1956”, “Вашингтон”, “Каникулы в Европе” переведены
Кириллом Чекаловым

Художественное оформление серии А.Бондаренко

Русский перевод данной книги осуществлен с любезного согласия автора.
Издательство выражает г-же Д. Пинто свою искреннюю признательность

Перевод выполнен по изданию: Diana Pinto. Entre deux mondes.
Ed. Odile Jacob: Paris, 1991

Книга издана при финансовой поддержке корпорации НИПЕК

ISBN 5-88059-014-3

- © Издательство “Ad Marginem”, 1996
- © Московская школа политических исследований, 1996
- © Художественное оформление – А.Бондаренко, 1996

Содержание

9	Предисловие
13	Противоречивость корней
Европейка	
27	1956 год
42	Вашингтон
72	Атланта
116	Каникулы в Европе
139	Канадское интермеццо
Гарвард	
156	Миф
171	Кампус
186	Противостояние
196	Европа в Гарварде
Американка	
209	Итальянское интермеццо
234	Возвращение в Гарвард
239	Европа—1975
253	Гражданка Трансатлантики
264	Эпилог: панъевропейка

О Диане Пинто – эксперте Московской школы политических исследований и авторе этой книги – читатель узнает почти все, прочитав ее. Мне же хочется сказать несколько слов о прочитанном.

Лично мне эта книга кажется необычайно интересной по двум причинам. Во-первых, я вообще равнодушен к жанру “поисков” человеком своего места в мире. А здесь это интересно вдвойне и поучительно. И потому, как и что автор ищет (некую совершенную модель демократии, облагороженную ценностями европейской культуры), и потому, что ищет там, где мы, русские, никогда не искали – между Европой и Америкой. Для нас это некий нонсенс. Поэтому, особенно молодому политику, я думаю, стоит ее прочитать, чтобы познакомиться ближе с жизненным опытом современного западного интеллектуала, озабоченного будущим Европы. Мне представляется, что идейный стержень книги – названный выбор между американской демократией, защищающей личную свободу, и европейской культурой, тяготеющей к демократии большинства, – необычайно важен. Уже сама постановка этой проблемы, вплетенной в биографию человека и оттого убедительной, на мой взгляд, самое ценное в ней. Во всяком случае, книга захватила меня именно этим. Я читал ее не отрываясь, ясно понимая одновременно (и это тоже ее достоинство), как трудно поддерживать европейцам уже достигнутый уровень жизни и культуры. Насколько хрупкая это вещь – цивилизация. Ведь это не нечто вещественное – не технические или материальные достижения людей, а то, что держится постоянным усилием и волей человека. Его ответственностью.

Я вижу в книге несомненное проявление чувства ответственности современного европейца за будущее, в том числе и России.

И второе – фактический материал книги: непосредственные впечатления автора от жизни в США, Италии, Франции, Германии, Португалии. Разумеется, все мы в России что-то знаем об этом – из газет, радио, телевидения, а теперь и собственных зарубежных поездок. Однако тот драматизм и ирония, с которыми Диана Пинто на их фоне описывает свой жизненный опыт, заставляют не просто иначе посмотреть на уже знакомые события, например недавней итальянской истории, но и пережить их как бы заново, в состоянии неожиданного и острого сопереживания.

Уверен, что читатели согласятся после знакомства с книгой с этой ее оценкой. Такие книги появляются нечасто. Для этого, по меньшей мере, нужно быть и талантливым рассказчиком, и иметь столь же необычную жизненную судьбу.

Юрий Сенокосов

Предисловие

Дитя Европы и Америки, я соединила в себе унаследованные от них разнородные начала, формируясь под влиянием особенностей их истории и коллективной психологии, европейской культуры и американской демократии. У меня нет ничего общего ни с космополитами, дрейфующими на некоем трансатлантическом облаке снобизма и моды между Нью-Йорком и Парижем, ни с теми родителями, которые пичкают своих младенцев английским языком, старательно готовя их к третьему тысячелетию, ни с юными баловнями судьбы, стремящимися получить престижный американский диплом. Долгое время содержание моей жизни составляли метания между демократией по-американски и культурой в европейском понимании. И по сей день, будто на распутье меж географией ценностей и ценностями географии, я ощущаю свое отчуждение, разукорененность, существую между двух миров, которые для перелетной элиты и путешественников-отпускников конца века, видимо, не так уж далеки друг от друга.

Родившись в семье итальянских евреев, поклонников французской культуры, оторванных от родины войной, я с семилетнего возраста жила в Соединенных Штатах. И когда в семнадцать лет приняла американское гражданство, это не заглушило во мне глубокого влечения к Европе. В раннем детстве я воспитывалась в Италии, затем — уже в Соединенных Штатах — во Французском лицее, часто ездила на старый континент,

где жили все наши родственники, — все это говорило о моей “европейской” принадлежности. Во всяком случае, окружающие воспринимали меня как “европейку”. Таким образом, я не изменила себе, решив после окончания университета вернуться в “свою Европу”.

Существовала ли она в действительности, вне моего воображения? Собиралась ли она признать свое дитя? Сама того не сознавая, я уже успела испытать сильное влияние американской культуры. Мне пришлось расти в атмосфере “новых рубежей” Кеннеди, с тринадцати до семнадцати лет учиться в протестантской школе на юге Соединенных Штатов, в Атланте, находясь в 60-е годы в эпицентре борьбы черных за свои права, затем погрузиться в либерально-плюралистическую среду Гарварда: не стала ли я поневоле “американкой”? Живя в каком-то особом пространстве между Старым и Новым Светом, воплощая без слов отличия, неуловимые для окружающих, но глубоко коренящиеся (как это ни назови: бунтарством или космополитизмом), — я открыла в себе природу гибрида.

Современница послевоенной эпохи, я чувствовала себя неприкаянной одиночкой, терзаясь несовместимостью между моим американским социально-политическим складом и привязанностью к европейским историко-культурным ценностям. Если бы я избрала карьеру художника или банкира, занялась бизнесом, наукой или стала бы адвокатом по международным делам, вероятно, я бы преодолела этот разрыв, перекинув мост из одного мира в другой. Став, однако, историком, я выбрала предметом изучения Европу, которой мне так недоставало, — видимо, в надежде утолить свою тревогу “объективным” исследованием. Из этого ничего не получилось: работа, которой я занималась по обе стороны Атлантики, только усилила мое беспокойство. Как бы олицетворяя точку пересечения протестантской этики и латинской культуры, впитавшей отзвуки еврейства, я узнавала в предмете исследования — послевоенном мире — свою собственную раздвоенность.

Ведь эта новейшая история была мною прожита и изучена не вчуже, а непосредственно — через историю моей семьи, глава за главой. Надежда на возрождение Европы, неоднозначность могущества Америки с ее *Rex Americana* (что ободряло и устрашало одновременно), двойное испытание коммунизмом

и антикоммунизмом, обаяние де Голля, французская альтернатива “разделу мира”, итальянское экономическое чудо, борьба за гражданские права черных в Соединенных Штатах, противостояние вьетнамской войне, жесткость европейского антиамериканизма, колебания итальянских левых, терроризм и движения протеста — все это были вехи моего личного Bildung*. Я долго не могла найти себя, путаясь, будто растерявшийся археолог, в наслоениях жизненной истории: руины итальянского очага обогревали мой американский дом с недостроенными стенами, обставленный французскими вещами. Неуловимый аромат иудаизма, поднимаясь из каких-то запредельных глубин, витал среди смутных контуров облупившегося европейского декора.

Решившись в конце концов описать свой опыт, я просто исходила из того, что мой личный взгляд может прояснить больше, чем “отвлеченный” анализ историка культуры и идеологий. Однако эта книга — не автобиография и не мемуары, а скорее размышление о политике и культуре на полпути между Европой и Америкой, и неверно было бы воспринимать ее как исповедь. Вездесущее “я” — это лишь фильтр, в нем должны осесть обе составляющие едва минувшей эпохи; оно расставляет акценты в повествовании, четче выделяет его нить.

Благодаря превратностям жизни — курсированию через просторы Атлантики, в которое вовлекли меня поиски культурной идентичности, — я получила особые преимущества в наблюдении послевоенной эпохи, завершившейся апофеозом разрушения Европейской Стены. Быть может, это мое свидетельство — свидетельство человека, который “вернулся”, — будет полезным теперь, когда Европа — и Западная, и Восточная — возрождается, полная надежд и сомнений: возрождается, чтобы либо наконец повзрослеть, либо снова впасть в беспоконное детство; когда много говорят о европейской душе и европейской идентичности, но кроме того — и о демократическом обетовании Европы, и об искушающих ее бесах.

В стороне от общего потока тех, кто осваивает дорогу удовольствий, бизнеса и культуры, соединяющую отныне Европу с Америкой, я пишу для моих детей-французов, которые благодаря мне имеют американские паспорта, а родным своим

* Формирование (нем.).

языком считают итальянский. Я пишу также для моих друзей из “другой Европы”, наконец-то достигших свободы и власти: долгое время только им было ведомо, что из любви к Европе можно отдать за нее жизнь, как писал Милан Кундера. Но прежде всего меня вдохновляет надежда, что любимый мною старый континент сумеет в конце концов залечить раны прошлого и узнает лучшие времена, став надежной гаванью демократии и культуры.

Диана Пинто

Противоречивость корней

В Неаполе вырос мой отец вместе с тремя старшими сестрами и младшим братом. Он часто рассказывал мне о доме на склоне Вомеро, где прошла его юность. В огромном саду прямо над Неаполитанским заливом был бассейн с рыбами. Но лучше всего были цитрусовые деревья. Братья забирались на них и в свое удовольствие лакомились крупными плодами. С этим садом связаны самые отрадные воспоминания отца.

Неаполь воспевали романтики и художники барокко, однако обитавшая здесь средняя и мелкая буржуазия, должно быть, ощущала его социальную неупорядоченность, полную неразбериху. Вероятно, приноровиться к обычаям и ценностям этого тысячелетнего города могли только представители пришедшей в упадок коренной аристократии или простонародья, объединенные общим диалектом. Евреи, затерянные в океане католиков, сохранявших традиции бурбонской эпохи, не имели прочных связей с “другими”. Неаполь был слишком стар, чтобы восхищаться национальной монархией, которой едва исполнилось полвека и перед которой благоговело маленькое сообщество итальянских евреев. Ведь они вышли из своих гетто как раз тогда же, когда представители Савойской династии, ставшие правителями Пьемонта, повели борьбу за объединение страны. Вот почему у моих прадедушки и прабабушки было так глубоко развито патриотическое чувство. Когда началась первая мировая война, они даже отправили своего сына добровольцем на фронт.

Итак, моя молодая бабушка, воспитанная в среде флорентийской буржуазии, в Неаполе оказалась оторванной от родной почвы, без друзей и знакомых и, вероятно, смотрела на этот

экзотический мир со смешанным чувством снисходительности и страха. Разглядывая фотографии тех лет, на лицах моих родственников можно прочесть некоторое превосходство, если не надменность. Бабушкина отстраненность передалась больше всего ее старшей дочери и моему отцу: в Неаполе они оба ощущали себя чужими, хотя позднее отец не без ностальгии вспоминал этот край солнца и воды – впрочем, ностальгию испытывало скорее тело, нежели душа. Для его старшей сестры тридцать лет жизни в Неаполе остались периодом, как бы заключенным в скобки: она всегда считала себя флорентинкой. Отец же, страдавший от отчуждения в той провинции, где жил, вдобавок стал еще и беженцем, переселенцем в другую страну. Его лучший друг, сын протестантского пастора, тоже уехал из Неаполя – вероятно, в надежде где-то найти строгость нравов: нечто прямо противоположное ценностям неаполитанцев. Что касается брата отца, то он стал настоящим неаполитанцем по особенностям речи, привычкам, образу жизни, как и его дети, а теперь уже и появившиеся внуки.

Предки со стороны отца считали жизненно важным отмежеваться от евреев-левантинцев (которых было множество в таком крупном портовом городе, как Неаполь), с их сомнительными паспортами, маргинальной культурой, плебейским акцентом и незнанием классического наследия. В противоположность им, предки вели свою родословную из Португалии (воспоминание о ней хранит фамилия Пинто) и из ближней Тосканы, язык и культура которой стали для них родными. Воплощением этих двух истоков были два персонажа, дорогих сердцу моей тети-”флорентинки”. Один из них – мальтийский рыцарь XVII века португальского происхождения; хотя он обратился в христианство, тетья (в остальном убежденная сионистка) “водворила” его в лоно семьи. Второй – Орест Пинто, горячий патриот Италии, близкий к карбонариям. Около 1840 года в возрасте восемнадцати лет ему пришлось покинуть родину и искать пристанища в Тунисе, так как он был замешан в убийстве одного австрийского офицера...

Мои предки гордились тем, что забыли ладино, и не принимали идиш еще и потому, что утратили свойственную этим языкам глубинную связь с древнееврейским. Соблюдая праздники, семья не придерживалась ортодоксального иудаизма и спокойно относилась к нарушению предписаний относительно

кошерности пищи. Уже прабабушка и прадедушка отступали от этих правил, мы же, по традиции отказываясь от свинины, с чисто иезуитской изощренностью считали вполне допустимыми ветчину и салями. Однако никогда не было и речи о принятии христианства или о смешанных браках. Представители моего поколения “согрешили” первыми, имея за плечами уже сто пятьдесят лет свободы в Италии. Такие достоинства, как патриотизм и просвещенную светскость, искали лишь в среде единомышленников. Итак, для нашей семьи, хотя и не соблюдавшей религиозных обрядов, иудаизм сохранял огромное значение, но это не было внутренним горением, а скорее некой жизненно важной деталью, определявшей общий тон картины.

Атмосфера семьи моей матери была в точности похожей: то же происхождение, та же потребность отмежеваться от сефардов, тот же патриотизм. Разница была лишь в степени. Отец жил в Италии, а мать – в Египте. Она переживала свою национальную принадлежность как далекий идеал, лелея надежду когда-нибудь испытать это чувство в полноте, оказавшись в самой Италии. В дымке колониального фимиама слава Италии сияла еще ярче, и она казалась обетованной землей, более желанной, чем Иерусалим. Вдали от полуострова менее значимыми представлялись региональные различия среди итальянских евреев.

Согласно семейному преданию, в которое посвятила меня мама, ее родня по материнской линии считалась более образованной и преуспевающей, чем родственники по линии ее отца. Лория – такую фамилию носила бабушка – происходили из Пьемонта и, кажется, были глубоко связаны с итальянской культурой. Дядя матери был архитектором, вероятно, самоучкой и строил виллы для богатых колонистов в Каире. Прадед, получив образование в Италии, стал членом каирской коллегии адвокатов. Семья претендовала на родство (но насколько близкое?) с Акилле Лория, итальянским философом-неопозитивистом, выходцем из пьемонтских евреев.

Истоки родословной маминого отца более смутные. Здесь не числилось никакой португальской родни. Фамилия Орвьето, судя по всему, происходила из Папских областей и была принята предками – жителями этого города в средние века. Это позволяло предположить, что итальянские корни семьи очень глубоки и, возможно, восходят к римскому гетто эпохи, предшествовавшей разрушению Храма. По каким-то неясным причинам

эта генеалогия считалась менее престижной, чем “благородная” принадлежность к пьемонтским и тосканским евреям, потомкам выходцев из Испании и Португалии. К тому же, насколько мне известно, семья деда, конторского служащего, на склоне лет безуспешно занявшегося коммерцией, ни подлинными, ни присвоенными знаменитостями не блистала.

А если заглянуть еще глубже, связь с итальянским иудейством во всем его богатстве и неоднозначности, должно быть, служила мне якорем в поисках многоликой Европы, соединяющей античность, Ренессанс и Просвещение, патриотизм и гуманизм, светскость и утонченность, историю и культуру. Этот амулет моей непохожести на других наделил меня в жизненном странствии преимуществами наблюдателя.

В Египте фашистская Италия стремилась к самоутверждению, соперничая с Францией и Англией, поэтому мама имела возможность учиться у превосходных преподавателей. Эти историки и археологи, последователи идеалистической школы Бенедетто Кроче (собственной школы фашизм не имел) с энтузиазмом пропагандировали тысячелетнюю классическую культуру, которая отныне открылась будущему. Они вдохновлялись просвещенным национализмом, в то время как западноевропейские колонизаторы в Египте руководствовались чисто коммерческими интересами. Итак, окончив школу со степенью бакалавра и зная арабский язык, моя мать смогла получить стипендию итальянского правительства и продолжить образование в области ориенталистики в Римском университете...

В целом итальянцы, в том числе и евреи, за исключением немногих просвещенных антифашистов из крупной буржуазии или из рабочих, приняли фашизм. В большинстве случаев с ним смирились. Но даже среди евреев находились энтузиасты-чернорубашечники и добровольные участники военных подвигов дуче в Абиссинии и в Испании. Мирное сосуществование евреев с фашистским режимом, немыслимое в гитлеровской Германии, не позволяет оценивать эти годы в духе манихейства, но оно же оказалось причиной особенно болезненного восприятия евреями расистских законов.

После 1938 года община итальянских евреев, которая с эпохи Рисорджименто имела лишь положительный опыт ассимиляции и интеграции, если не разрушилась полностью, то по

крайней мере дала трещины. Со дня провозглашения расистских законов евреев начали увольнять из учреждений и крупных предприятий. Так потеряли работу мой отец и его сестры-учительницы. От нищеты их спасли родственники, которым еще разрешалось заниматься торговлей.

Высшее образование и государственная служба оказались под запретом, и перед мамой закрылась карьера, уготованная ей самим же итальянским государством. Но она успела получить диплом, благодаря сочувствию некоторых преподавателей, в спешке собравших комиссию, пока расистские законы еще не вступили в силу. Этот эпизод окрасил горечью ее отношение к университетской администрации и профессорам, которое впоследствии разделяла и я. Большинство из них из малодушия и оппортунизма перестали ее замечать.

Отец с помощью одного американского еврея, делового партнера какой-то родни, в 1940 году эмигрировал в США. Семья послала его на разведку, готовясь к предстоящей эмиграции. Но она так и не состоялась — отчасти из-за скорого вступления Америки в войну, но в основном потому, что все члены семьи оказались в безопасности. Мама же тем временем вернулась в Египет и давала частные уроки. Союзники были уже у дверей, а она, лишенная всех прав, упорно продолжала преподавать классическую культуру, итальянскую литературу и историю, словно вкладывая в эти занятия всю свою волю к сопротивлению.

Законы 1938 года применялись лишь в общих чертах и почти не соблюдались населением. Они коснулись тех, кто занимал официальные должности, причем никто не погиб. По сравнению с тем, что произошло в Германии, ущемление прав итальянских евреев кажется довольно мягким, во всяком случае до 1943 года, пока немцы не взялись за дело. Евреи находили защиту даже в самых глухих деревнях, и это поддерживало их патристическую уверенность в том, что они пострадали из-за безумия режима, а не по вине Италии и ее народа. Если немецкие и восточноевропейские евреи, для которых немцы и поляки стали воплощением кошмара Катастрофы, после войны не могли и помышлять о возвращении в родные места, то перед итальянскими евреями, как правило, подобная дилемма не стояла. Большинство из них навсегда осталось в Италии — на родине предков.

Это различие ярко проявилось в США. Лишенные корней, беженцы из Германии и Центральной Европы и в еще большей

степени их потомки прочно вросли в плодородную почву американского общества. Они получили новый заряд энергии, укрепив американскую еврейскую общину в целом. Напротив, эмигрантам из Италии не удалось обрести вторую молодость. Их корни вдали от родины ослабли, былая сила пропала. Кто-то пытался искать выход в ассимиляции или в сионизме. Полноценных американцев из них так и не получилось: ностальгия по Италии мешала им отречься от старой Европы.

Вследствие сравнительной мягкости расистских законов 1938 года и, главное, неспособности фашистского режима превратить итальянцев в антисемитов на мою жизнь легла печать двойственности. Отец, помня лишь дурное, обвинял правительство и бюрократию, посмеявших вычеркнуть из состава нации полноправных граждан. Он критиковал Италию (как когда-то осуждал Неаполь) с позиций демократических ценностей и социальной справедливости, к которым, насколько он знал, Соединенные Штаты проявляли гораздо большую чуткость. Для мамы, наоборот, важнее было отношение общества к евреям, она особенно ценила гуманизм итальянской культуры, именно в нем видя ее главную силу. В этом противоречии источник моей внутренней раздвоенности: весь послевоенный период пройдет для меня под знаком колебаний между демократией и культурой. Мне суждено будет постоянно выбирать между американскими принципами отца, в силу которых итальянское государство окажется для меня неприемлемым, и теплым образом Италии из материнских рассказов. В той стране, простодушной и терпимой, где евреи были активными гражданами, а не едва уцелевшими осколками прошлого с исковерканной судьбой, я была по-настоящему счастлива.

Гражданская жизнь продлилась для отца недолго: после вступления Америки в войну он был на пять лет призван в армию. Как итальянца, его направили в часть, служившую на американской территории, — так он открыл для себя Юг и окрестности Вашингтона. Попав в американскую глубинку, он столкнулся с расизмом во всем его безобразии. Встретился он и с антиеврейскими и антиитальянскими настроениями, свойственными белым американцам-протестантам, в особенности самым невежественным, твердо уверенным в собственном превосходстве над новыми переселенцами.

Несмотря на свое одиночество и неприкаянность в обществе, тогда еще насквозь проникнутом духом изоляционизма, отец стал горячим сторонником демократических ценностей принявшей его Америки и убежденным единомышленником Рузвельта. Он впервые слышал, чтобы политические лидеры защищали социальную справедливость и свободу, погрязшие фашизмом. Человек принципиальный, чуждый приземленного “материализма”, отец обрел свой политический идеал в “новом курсе”, видя в нем лучшее противоядие против туманной неопределенности и извечной несправедливости, знакомых ему по жизни в Неаполе.

Он вернулся в Европу сразу после демобилизации, уже не оставив в живых свою мать, умершую от тифа во время войны. Конечно, отец приехал другим человеком: это был не беженец, возвратившийся домой, а американец в заграничной командировке, организатор европейского филиала американской авиакомпании TWA. В 1947 году случай направил его в Египет для открытия агентства в Каире – там-то он и встретил маму.

Поскольку служащие принимали его за “истинного американца”, а по отношению к новым хозяевам мира соблюдалась почтительная дистанция, – он провел первые каирские месяцы в позлащенном американско-британском “гетто”. О существовании общины соотечественников он узнал из разговора с сослуживицей, упомянувшей о браке сестры с итальянским евреем. Удивившись, отец ответил, что сам он тоже итальянский еврей. Так рухнул фасад “янки”. Спустя недолгое время он стал постоянным гостем во всех каирских семьях соотечественников, и вскоре состоялось его знакомство с мамой. Они решили не откладывать свадьбу, еще не отдавая себе отчета в том, что при общих корнях их разделяют последствия 1938 года: папа был “американцем”, тогда как мама мечтала о возвращении в Италию.

Через несколько месяцев они выехали из Египта. Политическая обстановка на Среднем Востоке ухудшилась в связи с усилением национализма при Насере, в особенности после образования государства Израиль. Как еврей, отец должен был уехать по соображениям безопасности. И вот янки, который с точки зрения американцев весьма опрометчиво женился на иностранке, получил назначение в Париж. Это было лишь начало кругосветного странствия нашей семьи.

Мама, оставившая Египет и преподавание (по тем временам работа не считалась чем-то само собой разумеющимся для

женщины), была воспринята папиными коллегами как особа “экзотическая”... Ее знакомство с послевоенной Европой началось с вынужденного дебюта в несвойственной ей роли избалованной американки в Париже 1948 года. Тогда продукты распределялись по карточкам, а она покупала их в специальных магазинах американской миссии, где царил изобилие мяса, консервов, сыров и овощей. Пока не нашлась квартира, удовлетворяющая американским стандартам, она жила в отеле “Георг V” близ Елисейских полей – в Париже, еще не восстановившем свое истинное лицо.

Как ни парадоксально, здесь же она познакомилась и с провинциальной Америкой, со Средним Западом. Сотрудники авиакомпании, с которыми общались родители, не принадлежали к американской элите – англосаксонцам-протестантам с Восточного побережья, выпускникам Гарвардского или Йельского университетов, хорошо знавшим довоенную Европу. Папины коллеги были в основном уроженцами Канзас-Сити, где базировалась компания TWA; они имели скандинавские или германские корни, а в Европу их занесла волна, поднятая второй мировой войной. Если они и знали кое-что о Европе, то лишь о северной, которую их деды описывали как край нищеты. Для них “юг Европы” начинался уже в Париже. Этот город казался им подозрительным и нездоровым местом вырождения, где обитала “неполноценная” раса малорослых, смуглых людей, к тому же католиков. Старый Свет – это был всего лишь дряхлеющий континент, начиненный исторической несправедливостью, а по уровню жизни он безнадежно уступал фермерской Америке с ее обильными урожаями и откормленным скотом.

Мама, слишком привязанная к старой Европе, чтобы увлечься мечтой о Новом Свете, не жаловала папиных сотрудников. В лучших традициях “гадких американцев” они брюзжали по всякому поводу: здешняя “странная” еда была не по вкусу этим *meat and potatoes men**, для которых свет сошелся клином на *T-bone steaks***; воды они боялись как чумы, обычаев не понимали. Мать, единственный чужак в их гетто, старалась внушить им хоть какое-то представление о достоинствах Европы. Но тогдашняя Франция – без музеев и галерей, все еще закрытых,

* Любители мяса и картошки (англ.).

** Жареное мясо на косточке, в форме “Т” (англ.).

без заманчивых магазинов, без кондитерских и чайных салонов – выглядела сурово-унылой, и переубедить их маме никак не удавалось. Наверное, у нее возникало впечатление, что в их глазах она сама – только симпатичный обломок неполноценного мира.

Пропасть между двумя мирами обнаружила всю свою глубину в последние месяцы перед моим рождением. Коллеги отца хотели во что бы то ни стало, чтобы младенец родился *back home**, в безопасности – как физической, так и метафизической, среди бескрайних канзасских равнин. Лучшим подарком новорожденному стал бы сам факт его появления на свет на американской земле.

Категорически отказавшись ехать рожать в незнакомую страну в полном одиночестве, моя мать, видимо, потеряла уважение этих американцев, ради ее же блага искренне желавших ей скорейшей репатриации в лоно “американского образа жизни”. И вот в 1949 году я родилась в американском госпитале Нейи – только такой альтернативный вариант был доступен воображению обитателей мирка TWA.

Разговоры о моей американской национальности, которую с таким пристрастием обсуждали папины знакомые, оказались преждевременными: я родилась не на американской территории, а отец еще не имел десятилетнего “стажа” американца, позволяющего автоматически передать мне гражданство, полученное им в 1943 году. Франция, возможно, удочерила бы меня, при условии, что родители обязуются воспитывать меня в этой стране. Но они отказались, поскольку отец ожидал назначения в Израиль, а кроме того, все еще оставался открытым вопрос выбора между Италией и Америкой. Так я не стала француженкой. Это было высшим выражением иронии судьбы – ведь в дальнейшем большую часть школьных лет я провела в Вашингтонском Французском лицее, вышла замуж за француза и мои двое детей родились французами. Однако Франция не признавала традиции *jus soli***.

И потому, за неимением лучшего, я стала итальянкой – по национальности матери. Впрочем, это тоже стоило борьбы. В молодой Итальянской республике сохранялось семейное

* Дома, на родине (англ.).

** Право приобретения гражданства по месту рождения (лат.).

право времен фашизма, отдававшее все преимущества отцу. Италия готова была от меня отказаться, тем более, что уже не считала мою мать своей гражданкой, ибо та вышла замуж за иностранца; женщина — существо низшее и лишенное права на самостоятельное решение — автоматически принимала национальность мужа. Пришлось выискивать какие-то неведомые приписки к закону, чтобы убедить власти не отвергать нас. Таким образом, с самого начала определение моего юридического статуса ознаменовалось бюрократической битвой, и мне по сей день глубоко противны любые официальные инстанции и их указы.

Два месяца жизни в Париже близ парка Монсо стали для меня своего рода основополагающим мифом, как бы удостоверив очевидность моих французских истоков, тогда как в действительности ни родственных связей, ни собственности, а главное, никаких контактов в том замкнутом обществе у нас не было. Хотя я почти или, точнее, совсем не знала Францию, постоянное ощущение ее присутствия составляло фон моей жизни в Америке. В этом чувстве не было ничего от всепоглощающей страсти. В то время как мое сердце разрывалось между Америкой и Италией, Франции принадлежала роль сестры моей возлюбленной Италии — сестры, с которой обращаются дружески, но сдержанно, которая то и дело оказывается рядом, не привлекая к себе внимания. И, как в романах XIX века, когда страсть миновала, сестра возлюбленной заняла ее место, став супругой. Франция стала моим оазисом.

От раннего детства у меня не осталось ярких впечатлений. Мне недостает тех смутных полувоспоминаний-полугрез, какие обычно бывают связаны с первоначальным окружением — домом, вещами. Наши бесконечные переезды, смена жилищ, постоянно новые запахи и пейзажи — все это, без сомнения, не слишком благоприятствовало развитию детской памяти. Самые ранние мои воспоминания относятся к пятилетнему возрасту, когда мы поселились в Риме. Чтобы восстановить ключевые моменты предыдущего периода, прежде всего нашу жизнь в Америке, я вынуждена полагаться на мамины впечатления.

В 1951 году, после четырехлетней честной и беспорочной службы за границей, мой отец, американский гражданин, был

отозван авиакомпанией в США и получил назначение в Канзас-Сити. Его коллеги провожали нас в Америку с огромным волнением, зная, что для моей матери это путешествие означает первую встречу с новой родиной. Попав сразу в далекую глубинку, даже не побывав в таком городе-“шлюзе”, как Нью-Йорк, мама была вынуждена приспособливаться к конформистским нравам провинциального среднего класса, ничего не знающего о других странах, преисполненного слепого патриотизма. Одна, вдали от близких, не имея возможности работать, сидя вместе со мной взаперти в своем “сказочном доме” и общаясь с чужими людьми, большей частью равнодушными ко всему, что было ей дорого, — она, должно быть, ужасно страдала.

Ее до глубины души ранило ощущение, будто здесь все против нее, начиная с погоды. Она рассказывала мне о первых снежных бурях. Соседи заметили, что она погружена в созерцание вместо того, чтобы поскорее расчистить снег, и объяснили ей, что если сразу не взяться за дело, муж, вернувшись с работы, не сможет поставить на место машину. В эти долгие зимы, проведенные нами на просторах американских равнин, я почти все время наблюдала, как она трудится, расчищая царский путь — священный *drive way** — к возвращению отца. Еще тяжелее было летом. Удушливая жара создавала благоприятные условия для распространения полиомиелита, настоящего бедствия тех времен. В страхе перед губительными последствиями заражения, стремясь уберечь детей, матери держали их взаперти. Исчезали признаки хоть какой-то общественной жизни: пустели парки, бассейны, все замыкалось в своей скорлупе. И несмотря на это, случаи заболевания учащались. Любое повышение температуры вызывало самые страшные опасения, каждому был известен хотя бы один случай, когда ребенка пришлось поместить в респираторный блок в надежде остановить разрушительное действие болезни. Полиомиелит, казалось, угрожает самой американской мечте.

Безрадостным, по словам мамы, было и ее окружение. Американцы смотрели на нее как на эмигрантку из нецивилизованной страны, и их самые невероятные вопросы задевали ее самолюбие. Она не знала, как реагировать на любопытство тех,

* Дорога, проезд (англ.).

кто — из чистого альтруизма, конечно, — расспрашивал, не голодала ли она, или предполагал, что она работала в “пицца-бизнесе” (ведь она итальянка!). Наверное, мать дрожала от негодования, когда сотрудник Канзасского университета, где она собиралась преподавать и одновременно прослушать какие-то дополнительные курсы, намекнул, что ее диплом стоит не больше, чем аттестат американской средней школы. Политическая и культурная обстановка маккартизма нагнетала ощущение остановившегося времени. Любого иностранца считали подозрительным, особенно если он высказывал либеральные взгляды или, как в данном случае, был выходцем из страны с сильной коммунистической партией.

В эпоху охоты на ведьм, тревог и страхов по поводу событий в мире, когда отошли в тень ценности, провозглашенные Рузвельтом, отцовская приверженность демократии казалась не столь весомой в балансе повседневной жизни, протекавшей под знаком непонимания. Отношения в семье стали весьма напряженными. Мать потребовала от отца сделать выбор между семейной жизнью и Канзасом. Мы вернулись в Италию.

К этому времени относятся и мои первые впечатления, связанные со смертью, на которые наложились первые представления о христианстве. Я до сих пор отчетливо помню нашего соседа на кровати, с необычайно бледным лицом и скрещенными на груди руками. Женщины в черном плачут, стоя на коленях перед домашним алтарем, увенчанным огромным распятием и двумя подсвечниками. Что поразило меня: недвижный покойник или же Христос, вознесенный на крест? Я чувствовала, что мы, евреи, чем-то отличаемся, хотя и похожи на всех остальных. Для меня было вполне естественным, открывая тетрадь по итальянскому языку, заполнять ее слева направо, а в тетради по древнееврейскому продвигаться во встречном направлении, как будто этот штурм с двух сторон гарантировал обнаружение истины.

A stylized graphic of two overlapping, elongated leaf-like shapes. The top shape is light gray with a fine dot pattern, and the bottom shape is dark gray with a similar dot pattern. Both shapes are curved and taper to a point at the top.

Европейка

1956 год

В жизни людей, как и в истории стран, есть даты, меняющие течение их бытия. Для меня поворотный момент настал в мои семь лет, в 1956 году, когда отец решил вернуться на постоянное жительство в США, и мы уехали из Италии. Маленькая римлянка, которая, подобно многим соотечественницам, могла бы узнавать другие страны, лишь изредка путешествуя, превратилась в существо без корней.

Этим я обязана одному американскому закону. В то время в США считалось, что любой некоренной гражданин, прожив более пяти лет подряд в своей родной стране, рискует утратить все признаки настоящего американца под влиянием исконной национальной принадлежности. Поэтому продлить американский паспорт в Италии было невозможно. Кстати, этот закон в 70-е годы был признан антиконституционным, поскольку он утверждал неравенство между коренными и некоренными американцами. Однако в 50-е годы существовал единственный способ его обойти, обосновавшись на непродолжительный срок в какой-нибудь третьей стране, что было неизвестно моим родителям. Остались бы мы в Европе, если бы не это?

Я много думала о выборе моего отца. Определяющую роль сыграло здесь то, что ему, ставшему гражданином Америки, трудно было вписаться в реальность послевоенной Италии... Стихийность развития страны, интриги, хаос в политике и законодательстве, нечеткость системы правосудия не могли не оттолкнуть человека принципиального и уважающего порядок, большого почитателя Рузвельта, каким стал мой отец. Для него американское гражданство означало защиту от подспудных опасностей Европы-предательницы, где в результате одного росчерка пера какого-то властолюбца, а возможно и расиста,

человек мог исчезнуть, подобно Йозефу К. Соединенные Штаты — несмотря на то, что и там существовала несправедливость, — предоставили моему отцу убежище; там в его распоряжении были разнообразные средства, с помощью которых Йозеф К. мог бы защититься от произвола.

Решение вернуться в Штаты, таким образом, объяснялось прежде всего тревогой отца. Наша жизнь казалась спокойной и благополучной, ничто не вынуждало нас обратиться в бегство, если бы не глубокий неясный страх, горький плод 1938 года, — страх тем более смутный, что отцу не пришлось пережить ужасов войны или депортации. Впрочем, нередко мне приходило в голову, что, как ни парадоксально, именно из-за отсутствия собственного опыта этот кошмар так сильно его беспокоил. И так, мы не были ни беженцами, ни эмигрантами в полном смысле слова, когда самолет высадил нас в аэропорту Майами, куда отец прибыл, чтобы набирать персонал для только что открытого здесь агентства “Эр Франс”.

В те годы Майами представлял собой небольшой тропический оазис, только-только испытавший на себе воздействие современной цивилизации. Здесь можно было встретить колоритных персонажей, словно бы сошедших со страниц романов Хемингуэя, или шагнувших прямо с экрана героев Хэмфри Богарта, с их непременным суденышком и страстью к морю. Для той космополитической элиты, которая населяла Майами, Флорида все еще являлась синонимом роскоши. Люди из высшего света Коннектикута и Нью-Йорка владели там шикарными особняками, достойными Великого Гэтсби. Город, от которого было рукой подать до Гаваны с ее завуалированной “клубничкой”, утопал в полусвете казино, ночной жизни и сомнительных сделках, заключаемых на борту импозантных яхт, где униформой являлся белый смокинг с красной гвоздикой в петлице.

Однако вся эта атмосфера, достойная “Кафе Рика”, постепенно сходилась на нет. С заснеженного промышленного Севера прибывали первые пенсионеры, мечтавшие о скромном обеспечении, солнце и тепле. Большею частью то была мелкая еврейская буржуазия. Просиживая часами в центральных кафе, они несли с собой аромат Восточной Европы. Самые отважные из них, свободные от комплексов и скованности, не боялись

надевать не соответствующий возрасту и внешности костюм и выставляли напоказ свою чересчур белую кожу, избыточный вес и морщины. Эту атмосферу уходящего старого мира я позднее обнаружила в тель-авивских кафе, но в Майами старый мир не породил никакой еврейской поросли. Здешние евреи остались неким геронтократическим анклавом, выжженным и бесплодным раем.

За три года до революции Кастро в Майами уже появлялись первые отпрыски “острова свободы”: то были смуглокожие кубинцы, главным образом молодые, перебивавшиеся случайными заработками, в душе предприимчивые и одержимые американской мечтой. В 1956 году они уже придавали городу “латиноамериканский” облик, но их еще “контролировали” богатые кубинцы. И лишь после революции Майами, форпост весьма обширного потока эмигрантов, сделался их городом.

На фоне кубинцев американские негры смотрелись жалко. Они не носили ни рубашек с коротким рукавом, ни светлых “колониальных” брюк и довольствовались белой рубашкой и черными брюками. То была своего рода униформа, которую носили как богатые промышленники, так и полунищие неквалифицированные рабочие. Негры непременно добавляли к ней шляпу. Женщины носили ситцевые платья, детей же одевали в нечто бесформенное. В противоположность кубинцам, чьи кварталы постоянно оглашались шумом и пением, негры проходили беззвучно, как призраки, и скучивались в дальних запыленных кварталах, в крошечных домиках, казавшихся еще меньше от соседства с гигантскими кактусами.

Этот искусственный город, город вечных каникул, где не было ни среднего класса, ни даже детей, стал моим первым впечатлением от Америки. Мой первый американский интерьер — меблированная квартирка в доме, где комнаты сдавались на короткий срок, с белыми оштукатуренными стенами и крышей из красной черепицы в мексиканском стиле, окруженном небольшой засохшей лужайкой.

Все это я вспоминаю смутно, за исключением телевизора, позолоченного металлического ящика, что гордо царил в оставленной по-спартански гостиной. Хотя солнце за окном жарило всюю, через сетку от насекомых в помещение пробивался лишь слабый сероватый свет. Мир словно бы цедился, а влажность в сочетании с жарой не способствовали прогулкам. Летом

в Майами был “не сезон”. В гранд-отелях снижали цены, мы иногда ходили туда искупаться в бассейне и съесть по бутерброду. Бассейны, окруженные зонтиками и шезлонгами, заменяли курорт, и это в двух шагах от моря с его отвратительными медузами и недоступным пляжем. Можно ли было представить себе подобное в Италии? Так я получила свой первый урок американского образа жизни: примат искусственного над натуральным.

Первыми моими подругами стали две девочки, приходившие в гости к своей бабушке. Они забавлялись со мной, словно с большой куклой, и учили меня говорить по-английски. Я находила их славными, хотя и необразованными: про Италию они ничегошеньки не знали, ни об истории, ни, что еще хуже, о мифологии. Я-то в свои семь лет страстно поглощала мифы, мама читала мне их по вечерам. Больше же всего меня поражало, что родители девочек состояли в разводе. Вот этого я понять не могла. Жизнь между отцом и матерью, отец, который выполнял функции матери, — все это не укладывалось у меня в голове. Мне казалось, что они живут в доме без крыши, и я боялась, что и мои родители рано или поздно падут жертвой этой американской моды.

Пока я не ходила в школу, лучшим моим другом стал телевизор, настоящий волшебный фонарь, позволивший мне открыть Америку. Увлечшись передачей “Капитан Кенгуру”, где игры чередовались с мультиками (как бы прообраз всего, что в дальнейшем произошло на нашей планете), я стала понимать английский язык, распевая песни с большим желтым тигром. Как и всех детей, меня прямо-таки завораживала реклама. Я с равным удовольствием смотрела и короткие ролики, и игровые, да еще требовала от родителей купить рекламируемые товары. У меня до сих пор хранится тетрадка с наклеенными картинками, изображающими консервированный суп, плитки шоколада, пакеты с крупами, бутылки кока-колы, коробки с мылом и модели автомобилей, — я тщательно вырезала их из журналов типа “Лайф”. Так что значительно раньше Энди Уорхола с его знаменитым “Супом Кэмпбелл” я совершенно стихийно устроила собственный пантеон массовой культуры.

Самыми яркими телевизионными зрелищами в Америке лета 1956 года стали съезды республиканской и демократической партий, предшествовавшие президентским выборам. Впервые телевидение устроило прямую трансляцию со съездов. Я была

прямо зачарована этим политическим цирком: речи кандидатов, пение делегатов съезда, их соломенные шляпы, шары и свистки — все это воспринималось детским воображением как гигантская ярмарка. Серьезную ноту во все происходящее внесли лишь журналисты, в своих стеклянных будках повисшие над толпой и безостановочно комментировавшие происходящее. Всем этим людям предстояло стать моими близкими, как и близкими едва ли не каждого американца. Тандем Хантли-Бринкли и одинокая фигура Уолтера Кронхайта, подобно греческому хору, сопровождали послевоенную Америку на протяжении всего ее извилистого пути. Эти исполненные надежды и серьезности дяди всегда были рядом — в минуты радости и в минуты печали, в момент запуска того или иного космического корабля, в дни, когда не стало Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди, в период вьетнамской войны и Уотергейтского дела. Мне было семь лет, когда я познакомилась с ними. Но и двадцать лет спустя, покидая Америку, я все еще ощущала себя их питомицей.

Вернемся в 1956 год. Мне кажется, что за зрелищностью происходящего я все же уловила политическое значение событий. Взрослым предстояло напрямую избрать своего президента, точно так же, как дети выбирают вожака. К тому времени мои познания в области политики были весьма скромными, но я помнила, как в 1955 году итальянские депутаты избрали президентом республики Джованни Гронки лишь после нескольких туров голосования, когда образовалось необходимое большинство голосов; то же самое случилось и три года спустя при выборах папы. Помнила я и о драке, что произошла однажды в парке недалеко от нашего дома в Риме, между несколькими фашистами с черными флагами (возможно, они были близки к “квалюнквистам”) и более многочисленными коммунистами под красными знаменами. Контраст между американской политической жизнью, открытой и внешне приподнятой, и итальянской, с ее невидимым миром насилия, не мог не поразить меня...

С наступлением осени и началом учебного года я заняла свое место в американском обществе. Из меблированных комнат мы переехали в небольшую квартиру на большой вилле, располагавшейся на одном из самых шикарных островов города. На самом

деле Сан-Марко был связан с материком узким перешейком, совсем как Мон-Сен-Мишель; по нему ездили машины, но доступ туда был ограничен. Пара венгерских эмигрантов, словно бы вышедших из фильма “Касабланка”, замолвила за нас словечко перед домоправительницей хозяина, одного из знаменитейших ювелиров Нью-Йорка. В глазах этой заносчивой дамы “космополитичные” и “элегантные” европейцы являлись желанными гостями в столь элитарной резиденции.

Наша шикарная квартира некогда предназначалась для почетных гостей, а вовсе не для семьи с ребенком. Планировка повторяла схему корабля: спальня с помещенными одна над другой кроватями, окна в виде иллюминаторов, кухня, отделенная от огромной гостиной баром внушительных размеров с табуретами головокружительной высоты. Без особых усилий я воображала себе женщин в длинных платьях и мужчин в смокингах, которые, должно быть, сидели развалясь на широких белых канапе, держа в руке стаканчик с каким-нибудь напитком, а потом отправлялись в комнату-каюту, где и засыпали под рокот близкого моря. Наверное, до меня ни один ребенок еще не жил в этом романтическом мире.

Квартира меня прямо-таки восхищала. Я спала на веранде в окружении белой дачной мебели. Веранда выходила на лужайку, а за ней виднелась лагуна. Сад из соображений безопасности был обнесен изгородью, но через небольшую зарешеченную дверь можно было попасть к воде. В огромном гараже, рассчитанном на поддюжины автомобилей, имелось множество укромных уголков. Подходили для игр и росшие тут же гигантские кактусы и экзотические деревья.

Самым же притягательным для меня зрелищем было море. Я упоенно рассматривала целые косяки танцующих рыб, возможно, привлеченных каким-то теплым течением. Иногда разнорабочий ловил рыб-кошек и засовывал их в большие красные ведра; я наблюдала за подрагиванием их длинных усов. К вечеру два-три дельфина, хотя и не обученные разным трюкам в дельфинариях, своими прыжками предупреждали о близком заходе солнца, с его характерными для тропиков цветовыми контрастами и томно струящимся лунным светом.

Начало учебного года ни в чем не изменило это ощущение вечных каникул. К этому времени я уже читала отнюдь не примитивные книги по истории, умела писать, знала умножение

и деление. Что же до моих новых приятелей, то они с трудом писали печатными буквами, складывали и читали по слогам отдельные слова. Свой плохой английский я, благодаря своему возрасту, усовершенствовала с легкостью. Уже через несколько недель занятий учительница стала запрещать мне отвечать, боясь, как бы мои “излишние” познания не вызвали нежелательной реакции в классе.

Все это лишь укрепляло во мне ощущение превосходства европейца над американцем. Америка казалась мне забавной, но не слишком серьезной страной. Я упорно продолжала жить в своем привычном мире. Моим тайным оружием были восемь толстенных томов итальянской детской энциклопедии, где основы европейской культуры были изложены в сказках, исторических новеллах и особенно в жизнеописаниях великих людей. Я прочла всю классику детской литературы, причем неизменно по-итальянски, даже если авторы были американцами, как Луиза Элкот или Марк Твен. Мою сокровищницу дополняли две тетради, где я прилежно выполняла упражнения по итальянской грамматике, и учебник английского языка, выдержанный в безупречном британском духе. Даже игры, в которые я играла, были европейского происхождения. Лотерею я устраивала из карты Европы, причем каждую местность заносила на отдельный билет. Помнится, у Кардиффа был номер 14, у Белграда — 36. Благодаря коробке великолепных фирменных карандашей я рисовала тосканские виллы в окружении кокосовых пальм. То была единственная видимая уступка моей новой жизни. Я воплощала в себе антииммигрантский дух.

Но как ни велика была моя тяга к культуре, как и всякий ребенок, я нуждалась в друзьях. Мне потребовалось немного времени, чтобы за поверхностно-дружеским тоном первых контактов разглядеть всю сложность американского общества. Казалось, я была создана для того, чтобы спутать все нравственные категории здешних мамаш. Белокурые голубоглазые дети, что жили в пристройке к “нашему” дому, вполне годились для игры в прятки в саду. Но семьи наши, хотя и жили по соседству, не ходили друг к другу в гости. Мы не принадлежали к высшему американскому свету, приверженному старым добрым традициям: сын соседей именовался Уильямом III, а их дочь Люси носила имя матери. Подобный странный обычай и отсутствие фантазии удивляли меня — ведь в те времена мне еще был

неведом тот кастовый дух, что характеризовал потомков первых паломников “Мэйфлауэра”.

Рядом с нами жила очень богатая еврейская семья; их девочка ходила со мной в школу, но лишь в конце нашего пребывания в Майами меня пригласили в гости. Это случилось, когда ее мать с изумлением узнала, что мы тоже евреи. Без звезды Давида, с моим итальянским языком и внешностью латиноамериканки я, видимо, казалась недостойной посещения их дома. Видимо, по той же причине первой из одноклассниц, кто пригласил меня к себе, стала маленькая кубинка, чьи родители охраняли один из крупнейших на острове особняков. Похоже, они усмотрели в нас ровню себе. Убедившись же в обратном, дали задний ход, порвав заодно и детские контакты. Синдром “социальной лестницы” не являлся, таким образом, достоянием одного только Старого Света. Даже яркое солнце американской демократии не способно было растопить границы между социальными группами. Вот почему большую часть времени я проводила с родителями и их друзьями.

Редким эмигрантам из Европы, оказавшимся в послевоенные годы в Майами, все же удалось образовать самостоятельную социальную нишу, хотя и небольшую. Но ни к какой интеллектуальной деятельности это скромное космополитическое сообщество не было склонно. Их божеством было жаркое солнце Флориды. Мы сблизилась с двумя еврейскими семьями из Флоренции, которые с принятием расистских законов перебрались в Нью-Йорк. Вскоре после войны они променяли холодный Север на зной Флориды; дела их, благодаря пенсионерскому буму, шли хорошо. Одни торговали в деловой части города французской бижутерией, а с вхождением в дело сына значительно увеличили размах своей деятельности. Другие содержали лавку для туристов, где продавались всякие разноцветные безделушки; индийские слоны с маленькими бивнями из настоящей слоновой кости соседствовали здесь с медными тайландскими статуэтками и фарфоровыми куклами из Японии. Я целыми часами наблюдала, как наши друзья распаковывают товары. Из ящиков извлекались черные фаянсовые кошки и собаки, часы в форме белых петухов; все это расставлялось по полкам в ожидании туристов. Эти отвратительные предметы нимало не возмущали эстетическое чувство наших друзей: несмотря на свое флорентийское происхождение, никакого

преклонения перед итальянским Кватроченто они не испытывали. Единственным достойным внимания предметом здесь были раковины, но их постепенно стали раскрашивать в едкие ненатуральные тона и использовать для “художественных композиций”.

В то время Майами бесспорно являлся столицей золотых побрякушек и декоративного жемчуга. По какому-то молчаливому соглашению эти внешние приметы жизнерадостности, своеобразные вестиментарные эквиваленты солнца, все эти собачки, бабочки и цветы украшали платья всех без исключения женщин и как бы возрождали их к новой жизни. Я до сих пор вспоминаю, как нелегко было моей маме достать вязаный жакет без излишних украшений: обратиться к продавцу с подобным вопросом уже означало бросить вызов всей философии здешнего бытия. Когда же, наконец, в заднем помещении магазина ей удалось найти то, что она искала, выяснилось, что в силу некоего таинственного экономического закона... этот жакет стоил дороже, чем его разукрашенные аналоги. История эта сделалась семейной легендой, еще одним экспонатом постоянно пополняемой коллекции, выказывавшей наше отвращение к “американскому образу жизни”.

Семьи других итальянцев в Майами полностью растворились в новом окружении. Сам язык их, хотя и подпитывался тосканскими выражениями, все больше насыщался американскими словечками. Фразы стали хромать под тяжестью конструкций, испорченных английским синтаксисом. Подруги моей матери Ванна и Лючия страшно гордились своими инкрустированными очками и пуловерами с золотыми пластинками; их мужья упивались гигантских размеров “понтиаками”, а затем и “кадиллаками”. Окруженные тысячами милых пустячков, что заполняли их просторные кухни, они и думать не думали об Италии, ставшей для них не более чем калейдоскопом старых воспоминаний, случайным каникулярным эпизодом. Зато ничуть не ослабевала привязанность к ней моей матери, Италию она всегда считала Новым Иерусалимом; крепкой оставалась и моя связь со страной предков, во многом благодаря все той же энциклопедии.

Не исключено, что именно под влиянием матери я привыкла считать свое пребывание в Америке чем-то временным, некоей интерлюдией в ожидании “истинной” жизни, которая могла

развернуться лишь в Европе. Если бы я постоянно оставалась в одном и том же городе, со временем мои связи с окружающими людьми стали бы более прочными. Но мы переезжали с места на место, и в моей жизни постоянно появлялись какие-то новые персонажи, как будто герои театральных пьес, в которых играть собственную роль я была не в силах. Так в бескрайнем океане Америки Европа стала моим спасательным жилетом.

Происходившие в мире в 1956 году события лишь подкрепили мое ощущение, что на самом деле я живу в другом месте.

Суэцкий кризис стал причиной серьезных политических разногласий между моими родителями. Отец полагал, что Эйзенхауэр с Даллесом поступили абсолютно правильно, остановив англо-французский поход против Насера. Пылкий обличитель колониализма, он не мог стерпеть фанфаронства бывших сверхдержав и вслед за Рузвельтом был совершенно уверен, что Соединенным Штатам негоже попустительствовать их действиям. В его глазах роль Европы на мировой арене становилась все более скромной.

Мать же, напротив, горячо защищала англо-французскую инициативу. Американскую интервенцию она осуждала по двум причинам: во-первых, потому, что оказаться поставленной на место для Европы было унижительно; во-вторых, она надеялась, что при поддержке Израиля вся эта операция сломит панарабский экстремизм Насера. У нее еще оставались родственники в Египте, и хотя колониализм всегда был ей ненавистен, еще большее отвращение она испытывала к режиму Насера с его антисемитизмом и антиссионизмом. Суэцкий кризис стал для ее семьи гораздо худшим злом, чем вторая мировая война, — тогда они были скорее встревоженными зрителями, чем жертвами, теперь же, когда все их счета оказались заморожены, они превратились в подлинных париев. После Суэца были основания беспокоиться и за их личную безопасность. Отец же, наоборот, склонялся к тому, чтобы поддержать антиколониалистскую политику Насера. Ненадолго оказавшись в Египте, он осудил колониальный дух семей, в которых побывал, как упадочный и несправедливый.

Родные и друзья моей матери, находившиеся в Египте, перебрались между тем в Италию, хотя и без особого энтузиазма.

Немалая часть этих, с позволения сказать, беженцев жили припеваючи в Италии эпохи экономического чуда, но сохраняли ностальгические воспоминания о колониальном прошлом. Итак, по иронии судьбы те представители нашей семьи, что сожалели о колониальной жизни в Египте, находились в Италии, тогда как моя мать, мечтавшая жить на Апеннинах, оставалась в Америке. От этого ее ностальгия лишь усиливалась, как и мое ощущение несправедливой оторванности от некоего рая, куда другие попали против собственной воли.

Столь же близко затронули меня и венгерские события. Двоюродная сестра моей матери вышла в Египте замуж за венгерского еврея, высокопоставленного деятеля Коминтерна. После войны этот преданный партиец привез молодую жену в Венгрию, где им пришлось несладко, так как сталинисты всячески затирали мужа. Из нескольких дошедших до нас писем можно было понять, что живут они трудно. Пока на улицах Будапешта шли бои, мама прогуливалась по нашему пышно разросшемуся саду и в волнении слушала последние новости. Мне в ту пору казалось, что телеэкран вмещает весь мир без остатка, и я пристально вглядывалась в скупые кадры венгерских событий, которые нам показывали, в надежде увидеть за советскими танками свою тетку. На фоне резвящихся в лагуне дельфинов я не могла представить себе, что на самом деле означает подобный политический кризис и последовавшая за ним нищета в этой заснеженной стране. Венгерская трагедия представляла чем-то ирреальным, если бы не Анжела, наша соседка сверху, вся семья которой осталась в Венгрии. Эта бывшая манекенщица Диора проводила целые дни, загорая на веранде, и постоянно плакала. Хорошо помню, как она появлялась у нас в своем купальном костюме, в тюрбане, под который она заправляла волосы, и комментировала последние новости, доходившие из ее многострадальной страны. Ее точеная фигура явно контрастировала с появлявшимися на первой полосе майамской газеты фотографиями ее соотечественников, шагавших куда-то сквозь снежную мглу.

Венгерский кризис 1956 года укрепил мою уверенность в том, что серая мгла и трагедия – достояние Старого Света, а новый мир, утомленный солнцем, расслабленно созерцает голубые дали. Вскоре венгерские родственники воочию представили доказательства всей лживости коммунистических властей

Восточной Европы. В 1959 году мамина кузина получила разрешение приехать на некоторое время в Италию, где мы были на каникулах. Она в изумлении рассматривала витрины и спрашивала, есть ли уже такие магазины в Соединенных Штатах. Когда мы отвечали, что американские супермаркеты ломятся от обилия продуктов и что общество потребления родилось именно в Америке, она не верила, считая это явной пропагандой. Италия казалась ей сном, а наши рассказы – враками. Сын тетушки, мой сверстник – теперь он стал дипломатом, – в то время тоже страшно гордился своим красным пионерским галстуком и смотрел на меня с подозрением, как на продукт американского империализма.

Вообще наша европейская родня и друзья плохо представляли нашу жизнь. Путешествия через Атлантику были тогда делом крайне редким, уделом “счастливиц”. Америка воспринималась либо как рай, либо как интеллектуальный и идеологический ад. Поэтому в обоих случаях наши собеседники оставались совершенно глухи к попыткам объяснить им истинное положение вещей. Реальная Америка никого не интересовала: доминировал образ, который был предпочтительнее, в зависимости от воображения. Так думали и взрослые, и молодежь, которая с присущим ей детским нарциссизмом и юношеским эгоцентризмом не замечала мою “другую жизнь”, как если бы я прилетела с недоступной и неинтересной планеты.

Через полгода после нашего переезда в Майами я смогла заглянуть в еще один экзотический мир: Латинскую Америку. Отец взял нас с собой в поездку в Чили, где, как ни странно, жили самые близкие родственники моей мамы: ее мать, две сестры и брат. Это странное семейное гнездо образовалось в Чили благодаря маминной старшей сестре. Перед войной она училась в Париже и там встретила молодого чилийского адвоката, учившегося криминологии в Сорбонне. Когда в 1940 году немцы оккупировали Францию, чилиец поспешно женился на моей тетушке, дабы избежать угрозы депортации и отвезти ее к себе на родину. Интересно, если бы не оккупация, женился бы он на ней, или вся эта история осталась бы для него лишь приятным парижским воспоминанием? Как бы то ни было, брак перевернул жизнь моей тетушки. После войны она вернулась в Египет

и убедила свою овдовевшую мать, сестру и брата перебраться к ней в Чили, расписав им эту страну как земной рай. В 1952 году они отплыли из Генуи в Вальпараисо; мореплавание, достойное путешественников XIX века. А четыре года спустя отправились из Майами в Чили и мы на большую семейную сходку.

Мои впечатления от этой в высшей степени экзотической поездки все еще очень ярки: ночная посадка для дозаправки в уснувшем аэропорту; невероятная влажность, от которой моя короткая юбка прилипала к бедрам; орлиный взгляд мужчин в льняных костюмах и белых панамах, что поднимались на борт для весьма поверхностного контроля; неподвижные старухи в огромных цветастых платках, сидевшие на корточках в углу аэропорта рядом с декоративными вазами; постоянный рокот двигателя во время нескончаемого путешествия, когда я прочла от корки до корки все взятые с собой книжки и извела все альбомы. И наконец, прибытие: посадка на единственную полосу крошечного аэродрома, оживленная жестикуляция семейного выводака, встречавшего нас в зоне прилета, равнодушные таможенники в униформах с золотыми галунами, объятия каких-то незнакомых мне людей, принимавших упавшую с неба “чикиту”.

Во время этого путешествия я буквально утопала в море любви. Все наперебой баловали меня, стремясь удовлетворить малейшее мое желание, приходили в восхищение при виде моих рисунков, нахваливали мой талант рассказчика и мой свежеспеченный английский язык. Главное же, я повстречалась со своей бабушкой, хрупкой старой дамой, сидевшей в темной комнате укутанной в одеяла и с полузакрытыми глазами. Она поцеловала мои волосы и произнесла фальцетом по-итальянски: “Так это ты, Диана”. Затем она отвернулась, как будто стремясь увидеть какой-то внутренний мир, не имевший ничего общего со страной, куда ее закинула судьба. Я познакомилась со сводной тетушкой, единственной ашкенази в нашей семье, женщиной бесконечно доброй, хрупкого сложения, с безгранично печальными глазами польской еврейки. Два года спустя она умерла от кровоизлияния в мозг; с ее кончиной, за которой последовала кончина бабушки и другой моей тетки, словно бы серая завеса упала на чилийскую одиссею нашей семьи. Приход к власти Пиночета в этом смысле ничего не изменил.

Моя тетушка возглавляла Британский институт в Сантьяго. Помню, как она сидела за огромным письменным столом в

комнате со сверкающим паркетом, тяжелыми гардинами и британским флагом на стене, и отдавала распоряжения множеству молодых чилиек. Я не осмеливалась спросить, почему такая красивая женщина не вышла замуж; позднее выяснилось, что во время войны она была помолвлена с молодым английским офицером, однажды ушедшим на задание и с той поры более не дававшим о себе знать. Столько лет прошло, а страдание все еще читалось на ее лице.

Воплощением экзотического духа являлся Марио, муж дружкой тетушки, “виновник” всей латиноамериканской одиссеи моих родственников. Исключительно тонкого сложения, исполненный элегантности, он неизменно носил твидовые и бархатные костюмы. Его черные волосы сочетались с матовой кожей и орлиным взглядом; бороды он не носил. Чувствовалось, что в его жилах течет индейская кровь, хотя семья его принадлежала к классу крупных помещиков. Двери дома всегда были распахнуты для многочисленных друзей, заглядывавших сюда в любое время дня в сопровождении красивых женщин. Все эти люди – адвокаты, врачи, преподаватели – составляли просвещенную элиту Сантьяго. Они могли часами обсуждать новости, происходившие в далеком от них мире, откуда докатывались лишь слабые отголоски событий. Засыпая, я слышала, с какой горячностью спорят они о политике; жены предпочитали другие темы.

Сестра моего дяди, которую звали Кармен, вела беседы на литературные темы. Еще более смуглая, чем ее брат, она всегда носила платки, которые подчеркивали ее индейское происхождение. Ее специальностью был чилийский фольклор; кроме того, она написала множество книг для детей. Я обожала слушать, как она рассказывает индейские сказки, где присутствовали змеи, горы и волшебные зелья. Мне казалось, что мой дядя и его сестра обладают той самой жизненной силой, которой так недостает остальным членам семьи.

В свою первую поездку в Чили я совершенно не запомнила облик Сантьяго. Лишь позднее я открыла для себя его бедные кварталы, элегантные бульвары, его торговые улицы и парки. Чилийская демократия, воплощением которой стала левоцентристская элита – впоследствии основная мишень как Альенде, так и Пиночета, – тогда еще не слишком привлекала меня. Зато меня потрясла одна картинка с политическим сюжетом. То была

черно-белая гравюра, изображавшая заседание Чилийской национальной ассамблеи середины XIX века. Депутаты чинно сидели на скамье, а докладчик держал речь с трибуны. Эту гравюру, висевшую в конторе дяди, я частенько разглядывала, но не в силу ее художественных достоинств, а просто потому, что с трудом могла представить себе столь “европейский” институт, как парламент, в этих дальних странах, где народ и элита, казалось, стоят почти рядом, но не замечают друг друга.

Я отчетливо ощущала пропасть между этими двумя мирами, хотя и не могла еще выразить свои ощущения. Пропасть ощущалась даже в тех случаях, когда простолюдины жили на вилле в услужении у людей зажиточных, подобных моей тетушке. Слуги, окружившие меня такой заботой, жили в глубине двора, на маленькой, отстроенной ими самими ферме. Тут они сидели на корточках, дымя своими длинными индейскими трубками и терпеливо ожидая, когда их позовут хозяева. В Штатах у нас была только одна домработница, которая время от времени помогала моей матери. В Италии у нас были бонны, родом из маленьких сардинских деревушек. Но те слуги, которых я увидела в Чили, напоминали о совершенно иной эпохе. Казалось, они навсегда привязаны к хозяевам, почти как крепостные, и привязанность эта переходит от одного поколения к другому. В контексте этого двора парламентская демократия представлялась мне чем-то бессмысленным.

Помню, как в семилетнем возрасте я вернулась из путешествия в Чили, убедившись лишь в одном: есть на свете страны, слишком удаленные от “центра” мира, чтобы там можно было чувствовать себя счастливым. Страны эти напоминали пыльные кладовки, что находятся в конце коридора в старом доме. Заходят туда редко, и в повседневной суете о них попросту забывают. Ни в детстве, ни во взрослом состоянии я никогда не испытывала интереса к подобным кладовкам, столь выигрышно представленным в знаменитых романах латиноамериканских “магических реалистов”. В подобных местах я слишком остро ощущала гнет культурного одиночества и нищеты, и даже гостеприимство моих близких не могло компенсировать этого чувства. Латинская Америка оставалась для меня неким бедным родственником, а увлечение экзотикой имело свои пределы.

Вашингтон

В экзотической обстановке Майами мы пробыли недолго, всего год. Летом 1957 года отца перевели в отделение компании “Эр Франс” в Вашингтоне. Хотя столица Штатов тогда еще представляла собой полусонный провинциальный городок, новый переезд позволил нам приобщиться к более “деловой” Америке и устроиться по-настоящему. В Майами мы привезли с собой всего несколько ящиков имущества; в 1962 году, при переезде из Вашингтона в штат Джорджия, для транспортировки вещей нам понадобился уже огромный грузовик.

Массивная мебель, заказанная отцом в одну из его командировок непосредственно на заводе штата Северная Каролина, оставалась между тем единственным американским атрибутом нашего бытия. Парадоксальным образом именно те пять лет, что я провела в Вашингтоне, оказались решающими в смысле формирования у меня европейского образа мыслей: ведь я ходила в вашингтонский Французский лицей, где преподавала моя мать, а отец ходил в свою контору “Эр Франс”. Все наши друзья и все мои одноклассники были европейцами. Америка была для меня не более чем задником декорации (как, видимо, и для большинства живущих ныне за рубежом японцев).

Именно матери пришла в голову мысль записать меня во Французский лицей. Совершенно случайно она наткнулась на маленький старомодный домик, навевавший мысли о Лондоне эпохи Шекспира; здесь-то и размещался лицей. Ее принял сам директор, аббат, в прошлом преподаватель известного иезуитского лицея в Париже. Узнав, что мама тоже педагог и имеет дипломы итальянских университетов, он тут же пригласил ее преподавать латынь и античную историю.

Много лет спустя родители все еще спорили по поводу правильности такого решения в отношении меня. Отец заявлял, что мне значительно легче было бы жить в Америке, если бы я посещала обычную школу, на что мать неизменно отвечала: в Вашингтоне вообще нет хороших школ, а главное — это уровень полученного образования. Вообще же, мне кажется, ей претила мысль о самой возможности послать меня в американскую школу. Недостаток “культуры” в Штатах всегда вызывал у нее большую досаду.

Итак, в восьмилетнем возрасте я сменила уже вторую систему образования и второй язык. Вначале я не знала ни слова по-французски. Однако к Рождеству я уже неплохо говорила на языке и полностью овладела программой девятого класса — после того, как неделями разглядывала детские книжки. Страхи моих родителей сделали меня трехязычной, правда, довольно дорогой ценой: кочевое начало было выражено у меня очень сильно.

Как и все национальные школы за пределами родины, Французский лицей являлся подлинным микрокосмом. На фоне Вашингтона конца 50-х годов он воплощал былую культурную гегемонию Франции. Ученики — немцы, англичане, голландцы, австрийцы, испанцы, арабы, азиаты и латиноамериканцы — получали здесь образование, которому администрация старалась придать универсальный характер. В лицее учились преимущественно дети дипломатов; последние всегда могли рассчитывать на наличие в любом уголке света французского лицея, что позволяло обеспечить преемственность образования их отпрысков.

Лицей представлял собой идеальное воплощение французской якобинской традиции. Присутствие среди учеников заметного числа иностранцев и американский антураж нисколько не влияли на царившую в его стенах атмосферу. Учебные курсы неукоснительно следовали парижским программам. Английский язык мы изучали по британским изданиям, придерживаясь английской орфографии и интонации, и одновременно заучивали наизусть географию Франции, ее реки и департаменты, как если бы они содержали в себе некую трансцендентальную истину. Историю толковали, разумеется, на французский лад, совершенно не считаясь с многонациональной аудиторией. Англичан, как и прежде, обвиняли за казнь Жанны д'Арк, немцев — во всех ужасах XIX и XX веков; в итальянцах видели далеких предшественников величия Франции, которое, конечно же, совершенно

затмевало величие Италии; голландцы же объявлялись нацией вредоносной, ставившей палки в колеса Королю-Солнце. Испанцев изображали эдакими вечными злодеями. Робкие замечания отдельных учеников, пытавшихся внести коррективы в эти безапелляционные суждения, ни в коей мере не могли помешать победному шествию французской цивилизации.

В соответствии с программой Париж представлял как прямой наследник Афин и Рима. Иностранные послы, отправлявшие своих детей в наш лицей, предпочитали скорее смириться с подобной трактовкой истории, нежели заводить своих отпрысков в топкое болото поверхностной американской культуры. Именно поэтому в 1957–58 годах звезда Франции сияла значительно ярче на берегах Потомака, чем в самом Париже, хотя агония Четвертой республики, приход к власти де Голля и война в Алжире явно бросали мрачную тень на имидж страны.

Однако этот смутный в истории французского общества период не затронул лицей. Как ни в чем не бывало, мы продолжали декламировать басни Лафонтена и заучивать славные страницы французской истории: о святом Людовике, который вершил суд, сидя под деревом; о смерти рыцаря Байарда; о Франциске I и его дворе в Фонтенбло; убийстве Генриха IV; прихотливом вензеле Короля-Солнце; взятии Бастилии; мельнице в Вальми; треуголке Наполеона; первом полете Блерио; палатке французских ВВС в пустыне... У меня до сих пор хранится тетрадка, куда я перерисовывала эти наглядные свидетельства национального самодовольства. Они оказали столь же существенное влияние на формирование моего интеллекта, что и латинские переводы, грамматические конструкции и сложные арифметические примеры. Проходя через все эти испытания, я утверждалась в сознании превосходства французской культуры, разделяя таким образом предрассудки французов по отношению к Америке.

Жизнь в лицее была регламентирована не хуже чем в монастыре. Мы теснились в стенах здания, некогда бывшего частной резиденцией. Урок проходил в глубине бывшей гостиной. Спальни и подвал тоже переделали под классные комнаты, весьма тесные. В каждом помещении висела розово-зеленая карта Франции, напоминая нам о нашей коллективной идентичности. Директор, одетый как пастор – вещь довольно-таки редкая до Второго Ватиканского собора, – управлял нашим

сознанием из своего просторного кабинета, где в прошлом наверняка находились хозяйские покои. Все мы отлично знали этот кабинет, поскольку четыре раза в год отправлялись туда на конкурс чтецов. Стоя как истуканы под стальным взором аббата, мы декламировали указанный им отрывок, ясно сознавая, что в этот момент директор из частного лица превращается в символ Франции. Нам следовало продемонстрировать свое соответствие высоким требованиям великой литературной традиции.

После каждого урока на узких лицейских лестницах возникали пробки. До сих пор не понимаю, как городские власти могли разрешить устроить школу в таком тесном помещении. Не исключено, что они попросту закрыли глаза на деятельность иностранного учреждения...

Разработанная во Франции школьная программа была столь впечатляющей, что нередко образование насаждалось безо всякого учета специфики преподавателей и учеников. За исключением аббата, моей матери и еще нескольких педагогов, прибывших из Франции, которые вели занятия в первом и выпускном классах, все остальные учителя принадлежали к пестрой и разношерстной публике, выброшенной на американский берег тайфуном второй мировой войны. Моя первая учительница Изабель де Морьер была прелестной молодой женщиной родом из благородной семьи с юго-востока Франции. Она учила меня французскому языку с несказанной грацией и изяществом. Покинув родину, чтобы избавиться от удушающей семейной атмосферы, она тем не менее и в Америке продолжала жить, как жила в детстве, соблюдая во всем невероятную бережливость. Позднее она вышла замуж за молодого мексиканца из совершенно другого круга, но разделявшего ее религиозный пыл. И в школе, и за ее пределами взгляд ее был исполнен кротости и вместе с тем глубокой грусти; не исключено, что ей пришлось пережить серьезную душевную травму.

Другие мои учителя выглядели значительно менее привлекательно. Большим “подарком” для меня стала пятидесятилетняя унылая особа, выглядевшая старше своих лет и бесконечно завидовавшая моей матери; все свое дурное настроение она выплескивала на меня. С ее вечно черным нарядом, жестоким выражением хищного лица и большим платком она напоминала мне Колетт в старости. Из нее прямо-таки сочился мещанский авторитаризм и ксенофобия. Жила она достаточно скрытной

жизнью, но даже ребенку было ясно, что ей довелось пережить ряд малоприятных любовных интриг и финансовых передеряг. Она как нельзя лучше подошла бы на роль злодейки, коими изобилуют фильмы Марселя Карне или Жана Ренуара. Педагогика в ее представлении являлась не более чем способом властвовать над людьми. Не будучи идеальным миссионером французской культуры, она в то же время не чувствовала себя вправе изменить “программу”. Лафонтен и Превьер не могли пострадать от соприкосновения с подобной личностью, так что мы невозмутимо продолжали наше мореплавание по волнам сослагательного наклонения.

Начиная с шестого класса, французскую литературу нам преподавала пожилая, достаточно эксцентричная дама. Ее звали мадмуазель де Констан, и она являлась прямой наследницей Бенжамена Констана. Она заставляла нас читать с выражением “Легенду веков” Виктора Гюго. Комментируя то или иное произведение, мадмуазель де Констан обращалась с нами почти как со взрослыми, и мы чувствовали себя польщенными.

Наименее квалифицированным из всех педагогов был преподаватель английского. Испанец по происхождению, он нередко напивался и не мог вести урок. Он возвышался над нами со своим орлиным профилем и подозрительным взглядом, будто заблудшая курица. Непонятно было, как вообще ему удалось приземлиться в Америке и стать учителем английского во французской школе. Само его присутствие среди нас являлось веским доказательством пренебрежительного отношения к языку Шекспира, свойственного французской системе образования. Этот странный учитель, говоривший с сильным акцентом, прививал нам основы грамматики, которая казалась до смешного простой в сравнении с французской. Тот английский, что мы слышали на улице и по телевизору, проникая через защитный барьер нашего европейского образования, удачным образом дополнял его скучные уроки, когда по указке учителя нам приходилось разбираться в приключениях Питера и Джила в английской деревне.

Задавали же тон в лицее сам аббат и его родственники, для которых школа стала чем-то вроде небольшого семейного предприятия. Финансами ведала тетка аббата, мадам Маршан; ей помогали дочь и зять. В управлении школой эта тройка выказывала строгую осмотрительность, приторную вежливость и в

то же время высокомерие, совсем как учителя из романов Дикенса. Мадам Маршан, не слишком обремененная культурой вдова, не отличалась и знатностью происхождения. Недостаток культуры она компенсировала дотошной регламентацией малейших деталей школьного распорядка. Коренастая, в шляпке собственной вязки и ботинках, она вполне могла сойти за торговку из какого-нибудь второстепенного романа Бальзака. Родственные связи с аббатом сделали ее совестью школы; этот волк в овечьей шкуре, расхаживавший по лицу во время занятий, поддерживал порядок именем Франции.

Дочь ее отличалась широкими плечами и большими крестьянскими глазами навывкате. Она преподавала физкультуру и следила за нами во время обеда, помогала учительницам начальных классов и немного убирала в помещениях; жила она вместе с мужем и детьми где-то в подвале. Была она женщина без претензий и охотно бралась за все, что ей ни предлагали. У ее мужа, месье Газо, цвет лица был блекло-красноватый, а во взоре печаль сочеталась с суровостью. Из рта у него постоянно торчал свисток. Человек в общем-то весьма милый, он обязан был наблюдать за нами на переменах и постоянно призывал нас к порядку, за что и сделался козлом отпущения. Он также вел уроки естественных наук, математики и рисования, причем последние отличалось крайней безыскусностью. Нам приходилось воспроизводить скучнейшие узоры и совершенно невыразительные натюрморты. Что касается уроков математики, то они отличались от остальных, поскольку учителю приходилось считаться с национальной спецификой ученика. Каждому отводилось время для перевода арифметической задачи на свой родной язык. То было единственное исключение из господствовавшего в лицее якобинства.

Кроме того, месье Газо отвечал за единственное у нас в школе общественное мероприятие, а именно за церемонию раздачи призов, которая проходила в конце каждого года под патронажем посла Франции и в присутствии целого синклита иных дипломатов – родителей учеников. Дабы наилучшим образом возвеличить Францию, детям приходилось перед раздачей призов исполнять чрезвычайно изысканный менуэт и невероятно сложный гавот, в лучших традициях версальских увеселений. Подготовка балетов возлагалась на месье Газо, и он неделями просиживал в столовой, заставляя нас разучивать каждое па

с будущим партнером. По всей школе разносилась музыка Рамо и Люлли, источником которой был маленький портативный проигрыватель; так лицей ненадолго превращался в потешный павильон. Мы с трудом удерживались от смеха, глядя, как наш обычно угрюмый учитель преображался в знатного куртизана-вертопраха. Каждый год месье Газо совершал своего рода подвиг, обращая многонациональный коллектив учеников в изысканное общество кавалеров и дам, танцующих менуэт в белых перчатках. Мы покорно повиновались, сознавая значимость своей роли – на несколько минут стать воплощением культурного величия Франции.

Церемония раздачи призов становилась кульминацией всего учебного года. Даже лучшие ученики с замиранием сердца ожидали, улыбнется ли им счастье и получат ли они в виде высшей награды за все усилия скучные книги о различных регионах Франции, иллюстрированные к тому же старомодными черно-белыми фотографиями. Но вид награды нисколько не умалял ее символического значения; у меня до сей поры хранятся книги о Руссильоне, мосте Дю Гар и Ниме – молчаливые свидетели моих школьных достижений.

В противоположность американской традиции, при определении победителей совершенно не принимался во внимание “человеческий фактор”, то есть самому усердному, самому раскрепощенному, самому гражданственному или самому спортивному из учеников никаких наград не полагалось. Учитывались только интеллектуальные достижения. Мы замыкались в размеренном мире вечных ценностей, игнорировавшем относительность всякого человеческого достижения: то был триумф гуманизма, но гуманизма абсолютизированного. Позднее, вплоть до окончания Гарвардского университета, я находилась под влиянием этой жесткой философии, не в силах приспособиться к более гибкой плюралистической парадигме.

Французский лицей представлял собой некий микрокосм, настоящий калейдоскоп национальных характеров и социальных установок. Управляющая мадам Маршан отлично знала всех учеников, но при этом проявляла особую почтительность к детям послов. Будь это разрешено уставом, она охотно подкладывала бы им на сиденье бархатные подушки. За неимением же лучшего мадам Маршан следила за тем, чтобы никто не делал этим ученикам никаких замечаний, даже если они заслужи-

вали самого сурового наказания. Что выделяло детей послов, так это шоферы, привозившие их в школу. Зачастую доверенными лицами высокопоставленных отпрысков становились именно шоферы; порой они даже помогали им делать уроки.

Некоторые из детей дипломатов отличались заносчивостью, как бы усвоив от родителей вечное стремление замкнуться в пределах своей касты. Они не только устраивали вечеринки, куда не допускались “кухаркины” дети, но и пытались быть законодателями – а точнее, законодательницами – мод. Каким холодным презрительным взглядом порой обдавали эти девятилетние пигалицы своих сверстниц, надевших какую-нибудь обнову – юбку или брюки! Никто из взрослых не мог бы так посмотреть. Многие чувствовали себя столь уверенно в своем социальном превосходстве, что часто не обращали никакого внимания на плохие отметки. Воображаю, с каким презрением глядят на мир эти дамы теперь, с каким усердием раскручивают они карьеры своих мужей во всех концах света.

Несравненно лучше я чувствовала себя в компании детей военных атташе, служащих международных организаций или простых чиновников многочисленных канцелярий. Все они сохраняли нетронутыми присущие их родителям национальные особенности, подчас провинциального толка. Среди французов была одна особенно милая девочка, которую в десятилетнем возрасте родители отправили обратно во Францию: мать ее была крайне озабочена тем обстоятельством, что дочка все еще не выучила названия префектур и супрефектур французских департаментов. Мать придавала этим сведениям гораздо большее значение, чем рано выученному английскому языку..

Смутную пору между детством и началом отрочества я провела в компании французов, обворожительной гаитянки, датчанки и голландца, удивительным образом напоминавшего ранние автопортреты Рембрандта, с его слегка вьющимися волосами и бледным, еще неопределенным в очертаниях лицом. Моими лучшими подругами стали камбоджийка, англичанка и фламандка. Мы проводили вечера друг у друга в гостях, не выходя за пределы небольшого европейского “гетто”. Время от времени мы совершали вылазки “в Америку”: катались на лыжах по холмам в богатых кварталах, ходили в кино или на каток. Большая часть лицеистов знала, в лучшем случае, лишь какой-нибудь один аспект того общества, где они чувствовали

себя случайными прохожими. Французский военный атташе однажды свозил нас на пикник на морскую базу; то были времена, когда Франция еще входила в военную организацию НАТО. Аэростаты, сосиски и шуточки моряков, исполнявших роль хозяев, произвели на нас несравненно большее впечатление, нежели новенькая, с иголки, атомная субмарина, что дремала у себя в доке. Такие понятия, как “стратегические соображения” или “советская угроза”, оставались неведомы нашему космополитическому миру. Вообще база показалась нам огромной игрушкой для взрослой игры в войну, неким аттракционом, вполне под стать исполненному многоцветья и благосостояния американскому обществу.

В определенном возрасте, посещая соседей или родню, дети открывают для себя, что каждая семья живет по своим правилам. Мне же, погружаясь в семейную жизнь друзей, было сложно разграничить национальную специфику и специфику семьи. Более всего мое воображение поражали те детали, которые в совокупности образуют основу культуры: украшение домов, принятый за столом этикет, взаимоотношения детей и родителей, наконец, тот прием, что оказывали мне. Проведенные в семьях друзей выходные дни дали мне в этом смысле богатый опыт. Это относится в первую очередь к Примроуз Уоткинс, дочери британского военного атташе при Пентагоне.

Их дом, затерянный в живописных просторах штата Вирджиния, представлял собой большой особняк в английском стиле, с конюшнями, манежем и конюхом. Коммодор Уоткинс жил здесь с женой и детьми на манер истинного сельского помещика. В интерьерах тон задавали изображенные на картинах сцены охоты и английские охотничьи рога, а также макеты старинных британских фрегатов, которые хозяин дома хранил у себя в кабинете, где красовался диван в стиле “честерфильд”. В обитой желтым кретоном гостиной находился старинный игорный столик красного дерева, напоминая о роли карточной игры в Британии при старом режиме. Центром общественной жизни дома была столовая, где семья вкушала пищу за обширным столом. Уоткинсы презирали просторные американские кухни и семейный стол, за которым едят даже самые большие снобы. В их доме соблюдение традиций приходило в явное противоречие со здравым смыслом: взрослые и дети, друзья дома и редкие гости соби-

рались на своего рода ритуальную церемонию, где этикет и прием пищи были неотделимы друг от друга.

Для детей Уоткинса соблюдение этикета было чем-то вполне обыденным; они привыкли к нему, как к собственной тени. Салфетки, подчеркивавшие красный цвет дерева, серебряные приборы и разновеликие стаканы являлись для них не какими-то навязанными извне символическими атрибутами дипломатического мира, но необходимыми элементами их собственного бытия. По пятницам и субботам, когда родители Примроуз садились ужинать в своих изысканных нарядах — она в платье-коктейль, он в смокинге, — мы считали совершенно естественным надевать свои лучшие платья и лакированные туфли. Смокинг господин Уоткинс носил столь же непринужденно, как другие носят пуловер. Царивший здесь дух раскованности и элегантности заставлял забыть и грязь, и запахи конюшен, одним словом, все приметы активной жизни, что протекала за окнами дома.

Поэтому, когда я отправлялась на выходные к Уоткинсам, моя сумка представляла собой дорожный чемодан в миниатюре. Тут была одежда на все случаи жизни: джинсы, платья повседневные и выходные, купальные костюмы, специальный костюм для верховой езды... нужно было быть готовой ко всему. Если бы я вышла к столу одетой неподобающим образом, то тем самым нанесла бы оскорбление хозяевам, уязвила бы саму философию их существования. Между тем я относилась к ним с большой нежностью. Этикет и принятый в этом доме распорядок не вызывали у меня чувства протеста — быть может, в силу своей экзотичности, а, возможно, потому, что меня все это касалось лишь эпизодически. В их постоянстве я даже видела определенный шарм.

По пятницам и субботам ужин носил официальный характер. На воскресный brunch* можно было являться в повседневном платье, если за столом еще сидели взрослые гости, или в джинсах, когда никого, кроме детей, не было. Полдничая на кухне, мы чуть ли не стояли на конской сбруе; однако, выходя к тому же самому полднику в гостиную, надо было одеваться совершенно по-другому. Естественно, мы держались от гостиной подальше, тем более что в часы чаепития ее заполняла

* Завтрак (англ.).

изысканная публика – соседи Уоткинсов, почетные члены ва-шингтонской элиты. Помню, как Примроуз однажды с жаром рассказывала о том, что ее родители только что обнаружили свою родственную связь с соседями, не иначе как через невероятно плодовитого короля Джеймса Стюарта, а не через пуритан “Мэйфлауэра”. Так, не отдавая тогда себе в том отчета, я воочию убеждалась в существовании тесных связей англичан с американцами, которые столь раздражали де Голля.

Что меня больше всего привлекало у Уоткинсов, так это неповторимое сочетание семейного гостеприимства и индивидуальной свободы. Дети пользовались здесь одной лестницей, а родители и гости – другой. Нам разрешалось поздно ложиться спать и шуметь, лишь бы не проснулся малыш, порученный заботам няни. Между тем нельзя сказать, что присутствия взрослых не ощущалось. Они появлялись всякий раз, как мы в них нуждались, например при подготовке какой-нибудь игры или при занятиях спортом, но всегда соблюдали дистанцию.

Днем жизнь протекала за пределами дома: зимой катались на санках и лепили снежных баб, весной собирали в водоемах лягушачью икру, помещая ее в большие ведра, чтобы наблюдать за появлением головастиков; прогулки по лесу чередовались с игрой в мяч. Родители обращались с Примроуз и ее младшей сестрой в открытой деловой манере, скорее по-приятельски, без той покровительственной и в то же время авторитарной нежности, которая царила у нас дома. Кстати, по отношению ко мне они соблюдали столь же продуманную дистанцию, что и к своим детям; подобная установка облегчила последним разлуку с родителями в возрасте двенадцати лет, когда они поступили в “public school”.

Пребывание у Уоткинсов для меня было неотделимо от катания на лошади. Верховая езда являлась для них своего рода религией, основой их философии. Хотя конюхи и помогали нам управляться с лошадьми, каждый из детей нес всю полноту ответственности за своего коня. Дело тут заключалось, собственно говоря, не только в умении сидеть в седле, но и в чем-то гораздо более существенном: в способности понимать запросы партнера. Эту науку Примроуз и ее сестра освоили очень хорошо: в десятилетнем возрасте моя подруга столь же легко справлялась с лошадью, как и с жизнью. Она буквально лучилась спокойной уверенностью и всегда увлекала меня вперед, когда мы

скакали галопом по грунтовой дороге, превратившейся затем в Вашингтонскую окружную.

Характер у нас обеих был мальчишеский, а подружились мы потому, что обе свободно говорили по-английски, не обдумывая заранее каждую фразу. Это не могло не усилить недоверчивого отношения к окружающему нас “якобинскому” миру. Полученное Примроуз английское воспитание оказалось столь прочным, что ей удалось не подпасть под влияние прививаемых нам французских моделей. Помню, как однажды на уроке она, вся раскрасневшись от гнева, вопила, что англичане совершенно не виноваты в гибели Жанны д’Арк, будучи всего лишь орудием политических убеждений французов. Правда, этот отважный поступок не произвел никакого впечатления на нашего учителя, который лишь взглянул на нее с состраданием; но все равно я восхищалась ею. Хотя и погруженные в католическую среду, Примроуз и я придерживались “антипапских” взглядов и оставались совершенно безразличными к духовным титулам директора – “Господина Аббата”. Когда же в школе стали “проходить” религиозные войны, мы объединились с ней в стане протестантов, хотя она была англиканкой, а я – еврейкой.

К моей великой печали, ей все-таки пришлось вернуться в Англию. Поначалу мы писали друг другу длинные письма. Но по мере того, как наши общие друзья тоже стали разъезжаться, наша переписка стала сходить на нет, а когда я перебралась из Вашингтона в Атланту, заглохла совсем.

Теперь я проводила выходные у Анн-Мари, юной бельгийки фламандского происхождения. Таким образом, я променяла жизненный уклад английских сквайров на гораздо более скромный мир фламандских буржуа. Семья Анн-Мари жила в симпатичном, достаточно зажиточном квартале Вашингтона; красный кирпичный дом с двускатной крышей напоминал жилища, с такой любовью избранные у Вермеера. Отец ее работал экономистом во Всемирном банке. Мать, образцовая домохозяйка, вылизывала их уютное жилище и растила троих детей. Когда бы я к ним ни заглядывала, в печке неизменно готовился пирог, а хозяйка из кожи вон лезла, чтобы удовлетворить тиранические притязания мужа.

Господствовавшая в доме Анн-Мари дисциплина не имела ничего общего с прочувствованным этикетом Уоткинсов. Казалось, в их бельгийской строгости протестантская этика

скрестилась с испанской традицией. В доме Анн-Мари я открыла для себя, насколько сложна национальная идентичность бельгийцев. Мать разговаривала с детьми по-фламандски, хотя в целом семья явно стремилась прослыть франкоговорящей. Отец же обращался к детям по-французски и не терпел иного языка за столом. Поскольку у нас дома всегда разрешалось говорить по-итальянски, мне было трудно понять подобное ощущение лингвистической и культурной ущербности.

Дружба с Анн-Мари пришлось на следующий, более зрелый этап моей жизни. С ней было не так, как с Примроуз: к Анн-Мари я ходила ради нее самой, а не ради того, чтобы вкусить атмосферу дома. Встречались мы обычно наедине и больше болтали, чем играли. Как первых учениц класса, нас объединяло особое чувство общности, не исключавшее соперничества. Анн-Мари обожала книги, и благодаря ей я впервые прочитала “Марию Чэпделайн”. Думаю, ей потому так нравились книги этого писателя, что он был франкоговорящим, но не французом.

Наша дружба не кончилась с моим отъездом из Вашингтона. Мы долгое время регулярно переписывались. Шесть лет спустя я встретила ее в Бельгии. Мне к тому времени исполнилось девятнадцать, я училась на втором курсе Гарвардского университета. А она встречалась со студентом-медиком и думала только о флирте. Теперь нас мало что объединяло, разве что общие воспоминания...

Со временем проведенные в лицее годы обрели для меня некую символическую окраску, став воплощением интеллектуального развития, с одной стороны, и духа дружества, с другой. В столь деликатном и сложном возрасте, как отрочество, Европа означала для меня и возможность подлинной дружбы между мальчиками и девочками, которая не имела ничего общего с фальшиво-романтическими и поверхностными американскими “свиданиями”. Покидая лицей, я испытала чувство утраты, как в интеллектуальном, так и в человеческом плане. Учеба в американской школе представлялась мне действительно чем-то несовершенным, бледной тенью недостижимого Олимпа.

Во всяком случае, именно выношенная во Французском лицее интеллектуальная и социальная дистанцированность от Штатов помешала мне стать “стопроцентной американкой”. Благодаря лицейю я приобщилась к “европейской” идентично-

сти, сохранив ее даже после того, как усвоила — отчасти бессознательно — фундаментальные ценности Америки.

За пределами лица, где я находилась рядом с матерью, мы постоянно ощущали себя причастными иной среде: компании “Эр Франс”. В 50-е годы международные полеты оставались роскошью, доступной только элите, причем турбовинтовой двигатель считался гораздо престижнее реактивного. В те времена вполне оправдано было постоянное дежурство фотографа у трапа самолетов “Эр Франс”, летавших по маршруту Париж — Нью-Йорк, на тот случай, если бы на борту оказалась какая-нибудь знаменитость. Знаменитые актеры, популярные у дам кумиры, прославленные миллиардеры имели обыкновение, в виде особого шика, показываться на еще пустом трапе. Помню, как во время частых полетов через Атлантику родители показывали мне пальцем на того или иного сидящего рядом пассажира. Большинство имен, что они шептали на ухо, были мне неизвестны. Но присутствие на борту Чарли Чаплина, Ага Хана, Брижит Бардо или Софи Лорен не могло не внушать благоговения.

В 50-е годы служащие авиакомпаний жили, пожалуй, не менее шикарно, чем челядь Людовика XIV. Полеты еще не превратились тогда в “индустрию”, и организующая их элита с замашками “людей будущего” работала на уровне средневекового цеха. Работники компаний имели право на чрезвычайно низкий льготный тариф, чем и объяснялась их исключительная динамичность и редкостное в те годы знание мира. Конечно, работой мой отец где-нибудь в другом месте, мы никогда не смогли бы так часто летать в Европу, поскольку цены на билеты были астрономические. Возможно, тогда я и стала бы настоящей американкой. Мы же по несколько раз в год перепрыгивали через Атлантику, будто через лужу.

Чувство принадлежности к Европе поддерживалось у нас во многом благодаря коллегам и подчиненным моего отца. Все они были родом из Европы и Америку воспринимали несколько отстраненно. Директор агентства, сын министра Четвертой республики, являлся настоящим эмигрантом. Ни особым умом, ни хваткой высокопоставленного функционера он не обладал, поэтому его обаяние и благородный профиль решили использовать для создания благоприятного имиджа Франции за рубежом,

в кресле руководителя авиакомпании. Работал он из рук вон плохо, но зато умел воздействовать на американцев, которым была в диковинку изысканная элегантность, своим красноречием и тем, что позднее стали называть “старосветской учтивостью”.

Секретарша директора, родом из Эльзаса, имела довольно-таки непропорциональную фигуру: длинный торс при коротковатых ногах и страшно вытянутую шею, увенчанную маленькой головкой. Зато ее очень украшали большие зеленые глаза на простоватом лице. Ни блеском, ни особым обаянием Симона не отличалась, зато обладала неиссякаемым запасом верности и нежности. При столь банальной внешности она сумела очаровать одного американского офицера, встреченного ею в конце войны в Страсбурге. В их гостиной висел самый ценный предмет их обстановки, жуткая картина, написанная на основе фотографии и изображавшая покрытую снегом реку. Очевидно, именно на фоне этого пейзажа страсбургская русалка околдовала офицера Инженерного корпуса?

Муж Симоны, Рид, был ниже ее ростом, носил английские уски и смотрел на мир поразительно нежным взглядом своих голубых глаз. Детей он просто обожал и относился ко мне, как к родной племяннице; во время воскресных прогулок все его внимание было сосредоточено на мне. Именно он привил мне любовь к американской глубинке, рассказывая об американских традициях, научил пословицам, названиям деревьев и птиц. Предпринятая им во Франции любовная эскапада не помешала ему остаться воплощением простоты и порядочности Среднего Запада и, надо признаться, в то же время – чудовищной ограниченности человека, живущего в тени Истории.

Так, он не выучил ни слова по-французски и был совершенно не способен сказать что-либо о Франции. Единственной нитью, связывавшей его с Европой, была его жена. И как мы их ни уговаривали поехать с нами в Италию, Рид и Симона всякий раз отказывались. Подобная нелюбознательность выдавала полное отторжение от истории, искусства, культуры. С другой стороны, их домашняя обстановка красноречиво свидетельствовала и о полном отсутствии у этого честного служаки “Рах Американа” интереса к миру, который он был призван защищать. Разве только тот или иной уродливый предмет свидетельствовал о том, что Рид строил мосты и дороги, дамбы и здания повсюду, где когда-либо реял американский флаг. В их доме

сосуществовали корейские табуреты и японские ширмы, немецкие пивные кружки, французские гравюрки и филиппинские татами; все это вместе образовывало художественный беспорядок, за которым просматривался уровень культуры хозяев. Заморские страны, где бывал Рид, усеянные американскими базами и спецмагазинами, преобразенными в “туристические” зоны, нисколько не затронули его. Вооружившись логарифмической линейкой и непоколебимой верой в американские ценности, он перемещался по миру, оставаясь совершенно глухим к специфике любой страны. И то сказать, зачем ступать по незнакомой трясине, когда так уверенно чувствуешь себя на твердой американской земле? Я любила Рида, и все же он укреплял во мне ощущение превосходства европейской культуры.

Двое помощников отца, напротив, воплощали в себе совершенство двух полюсов Европы – Севера и Юга. Исполнин-голландец Кас Восс, при всей его монументальности, был кроток, как агнец, и бесконечно меня любил. Никто не знал, почему они с женой перебрались в Америку, – во всяком случае, не из-за денег. Жили они по-спартански, отличались исключительной порядочностью; и внешне, и внутренне являли собой воплощение чистоты. По существу, Кас с его голландской душой был слишком пуританином для послевоенной Америки. Как сейчас помню, в какое уныние его ввергла весть о том, что он не может получить ссуду на приобретение автомобиля, поскольку не имеет кредита в банке. Покупал он всегда только за наличные, не желая тратить не принадлежащие ему деньги; Кас предпочитал сначала накопить какую-либо сумму, а уж потом ее тратить. Поэтому никакими кредитными карточками он не пользовался. В результате его принимали за человека ненадежного и не имеющего средств к существованию, ведь Америка скорее доверяла тем, кто уже однажды разорился. Кас относился к этой логике с большим сомнением, но под конец все же внял совету моих родителей и открыл кредитный счет в одном крупном универмаге. Четыре раза в год он методично расходовал там немалую сумму денег, дабы продемонстрировать свою экономическую и социальную состоятельность. Этот великан, любивший часами просиживать под цветущими вишнями у Tidal Basin*, рядом с памятником Джефферсону, обладал чересчур чистой для материалистического общества душой.

* Бассейн, часть монументального ансамбля. – Прим. пер.

Совсем иного склада был итальянец Антонио Адельфо. Низкорослый и смуглокожий, он был прямо-таки одержим манией успеха, что заставило его покинуть свою сицилийскую деревушку. Обладая быстрым умом и колоссальной самоуверенностью, Антонио работал не покладая рук. Прослужив некоторое время в “Эр Франс”, он открыл собственное туристическое агентство, которое со временем стало его микроимперией. Антонио являл собой полную противоположность моей матери. Он превосходно вписался в американскую жизнь и не испытывал ни малейшей ностальгии по прежней жизни на Сицилии. Ему удалось жениться на женщине из зажиточной мэрилендской семьи, сделавшей состояние на выращивании табака. Поселившись в одном из семейных владений, он сумел снискать уважение и даже любовь этого великосветского клана, при том, что вообще-то эта публика не слишком привечала итальянских эмигрантов.

Антонио очень нравился моей матери. Его проамериканизм она оправдывала тем, что Италия, которую ему пришлось покинуть, была воплощением нищеты. С известной снисходительностью она извиняла подобное решение, хотя для себя считала невозможным расстаться со страной столь древней культуры. Оперировав скорее литературными, нежели политическими категориями, мама несла в себе не замутненный политической коррупцией, скандалами и несправедливостью образ Италии. То была Италия множества лиц и прекрасных впечатлений, а не убеждений.

Мирок “Эр Франс” стал для нас как бы второй семьей. Когда матери пришлось надолго лечь в больницу, все наперебой занимались мною, и я часами сидела в кабинете отца. “Эр Франс” надежно защищала меня от жизненных трудностей, сделавшись частью моей собственной идентичности в чужой Америке, где у меня не было больше никаких родных. Компания расширялась у меня на глазах, открывались новые рейсы; я с восхищением и гордостью следила за появлением новых реактивных самолетов, как если бы символ “Эр Франс” — морской конек — являлся и нашим семейным гербом. В самолет я садилась, как в свою собственность, с тем же ощущением, что, наверное, было у какого-нибудь Онассиса при созерцании собственной флотилии.

Именно в “Эр Франс”, этом вавилонском смешении культур, кристаллизовалась моя “французская” идентичность. В по-

мещениях компании я праздновала День взятия Бастилии, с неизменным шампанским, французским батоном и пирогом. Благодаря развешанным по стенам календарям, я открывала для себя великолепие французских замков, а глядя на разноцветные плакаты работы Матье, уносила воображением в далекие страны. Когда родители отправлялись на прием во французское посольство или на спектакль какой-нибудь приезжей французской труппы, я провожала их и думала о том, что перед лицом европейской культуры все остальное меркнет. Между тем Америка все настойчивее вторгалась в мою жизнь, и постепенно она перестала быть для меня всего лишь фоном.

Давящая жара и влажность, исключаящие возможность прогулки; постоянная необходимость вдыхать ледяные пары кондиционера и слушать непрерывное жужжание вентиляторов; огромные расстояния, которые пышущие жаром усталые автобусы преодолевали со скоростью улитки; сплошной поток доставаемых из морозильника напитков; роскошь универмагов; грубость лавочников; пастельные тона парков... Таковы мои первые впечатления от реальной, а не экзотической, как в Майами, Америки.

На новом месте я увидела много нового. Первые уроки независимости мне были преподаны в небольшом продуктовом магазинчике на углу. Мать частенько посылала меня туда за каким-нибудь недостающим товаром; я пользовалась возможностью, чтобы побродить между полками. Под взглядом тучного хозяина я шла к полке с конфетами и пирожными, очарованная аппетитными разноцветными сладостями, пачками жевательной резинки, вообще всем, что терпеть не могла моя мама из-за искусственного запаха, от которого ей делалось дурно. На сдачу я тайком покупала эти запретные лакомства и съедала их по дороге домой. Их вкус я обожала, и до сей поры их “химический” запах пробуждает во мне воспоминания детства. То были мои собственные маленькие радости, полная противоположность “европейским” пирожным, всем этим шоколадным эклерам, наполеонам и “шварцвальдам”, которые приобретались родителями во “французской” кондитерской, самой дорогой во всем городе. Искусственные сладости нравились мне гораздо больше, чем претенциозные пирожные, не имевшие ничего общего с их заатлантическими

аналогами, чересчур сладкие, а главное, огромных размеров. Те хоть были “настоящими”.

Рядом с нами находился также магазин Вулворта, еще один источник моего восхищения. Здесь можно было купить и мои любимые конфеты, причем по смехотворной цене, и пластмассовые фигурки животных. Рядом с позолоченными индейцами стояли зеленые курочки, синие лошади и красные ковбои. Они не выдерживали никакого сравнения с подобными же фигурками английского производства, представляющими собой идеальные модели реальных персонажей и раскрашенными от руки; родители покупали их мне по большим праздникам. Однако своя прелесть есть не только у качества, но и у количества; поэтому в игру шли и фиолетовые коровы, и желтые петухи, и черно-белые породистые буренки, и гнедые кони с фермы. Изысканные и плебейские игрушки отлично гармонировали друг с другом, точно так же как итальянские куклы с натуральными волосами, обутые в кожаные туфельки и одетые в платьица, сшитые моей тетей, пользовались той же посудой и теми же постелями, что и новое поколение американских парвеню в пластмассовых сандалетах и с невыразительным взглядом.

Хоть мне и нравилось смешивать Новый и Старый Свет, я всегда знала, что истинная красота идет из Европы. Потому-то, относясь к школьным занятиям с повышенной серьезностью, я заклинала маму приобретать все самое необходимое – тетради, ручки, цветные карандаши – в Италии или во Франции. Галактика Вулворта годилась для приобретения ластиков, простых карандашей, йо-йо или хула-хупов. Нынче европейцы, одержимые снобизмом и позаимствованной за Атлантикой модой, посылают детей в школу в джинсах “Ош-Кош”, с рюкзаками за спиной и в “морских” ботинках, тогда как янки охочи до английской обуви, нижнего белья “Пти Бато” и итальянских пуловеров. Наверное, смесь европейского с американским, которой я увлекалась в 50-е годы, сегодня тоже может показаться проявлением снобизма. Но на самом деле это было не так, просто я жила среди своих вещей при полном равнодушии окружающих.

Были и другие, менее материального свойства факторы американской действительности, повлиявшие на меня в детстве, когда я открыла для себя столь великолепное заведение, как районная публичная библиотека. Ходила я туда одна и возвра-

щалась с кипами книг, выдававшихся сроком на полмесяца; к книгам я относилась бережно — то был первый урок гражданской ответственности. Каждому возрасту соответствовала в библиотеке своя полка; в моем случае это были прекрасно иллюстрированные издания с крупным шрифтом.

Мои самые яркие впечатления от первых лет жизни в Вашингтоне связаны с природой. По дороге в лицей я пересекала большой парк Рок-Крик, в самом центре Вашингтона. Белочки играли с людьми в прятки и казались воплощением свободы. Однажды, спрыгнув с ветки, белка очутилась у нас в классе. Мы все как завороченные следили за ней: весь дрожа, зверек сидел между столами и тревожно поглядывал на нас. Где ему было понять, что нам пришлось прервать из-за него диктант. Животное, вторгшееся в наш мир на самом интересном месте — давнопрошедшее время сослагательного наклонения, — казалось мне воплощением контраста между французской культурой и американской природой. Со временем я научилась распознавать синих соек, малиновок и кардиналов, которых в небесах Америки летало значительно больше, чем голубей, воробьев и чаек, знакомых жителям европейских городов. Чтобы дополнить свое естественнонаучное образование, я ежедневно возвращалась из школы через большой зоопарк, где воочию убеждалась в смене времен года. Осенью опавшие листья становились удобной подстилкой для зверей, дремавших в клетках и наслаждавшихся последними лучами солнца. Зимой на фоне снега лучше всех смотрелись зебры: их полосы издали выглядели как тюремные решетки. Весной разыгрывалась целая симфония красок, на радость новорожденному молодянку, среди которого мне особенно нравился жирафчик с умопомрачительной шеей. Прекраснейшие в мире птицы — орлы и аисты — расправляли свои мощные крылья в этом замкнутом пространстве, представлявшем собой пародию на их естественную среду обитания. Завидя обыкновенных голубей, свободно паривших над головами своих редких азиатских родственников, я говорила себе, что безыскусность лучше благородства.

Но по-настоящему я постигала Америку во время экскурсий по выходным. В нашем синем “пежо”, служебной машине отца, мы ехали обычно просторами Вирджинии и Мэриленда. Французские автомобили, которые и в 80-е годы нечасто можно было увидеть на американских дорогах, тогда являлись для

американцев настоящей диковинкой, а немецкая “кошениль” еще не начала своего победного шествия. В глазах американцев, находившихся тогда на гребне собственного величия, мы выглядели посланцами какого-то незнакомого им мира.

По выходным я откладывала в сторону Виктора Гюго, римских императоров и французских королей и погружалась в трагические перипетии войны Севера и Юга. В деревне Гарперс Ферри, укывшейся на спускающихся к Потوماку долинах, я открыла для себя подвиги Джона Брауна и аболиционистов. По весне, когда цвели яблони, я вышагивала по полям сражений в Манассасе и Вискбурге, где сотни тысяч солдат полегли во имя не совсем понятной мне цели. Побывала я и в отреставрированном городе-музее Вильямсбурге, и в доме Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне. Мне уже было ясно, что понятие “старины” американцы толкуют по-своему; складывалось впечатление, что они выжимают все, что можно, из своей куцей истории. Поэтому меня забавлял вид толпы туристов, с восхищением созерцавших какие-нибудь незамысловатые строения. В моем воображении были живы образы Акрополя, Помпеев, Флоренции и Версаля; мифология всегда вызывала у меня повышенный интерес, так что бесчисленные ионические и коринфские колонны официального Вашингтона оставляли меня равнодушной – слишком уж новеньким и блестящим был этот белый мрамор.

Я предпочитала американской истории природу Штатов и то ощущение свободы, которое она навевала, по контрасту с монастырской замкнутостью лица. Благодаря связям в “Эр Франс”, мы познакомились с одним фермером и стали покупать у него кур и яйца. Патриархальности на ферме не было никакой. В своем чудном белом жилище, окруженном огромными силосными башнями и бескрайними полями, фермер прямо-таки светился от счастья и выглядел весьма живописно – джинсовый комбинезон, фланелевая рубаша в красно-черную клетку, тяжелые башмаки от Тимберленда, ныне пользующиеся большим успехом даже в парижских бутиках. Можно ли было представить в ту пору, что всю эту экипировку в 60-е годы возьмут на вооружение участники движения протеста в университетах?

В нескольких километрах от фермы находилась маленькая деревушка, где две старушки-сестры содержали магазинчик.

Купить тут можно было все что угодно, и только новенький автомат по продаже кока-колы да относительно широкий ассортимент отличали их лавочку от магазинчиков американской глубинки времен Великой депрессии, что запечатлел на своих фотографиях Уолкер Эванс. И все же веранда, бочки с мукой и крупами, банки с огурцами, пряности и в особенности стеклянные банки, наполненные разноцветными сахарными палочками, говорили о том, что время здесь словно остановилось. Да и хозяйки были одеты по моде прошлого столетия. Вообще обитатели мэрилендской глубинки явно испытывали ностальгию по уходящему миру. Они с неодобрением отзывались о Вашингтоне, этом символе растущей национальной мощи. Мне тогда было невдомек, за что они так осуждают этот город, но я уже понимала, что на своей земле они чувствуют себя хорошо. Этим фермерам и в голову не приходило брать пример с сицилийских крестьян, как раз в те годы хлынувших в североитальянские города. Конечно, их Америка не имела ничего общего с мечтой иммигранта, зато они были уверены, что живут гораздо лучше других, и поглядывали на иностранцев с известной снисходительностью.

Как-то раз, гуляя, мы забрели на территорию эмишей. В сравнении с этими евреями-традиционалистами обычные евреи казались какими-то постмодернистами. Секта эмишей полностью сохраняла жизненный уклад, характерный для XVIII века, отрицала какой бы то ни было технический прогресс, начиная от запонки и кончая электричеством, и жила на своих плодородных землях вдали от цивилизации. Сделав большой крюк, мы оказались на дороге, где движение машин было запрещено. Благодаря марке нашего автомобиля и тому обстоятельству, что между собой мы общались на иностранном языке, фермеры приняли нас любезно и с интересом, отводя глаза от кошунственного, вызывающе блестящего достижения цивилизации. Тут можно было увидеть и моих босоногих сверстников, игравших под сенью деревянной мельницы. На гумне стояла семейная коляска, в ожидании, когда на ней отправятся в город. Во мне не было заложено основ протестантской культуры, не могла я похвалиться и сельскими корнями; предпочитая все современное, я не обладала необходимым для понимания эмишей инструментарием. Мой размытый иудаизм отнюдь не способствовал восприятию подобной традиции; мне казалось

недопустимым, чтобы воспитание детей выводило их за пределы современного общества, даже если эта секта непримиримых и окружающий мир сохраняли взаимную терпимость и эмиши участвовали в работе местных политических учреждений. Когда мы двинулись дальше, я увидела гигантский завод по производству шоколада “Херши” и вздохнула с облегчением.

Городки, что стояли на берегу Чесапикского залива, поразили меня своей скромностью по сравнению с шикарными итальянскими курортами. Деревянные дома с облупившейся краской и осыпавшейся черепицей навевали на меня уныние, которое только усиливал вид темно-серого океана. Вода была холодная, на пляже без зонтиков — ни души; атмосфера редких кафе — не слишком дружелюбна по сравнению с Европой. Я была не в состоянии оценить дикую потаенную красоту залива. С высоты огромного опоясывающего его моста я наблюдала за парусниками, словно за странными пришельцами с иной социокультурной планеты. Великосветская публика с ее планомерным сочетанием труда и отдыха нимало не привлекала меня. Значительно позже я по собственной воле променяла побережье Средиземного моря на подобный же серый горизонт Нормандии; но тогда я созерцала Атлантику с тем же безразличием, которое испытывал, очевидно, какой-нибудь римский император на своей вилле на Капри.

Все эти экскурсии я воспринимала как своего рода кинофильм. Чужая жизнь разворачивалась передо мной на цветном широкоформатном экране с персонажами в натуральную величину и натуральными же запахами. Но я к этому миру не имела ни малейшего отношения. Сторонним наблюдателем проходила я среди цветущей природы и чужой культуры. А потом вновь зажигался свет, и фильм кончался. Возвращаясь на машине домой, я готовилась к погружению в европейскую реальность, заучивая очередное стихотворение и мысленно пробегая по королевским династиям.

Благодаря либерально-социалистическим воззрениям родителей, я осознавала, что американское общество, к которому я себя в полной мере не относала, не лишено проблем. Хотя в Вашингтоне расовая дискриминация не проникла столь глубоко в поры общественной жизни, как на Юге, она все-таки ощущалась

в виде некоей невидимой границы, что отделяла мир белых от мира негров.

Кроме рабочих зоопарка и редких шоферов автобусов, обычно я не видела других чернокожих вблизи нашего дома. Но когда мы ходили иногда покупать старую мебель (понятие “старинное” тогда еще не вошло в моду) у одной весьма своеобразной супружеской пары, то попадали в район негритянских кварталов. Магазин этот находился в двух шагах от Капитолия, отсюда можно было видеть негритянок с детьми, сидящих у своих домов. Не то чтобы от этих районов исходил дух насилия; скорее смутное ощущение чего-то чуждого.

Владельцы магазина были людьми, так сказать, “альтернативного” плана, свою деятельность они начали с приобретения старых домов близ Капитолия, а затем отреставрировали и продали их, получив при этом неплохой барыш. То были первопроходцы, благодаря которым окрестности Капитолия превратились постепенно в своего рода символ американской демократии. Но тогда эти дома пребывали в плачевном состоянии, и населявшие их негры внушали, как и прежде, почти атавистический страх большинству белого населения Вашингтона. Мне было совершенно непонятно, как это целый квартал, расположенный рядом с Конгрессом, мог прийти в такой упадок. Лишь позднее я поняла, что произошло это из-за переезда прежних владельцев в пригороды.

К расовому вопросу я подходила в то время в духе все того же превосходства Европы над Америкой. “У нас” — что означало для меня цивилизацию, пустившую корни от Атлантики до Урала, которой нас постоянно пичкали в лицее, — подобный расизм не был принят. Я повторяла эту мысль с тем большей уверенностью, что среди моих школьных приятелей было несколько чернокожих. Они приходили на наши вечеринки, и все обращались с ними, как с белыми.

Однако, хотя никаких расовых предрешений в нашей семье не замечалось, и нас коснулась атмосфера общего страха. Через два года после переезда в Вашингтон мы устроились в большой квартире, в доме начала XX века. От школы до дома было несколько минут ходьбы. До второй мировой войны это был весьма элегантный район, но по мере “просачивания” чернокожих он стал приходить в упадок, и наш дом тоже утратил быллой блеск. Видимо, родители остановили на нем свой выбор

из-за его расположения в центре города и больших комнат и поначалу не сообразили, что почти вторглись в запретную зону; убедившись же в этом, предписали мне по дороге в школу сворачивать направо, к красивым особнякам, а не налево, где начинался негритянский квартал.

Но иногда мы проезжали в автомобиле по “запретным” улицам, и я видела, что над ними как бы висел туман, от которого все цвета разом тускнели, и все казалось преисполненным печали и безнадежности. Дома вроде бы походили на наш и все-таки были иными. Автомобили выглядели старыми, вход в каждый дом украшали большие мусорные баки, двери тоже выглядели уныло. Очевидно, домовладельцы махнули рукой на поддержание чистоты, поскольку доходы от квартиросъемщиков были мизерными. Все это напоминало скорее бывшие французские колонии, где особняки, отстроенные в парижском стиле, торчали подчас ни к селу ни к городу, словно древние благородные старушки с увядшим румянцем и морщинами. Негры, поселившиеся в прежних домах, жили в совершенно другом ритме и подчиняли свое поведение иной логике, нежели белые. Они не принадлежали к классу “белых воротничков”, не разделяли их страхов и тревог. Две общины держались на расстоянии, как бы отступив от разделяющей их пропасти.

Вскоре мои родители решили переехать и приобрести дом, уступив тем самым одному из фундаментальных императивов американского стиля мышления. Наши воскресные прогулки кончились: теперь все свободное время посвящалось поискам некоего высшего воплощения успеха. Таскаясь в автомобилях агентов по продаже недвижимости по “приличным” кварталам города, я открыла для себя Вашингтон “среднего класса”. В новых микрорайонах, сооружаемых на месте пустырей, где еще трепетал на ветру красный оградительный шкур, агент демонстрировал нам смотровые квартиры с кухнями, наполненными всякой “модерновой” всячиной. В них было просторно, но не чувствовалось индивидуальности, хотя в проект были явно заложены различия. Но все квартиры были на одно лицо. А оказываясь в уже заселенных домах, мы невольно становились свидетелями реальной жизни “среднего класса” и видели небубренные комнаты подростков; вылизанные кухни, наполненные миксерами и электрооткрывалками; непременный телефон на стене; удобные кресла для отдыха (которого никогда не было);

элегантные гостиные, в действительности служившие местом чтения воскресной газеты; спальни, задумывавшиеся как небольшие царства Морфея, где родители могли предаться интимной и в то же время пуританской близости; столовые, где по ранжиру выстраивались банки с крупами; комнаты для стирки, с их горами грязного белья перед рабски преданными своим хозяевам, вечноработающими стиральными машинами; ванны комнаты с подобающей случаю туалетной бумагой; огромные гаражи, забытые новейшей техникой для обслуживания драгоценного автомобиля и священной газонокосилки; обязательный ассортимент — сад с качелями и мангалом.

На всех этих домах лежал отпечаток какой-то усталости, порожденной постоянной гонкой за “потреблением”. Необходимость их продажи диктовалась либо поступлением детей в колледж, либо разводом, либо переездом хозяев в другой город. За вычетом видавшего виды ковра, все здесь навевало мысли о мертвом царстве, где единственные живые существа — муравьи. Удивительное однообразие идеалов среднего класса смущало мой ум. Один дом сменялся другим, поток красноречия агентов был неиссякаем; мы сравнивали, сопоставляли, размышляли...

Как-то раз мы обнаружили под самым Вашингтоном, в Бетезде, чудный домик. И архитектурный проект, и его воплощение принадлежали владельцу, так что дом резко выделялся на фоне стандартной застройки. В саду росли великолепные ели, клены, десятки гигантских азалий и кусты гортензии. Глядя на сложенную из камней жаровню, я уже предвкушала будущие вечеринки с друзьями, а подвал и погреб, казалось, были специально созданы для игры в прятки и в охотников за сокровищами.

К сожалению, мечта моя хоть и сбылась, но на короткий срок: нам суждено было провести в этом доме менее года. Только мы перебрались сюда, как отец узнал, что его переводят в Атланту. Потом я не раз спрашивала себя, каким образом сложилась бы моя судьба, если бы мы остались жить в Вашингтоне, городе, все более и более открытом по отношению к внешнему миру, где в мое французское образование все настойчивее вторгались американские реалии.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в этом достаточно фешенебельном пригороде стала для нас безоблачной. Более того, наши первые впечатления были просто кошмарными. Прежний хозяин дома оказался вдовцом, пьяницей и психопатом. Дети

вынудили его продать дом, чтобы поместить отца в приют — этим эвфемизмом именуются свалки для стариков, характерные для обществ с традиционными семьями. Старик не мог представить себе, что будет жить где-то еще, вдали от своих растений и своих воспоминаний. Как-то раз, когда мы производили в доме уборку перед переездом, он явился с ружьем, угрожая застрелить нас, если мы тотчас не уберемся из “его” собственности. Казалось, перед нами ожил третьеразрядный фильм из тех, что крутят по американскому телевидению. Естественно, мы испугались, но, к счастью, удалось вызвать полицию. Хотя ружье оказалось незаряженным, визит произвел на нас неизгладимое впечатление. Позднее родители никогда не оставляли меня одну; вечером мы баррикадировались, будто осаждаемые индейцами первопроходцы Америки, и вздрагивали от малейшего шума. Все это совсем не походило на ту буколическую безмятежность, к которой мы готовились.

Появились и другие проблемы. Как и все, кто живет в американской глубинке, мы полностью зависели от автомобиля, а так как мама не умела водить, то и от графика работы отца. Автобусов тут и в помине не было, за такси запрашивали астрономическую цену. Так что новое жилище как бы отчуждало нас от реальности. Наверное, соседям, супружеской паре без детей, мы казались какими-то чужаками. Муж потерял ногу во время корейской войны и работал на ЦРУ, причем на не слишком заметной должности, так что мог не скрывать имени своего работодателя. Поняв, что мы “иностранцы”, он перестал с нами разговаривать. Правда, ему достало любезности объяснить нам, что он не мог позволить себе показываться на людях в нашем обществе. Больше никаких попыток наладить контакты с ближайшим окружением мы не предпринимали, тем более что вскоре нам пришлось переехать.

И все-таки с домом в Вашингтоне у меня ассоциируются счастливые воспоминания, связанные с нашей семьей. Именно в этом доме останавливалась наша чилийская тетушка, прорвав тем самым санитарный кордон, отделявший одну половину нашей жизни от другой — американские будни от европейских увеселений. Наконец-то в доме оказался кто-то помимо моих родителей. Так продолжалось несколько недель, и я вдруг вспомнила, что такое “семейная сходка”. Ну, а с отъездом тетушки пять лет моей вашингтонской жизни размотались, как

клубок шерсти, поскольку отец разрывался между Вашингтоном и Атлантой.

Вскоре Америка сделалась той призмой, через которую мы воспринимали все значительные мировые события. Отныне мое телевизионное образование включало не только мультики и семейные сериалы, но и информационные сообщения. Помню, как взбудоражило Америку известие о запуске спутника в Советском Союзе. Завоевание космоса стало навязчивой идеей: не проходило дня, чтобы очередное сообщение с мыса Канаверал не подогрело надежды американцев на то, что в ближайшее время удастся ответить на брошенный русскими вызов. Теперь даже какая-нибудь живущая в среднеамериканском захолустье домохозяйка знала наизусть планеты Солнечной системы и могла порассуждать о земном притяжении — все эти темы постоянно дебатировались в радиопередачах. Я тоже заразилась национальной болезнью, объявив в один прекрасный день, что стану астрономом. Я все еще храню книжку по астрономии, подаренную мне родителями на мое девятилетие, в которой были помещены изображения будущих космонавтов, расхаживающих по Луне в толстых резиновых костюмах; на головах у них красовались большие стеклянные шары. Наконец-то мы обставили Жюль Верна; если уж спутники и капсулы могли устремляться в космос, то все остальное казалось пустячным делом.

Что касается собственно политической жизни, то следить за ее перипетиями мне было трудновато. Из последних лет правления Эйзенхауэра в моей памяти запечатлелись только его инфаркт и игра в гольф. Этот герой высадки союзных войск в Нормандии казался каким-то реликтом в Америке эпохи Элвиса Пресли, чьи выступления я смотрела вечерами по телевизору. Я была тогда совсем юной, но хорошо помню, с каким презрением глядела на белые носочки, длинные платья и прически типа “конский хвост” отплясывающих рок-н-ролл девиц.

В 1959 году родители взяли меня с собой на похороны Джона Форстера Даллеса, которые носили характер национального траура. Трудно сказать, почему мы туда пошли, ведь Даллеса у нас в семье вечно третировали. Может быть, чтобы отметить тем самым конец целой эпохи. Мать терпеть не могла Даллеса за унижение Европы в Суэцком кризисе, а отец — за его воинственное

поведение в годы холодной войны, за пещерный антикоммунизм (представление совершенно ложное, за которое приходилось отдуваться Итальянской компартии, которой мы симпатизировали). И все-таки, несмотря на семейную нелюбовь к Даллесу, мы приняли участие в траурной церемонии, так что вечером того же дня я смогла увидеть по телевизору мероприятие, в котором сама же и участвовала. Впрочем, особого волнения в момент прощания я не ощутила, хотя катафалк, размещившийся в нелепом готическом храме на американский манер, производил внушительное впечатление.

В том же году генерал де Голль прибыл с официальным визитом в Вашингтон. То был первый и единственный раз, когда политическая реальность коснулась нашего лица. Всех преподавателей пригласили в посольство на прием по случаю визита легендарного генерала. Отправились туда и мои родители, счастливые представившейся возможностью пожать руку герою 18 июня — мама была среди немногих, кто слышал в свое время его призыв к французам, передававшийся по волнам каирской студии Би-Би-Си. Свита генерала — госпожа де Голль и, возможно, Андре Мальро, точно не помню, — посетила нашу школу, символ величия французской культуры. Развешанные по стенам карты, уроки истории и литературы обрели вдруг новое измерение: Франция действительно существовала, ее воплощением был знаменитый де Голль.

Благодаря генералу, мое европейское мироощущение еще больше окрепло. Его видная фигура и особый политический вес повышали акции Европы в целом. Почему-то я считала его основателем ЕЭС, возникшего двумя годами ранее и оказавшегося в центре внимания телевизионных комментаторов. Поскольку я жила во французской среде, то воспринимала де Голля как своего политического лидера. И напряженность, связанная с началом алжирской войны, ни в коей мере не поколебала моего высокого представления о Франции. Де Голль представлял страну, вставшую на путь строительства современного общества; по сравнению с этим колониальные проблемы казались рудиментами ушедшего прошлого. Мне казалось естественным, что французы покидают Алжир, — то была не их земля.

Самым важным событием периода моего пребывания в Вашингтоне стало избрание президентом Джона Ф. Кеннеди.

Мне тогда было двенадцать лет, но я в полной мере оценила тот свежий ветер, который он сумел внести в американскую политическую жизнь. Меня сразу же пленил волшебный образ “Нового рубежа”, а также та смесь идеализма с прагматизмом, воплощением которой явился “Корпус мира”, армия волонтеров, в задачу которой входило нести прогресс и счастье в самые затерянные уголки света. Это чувство сохранилось во мне и позднее, когда вскрылись некоторые малопривлекательные факты, таившиеся за благополучным фасадом, и даже во время сползания к неприглядной вьетнамской войне. Кеннеди воплощал в себе все мои мечты: молодость, культуру, современность, социальную справедливость; его имидж приятно контрастировал с сенильностью Эйзенхауэра. Мне была больше по вкусу Америка, жена президента которой говорила по-французски, а на церемонию инаугурации приглашался поэт Роберт Фрост и читал свои стихи.

Кеннеди меня буквально очаровал во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты, где его собеседником был Ричард Никсон, с его мутным взглядом и речами, полными ненависти и злобы. В день инаугурации я чувствовала себя чересчур возбужденной, чтобы смотреть всю церемонию по телевизору. Я ощущала потребность принять непосредственное участие в происходящем. Поэтому мы с отцом отправились на улицу. Накануне выпал снег; снегоборочным машинам, должно быть, пришлось работать всю ночь, чтобы расчистить дорогу, по которой предстояло ехать торжественному кортежу. Между рядами зрителей, с раннего утра дежуривших по обе стороны улиц, и огромными сугробами мне не удавалось ничего разглядеть. Я лишь внезапно услышала гром аплодисментов. Президентский лимузин только что проехал в сторону Белого Дома. История разворачивалась в двух шагах от меня; я ничего не видела, но ощущала необычайную приподнятость.

Казалось, благодаря Кеннеди, с одной стороны, и ЕЭС, с другой, Америка и Европа наконец-то смогут стать единым целым. С горячностью первопроходцев американского Запада я уже мысленно переживала свое возвращение на “Восток”, в прекрасную Европу.

Атланта

Когда компания “Эр Франс” перевела отца в Атланту (штат Джорджия), для меня настало время прощания с Вашингтоном и Французским лицеем и вступления в отрочество. Какой-то технократ, сидя в своем парижском офисе, вооружился карандашом и выбрал на карте Соединенных Штатов этот город в качестве новой базы “Эр Франс” для обслуживания обширного района от Пенсильвании до Карибских островов. Так авиакомпания забросила нас в самую сердцевину исторического Юга, — и течение моей жизни вновь изменилось.

В начале 60-х годов Атланта едва начинала стряхивать с себя провинциальное оцепенение. Развернувшаяся тут модернизация вскоре превратила город в один из крупнейших региональных центров США. Мы прибыли сюда одновременно с новыми *sargent-baggers** — промышленниками с Севера, искавшими рабочую силу подешевле и поговорчивей, еще не объединенную в профсоюзы, а следом здесь расплодились учреждения сферы обслуживания, банки и крупные адвокатские конторы, придав респектабельность обновлению города в стиле янки. Во встретившей нас Атланта не остыл еще дух превосходства и уязвленной гордости Юга, побежденного в Гражданской войне. Движение за права негров еще не набрало силу. Преобладало недоверие к янки — как враждебным чужакам по преимуществу. Европа, а вместе с ней весь остальной мир казались весьма далекими.

Очень скоро я открыла, что в нашем европейском происхождении таится некая двойственность. Как европейцы, мы были ограждены от всеобщей подозрительности по отноше-

* Северяне, игравшие политическую роль на Юге после Гражданской войны (англ.).

нию к янки. А позднее, когда мать преподавала в Университете для черных, то же обстоятельство оберегало нас от ненависти к белым со стороны негров. Но в то же время мы чувствовали себя в отчуждении. Вокруг нас сиял некий ореол культуры и цивилизации, но на нас распространялись и все местные предрассудки, касавшиеся Европы – мозаики маленьких стран, откуда спасались бегством эмигранты, предки наших знакомых американцев. На нас смотрели либо снизу вверх, либо свысока – и то, и другое затрудняло наше вращение в среду.

Четыре года жизни в Атланте ярче всего запечатлелись в моей памяти, но вместе с тем я была здесь одинока, как нигде. В школе, питомнике местной элиты, мне открылся протестантизм крайне пуританского толка. Благодаря маме я оказалась в гуще движения за гражданские права негров. Кроме того, в силу своей религиозной принадлежности я общалась с евреями, а через родителей была вхожа в узкий круг европейцев – жителей провинциальной Америки. Я чувствовала себя этнологом, но мало-помалу, незаметно для себя и даже против воли стала проникаться глубинными ценностями страны, которую все еще воспринимала как чужую. Когда в 1966 году, в сознательном возрасте, я уезжала из Атланты новоиспеченной американской гражданкой, но все еще европейкой в глубине души, – этот опыт уже наложил неизгладимую печать на мою судьбу. Я убедилась в этом позже, прожив десять лет в Европе. Но в то время я осознавала себя прежде всего представительницей Европы, и именно так воспринимали меня окружающие.

Мое знакомство с Атлантой состоялось на вступительном экзамене в частную школу, превратившемся в битву за честь французской системы образования. Еще в Вашингтоне родители решили позаботиться о том, чтобы записать меня в какой-нибудь из лицеев Атланты. Мои знания явно превышали уровень восьмого класса обычной средней школы, но мне исполнилось всего тринадцать лет. Отдать меня в один класс с шестнадцатилетними казалось неудобным. Тогда родителям посоветовали записать меня в самую престижную в городе частную Вестминстерскую школу, где, как считалось, я могла получить наилучшее для моего возраста образование.

И вот в один прекрасный весенний день я очутилась в небольшом кабинете, в целях звукоизоляции обитом линолеумом, наедине с пожилой дамой, которой было поручено оценить мои способности. Она предложила мне два теста – один для определения интеллектуального коэффициента, другой – для выяснения уровня знаний. Французская школа никоим образом не подготовила меня к такому испытанию. Попав в темный лес англосаксонских единиц измерения, я путалась в пинтах и бушелях, акрах и ярдах. Уже сам принцип выбора одного ответа на вопрос из нескольких возможных привел меня в полное смущение. Во Французском лицее меня научили справляться с одной-двумя математическими задачами в течение часа, привили мне навыки логического анализа. Я умела рассуждать, исходя из условий задачи, но вовсе не была готова к обстрелу, которому меня подвергли в этой непривычной обстановке. Проверка “общих знаний” дала весьма печальный результат. Но – что показалось моим “судьям” невероятно странным – я обнаружила высокий коэффициент интеллектуального развития. Каким образом “такой способный ребенок” провалился на “таком элементарном” экзамене? Что со мной делать? Администрация предложила повторить тест. Что-то тут определенно было не так. После долгих колебаний и многословных рассуждений директор школы наконец с явной неохотой допустил меня к занятиям, назначив испытательный срок. Поскольку другого пути к истине, кроме “американского”, для него не существовало, все должны были решить итоги первой четверти.

Я пришла в ярость от унижения и приняла вызов, полная решимости доказать блистательными успехами тупость школьного руководства и всей системы. Этот эпизод, затронув мое самолюбие, оставил во мне и более глубокий след. Желая доказать преимущества европейского образования, я на собственном опыте познала относительность норм и уровней и в дальнейшем к пресловутому “универсализму знания” относилась скептически.

Оказавшись среди лучших из лучших, я тем не менее одержала свою победу с легкостью. Я усердно занималась, чтобы стать первой, и спустя некоторое время директору пришлось извиниться. Меня признали полноправной ученицей Вестминстерской школы. Почти полноправной, но все же не совсем.

В латыни я успела далеко опередить одноклассниц, чтобы склонять вместе с ними *rosa*, *rosae*, *rosam*. Старушке-учительнице

с певучим южным акцентом казались очевидными преимуществами моего происхождения: наверное, она думала, что я с колыбели слышала латинскую речь. Еще больше преимуществ было у меня на уроках истории. Мне были уже известны не только события, о которых впервые слышали мои соученицы, но – что еще важнее – места, где эти события происходили. Наша учительница древней истории, страстная почитательница Шекспира, когда-то побывав на фестивале в Стратфорде-на-Эйвоне, с тех пор хранила как ценные реликвии программку, входной билет и даже билет на поезд. Но бывать в континентальной Европе ей не довелось... Я значительно выросла в ее глазах в тот день, когда принесла в класс целую кипу открыток, путеводителей и репродукций, вооружась всем этим для рассказа о Парфеноне, Помпеях и Древнем Риме. Одноклассницы, потрясенные такими “познаниями”, уверовали в некую мою “гениальность” и сочли мое интеллектуальное превосходство препятствием к настоящей дружбе, которая завязывалась с помощью всякого рода “приколов” и подростковых глупостей.

Даже на уроках английского оставалось только посмеиваться над элементарностью заданий. Мне уже была доступна более сложная и содержательная письменная речь, чем моим соученицам. Что касается литературы – новой для меня, как и для всех остальных, – оценить ее богатство мне не удалось. Я читала адаптированного “Моби Дика” и равнодушно смотрела фильмы с Лоуренсом Оливье, декламирующим “Генриха V”, “Гамлета” и “Ричарда III”. Этот язык, эта литература были для меня чужими. К тому же английский преподавали чопорные дамы, словно сошедшие с картины художника-пуританина.

Французскую литературу вела мадмуазель Гроло, очутившаяся в Атланта – уж не знаю каким образом – сразу после первой мировой войны. Она делилась с нами собственными впечатлениями от истории с такси на Марне и охотно вспоминала молодых американцев, водителей санитарных машин, прибывших во Францию до официального вступления Америки в войну в 1917 году. Возможно, она была влюблена в одного из них и приехала с ним в Джорджию по окончании войны? Этого никто не знал.

По фотоиллюстрациям в учебнике можно было судить о красоте французских замков, о Латинском квартале, а репродукции афиш Тулуз-Лотрека приоткрывали перед нами “фривольный”

мир кабаре. Моим одноклассницам, истинным провинциалкам, Париж представлялся воплощением вершин цивилизации. Зная о моих путешествиях в Европу, они считали меня причастной к этому заманчивому и пугающему миру, где подвергалась опасности добродетель непорочных дев. Во мне видели особу “искушенную” – эту репутацию подкрепляли мои знания, своего рода зрелость ума, позволявшая мне беседовать со взрослыми, мои “европейские” облегающие платья и легкие туфли. Эта одежда выделялась на фоне их мокасин, бело-коричневых кроссовок на розовой подошве и кожаных курток (в каждой школе – своего цвета): все, что тогда носили мои одноклассницы, в конце 80-х годов стало последним криком моды среди парижских лицеистов.

Курс гражданского воспитания раскрывал для нас устройство американской системы управления, суть разделения полномочий между федеральным правительством и штатами, обязанности гражданина и права лиц, проживающих на территории страны. Я служила примером для объяснений “от противного” – другие усваивали собственные права, узнавая о том, что недоступно для меня. Их очень рассмешило, что, даже приняв гражданство, я никогда не смогу стать президентом США. Но, думаю, кое-что во мне их смущало. Как это я живу в Соединенных Штатах и не жажду стать американкой, не питаю глубокой благодарности к Америке, свойственной, по их мнению, всем иммигрантам? Отчего лишать себя американского гражданства – прекраснейшего на свете статуса? Отчего не превозносить прелести Америки, подобно нашей преподавательнице испанского (это была беженка с Кубы, баптистка)? Если бы я могла вести со своими одноклассницами по-настоящему серьезные беседы, я в ответ на все эти исполненные высокомерия замечания с радостью пустилась бы изобличать пороки Америки. Но мне довольно было и того, что я демонстрировала самодостаточную “инакость” и тем свидетельствовала, что американская империя не безгранична.

Моя непохожесть еще резче проявлялась на обязательных занятиях, посвященных Библии. Четырехлетняя программа включала изучение Ветхого и Нового Завета и сведения о других великих религиях. Это нельзя было назвать катехизацией, хотя нашими наставниками были богословы. Они главным образом знакомили нас с немецкими научными методами чтения

Библии. Я была не единственной еврейкой в классе, и преподаватели никогда не пытались нас “обращать”, но кое-кому случалось отпускать иронические замечания по поводу иудаизма. После моего отсутствия в классе в связи с праздником йом-киппур учитель кисло-сладким тоном осведомился, уж не рассчитываю ли я получить от Бога прощение в двадцать четыре часа, да еще когда в желудке бурчит от голода. Девочки-протестантки захихикали, я же сухо ответила “да”. Тем дело закончилось.

Несмотря на этот инцидент, мне ежегодно вручали медаль первой ученицы по библейским занятиям, как, впрочем, почти все остальные медали — к большому смущению моих родителей, поскольку в день распределения наград я практически не сходила со сцены. К счастью, медали за “заметный прогресс”, прилежание и общественные заслуги вместе со спортивными трофеями доставались другим. В школьные годы мне постоянно приходилось доказывать окружающим, что я могу достичь их уровня: сперва в римской еврейской школе, куда я попала в пять лет, став ученицей приготовительного класса; потом — в англоязычной школе Майами, когда я еще с трудом понимала по-английски; затем в вашингтонском Французском лицее, куда я поступила, не зная языка. И наконец, все повторилось в Атланте, когда качество моего обучения на предыдущем этапе было полностью поставлено под сомнение. В тринадцать лет, в сложном переходном возрасте, мое стремление к первенству усилилось: мне необходимо было утвердиться в среде одноклассниц, психологически чуждых и глубоко равнодушных ко мне. Но моя одержимость отличницы имела и другие подспудные мотивы. Я знала, как мало быть первой в частной американской школе, знала, что я постепенно отстаю от моих бывших товарищей, продолжающих учиться по французской системе. Как и мама, я чувствовала себя изгнанницей, оказавшейся вдали от культурного мира, в стране, где нет ни философии, ни классической литературы, где я утрачиваю какую-то сущностную часть самой себя. В элитарной американской школе я сохраняла “дурные” привычки французской лицейстки, рвущейся к знаниям, вопреки принятой здесь этике разностороннего развития, охватывающего интеллект и общественную активность, физическую культуру и милосердие.

В системе вестминстерских школ обучались мальчики и девочки, начиная от приготовительной ступени и до выпускного

класса, причем с шестого класса было принято раздельное обучение. Здесь воспитывался цвет “руководящих кадров” Юга. Христианское воспитание было направлено на то, чтобы сформировать в характере ученика способность к максимальной самоотдаче на благо общества. Большое значение придавалось успехам в учении, но они должны были гармонично сочетаться с общественно-полезными делами, трудолюбием, спортивными занятиями и регулярной молитвой. Религия была поистине движущей силой в Вестминстерской школе. Так, из якобинского мира, с его суровым принципом “воздаяния по заслугам”, я попала в мир протестантской этики, благополучие которого оттенялось некоторой тревожностью. Контраст был огромным.

Расположенная среди соснового бора, школа являла собой буколический рай, тем более по сравнению с мрачными, тесными помещениями Французского лицея в Вашингтоне. Вообще она скорее походила на университетский городок, чем на типовое учебное заведение средней ступени. Просторные современные здания из красного кирпича, с фасадами, выполненными в местном стиле и украшенными ионическими колоннами, напоминали о той умиротворенности и изяществе, что были свойственны южным штатам до Гражданской войны. Казалось, элитарные ценности Юга здесь словно законсервировались. Дорожки от классных помещений до спортплощадок были усажены магнолиями и огромными азалиями. Дальше начинался лес. Мир и покой нашего оазиса не нарушало ничто: ни уличный шум, ни вид городских зданий. Здесь царил великолепие полной изоляции.

В этой интеллектуальной “Таре” я окунулась в атмосферу “Унесенных ветром”. Садовники, шоферы автобусов, развозивших нас по домам, уборщицы и судомойки – все были негры. Подобно манекенам с их неизменной улыбкой, они занимали крохотные ниши, отведенные для них в нашей благополучной жизни. В питомнике для избранных белых с этими потомками рабов обходились весьма любезно, однако ни черный преподаватель, ни чернокожий ученик появиться здесь не могли в силу непреложного порядка, имевшего не столько материальную, сколько социальную основу. Где-нибудь в другом месте ученик одного из трех последних классов, владеющий местехоньким “мустангом”, показался бы зазнайкой, однако характерные для

Вестминстера “southern grace and gentility”^{*} исключали какую бы то ни было примитивную кичливость: так могли вести себя янки, но никак не южная “знать”. К шестнадцатилетию многие из моих одноклассниц получали в подарок не только ключи от нового автомобиля, но и сотни акций “Кока-Колы” (напиток, изобретенный именно в Атланте, неустанно промывавший как финансовый организм здешней элиты, так и желудки потребителей во всем мире). В ходу здесь были “старые” деньги, они-то и определяли климат в школе. Немногочисленные ученики из семей нуворишей старались приспособиться к нравам элиты и влиянием не пользовались. Здешняя обстановка как бы опровергала европейское представление об “Америке потребления”.

В этот пантеон протестантского духа я вступила через ворота пресвитерианства. Среди пестрой мозаики протестантизма пресвитерианцы (по крайней мере, на Юге) выделялись как элитарная община. Как и у британских англиканцев, рафинированность социального статуса и строгая мораль сочетались у них с рвением первых пуритан. Они считали себя более утонченными, чем лютеране немецкого происхождения, и держались в стороне от народных сект баптистов, с ритмичными песнопениями и горячей эмоциональностью которых ассоциируется религиозный пыл Юга. В Вестминстере, таким образом, меня окружала атмосфера не ведающего сомнений морализаторства самоудовлетворенной белой элиты.

Тон задавал директор школы, доктор Пресли, бывший пастор, дипломированный теолог. Худощавый, с пронзительным взглядом голубых глаз из-за очков в черной оправе, он носил весьма элегантные темные костюмы. Крупная золотая булавка неизменно закрепляла безупречно-ровный, туго стянутый галстук – прямо-таки воплощение незыблемости его нравственных устоев. Он был уверен в себе и преисполнен горделивого сознания своей высокой миссии служителя Божия, коему вверено пестовать и наставлять в христианских истинах подрастающие поколения. Впрочем, доктор Пресли с равным успехом мог бы стать банкиром, видным адвокатом или одним из тех сенаторов в белых льняных костюмах, что отстаивали достоинство Юга в американском Конгрессе. Когда он принимал родителей учеников или новичков в просторном холле админи-

* “Обходительность и аристократизм Юга” (англ.).

стративного здания, отделанном черным и белым мрамором, изысканность его манер и вместе с тем внушительный вид производили неизгладимое впечатление. То был прирожденный начальник...

Протестантский дух “семейственности” находил выражение в ежедневных молитвенных собраниях перед лицом американского флага. Мы хором читали “Отче наш”, после чего преподаватели — как видно, все верующие — обычно выступали с собственным религиозным комментарием на темы дня. С особой торжественностью проходили еженедельные общие собрания по пятницам: после обеда школьный коллектив стекался в огромный актовъ зал (мальчики занимали места по одну его сторону, девочки — по другую). Это роскошное помещение славилось исключительной акустикой, так что в нем давала свои гастрольные спектакли нью-йоркская Метрополитен-Опера. Все мы стояли, не спуская глаз с доктора Пресли, и читали наизусть Двадцать четвертый псалом.

“Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего”.

Целью этих собраний было утверждение связи между повседневной жизнью и высокими духовными ценностями веры. Нам надлежало проверить чистоту своих рук и испытать чистоту сердец. Часто доктор Пресли произносил краткую проповедь, однако кульминационным моментом собрания было выступление специально приглашенного гостя. Это мог быть пастор, но чаще приглашались бизнесмены, адвокаты, ученые, политики или издатели ведущих городских газет. Они говорили с нами о том, что такое “жизнь”: что она обещает, сколь она трудна и опасна, а главное — о вызове, который она бросает нам. Перед нами проходили чередой ролевые модели нашего будущего. Правда, скорее это были модели для мальчиков. Подразумевалось, что девочек ожидает роль “половины” в семейной паре: сменявшие друг друга гости помогали им представить образ будущего мужа. Так я смогла узнать почти всю элиту WASP* нашего города, начиная с мэра и сенаторов, чьи дети тоже

* Белые—англосаксы—протестанты (англ.).

учились в нашей школе. Выступления их я уже забыла, но помню главную мысль, которую они стремились нам внушить: это был призыв к вере, ибо без Бога жизнь лишена смысла. На каждого из них Бог “воззрел” в час тяжелого жизненного испытания. Разумеется, за их достижениями в политике или бизнесе не стояли ни честолюбие, ни корысть, ни жажда власти: ими руководила лишь забота о благе сограждан... От нас требовалось проявить в жизни ту же веру и такой же альтруизм...

Любовь, семья, дети составляли священную триаду нравственного воспитания. Ведь выпускникам исполнялось по восемнадцать, и у нас процветала американская традиция “свиданий” — романтических встреч наедине. Как далеко можно зайти, не нарушая религиозных принципов? Этот важный вопрос занимал все умы. Когда на одном из еженедельных собраний пастор (выполнявший также функции психолога-консультанта для подростков) заговорил о “любви”, в наступившей тишине слышно было пролетающую муху. Обратившись в слух, мальчики и девочки внимали пастору в молчании поистине благоговейном. Речь шла об апостоле Павле, о привлекательности целомудрия, о возвышенности брака. Будучи человеком вполне прагматичным, пастор затронул и тему “свиданий”. В середине 60-х годов считалось чем-то само собой разумеющимся — во всяком случае, в южных штатах, — что до брака половая близость исключается; поэтому пастор уточнил, какие именно формы контактов влюбленных можно считать допустимыми. По его мнению, девушка могла позволить обнять себя за плечи и поцеловать. Не возбранялись поглаживания верхней части тела. Все прочее грозило девице бесчестьем и утратой уважения юноши. Завершив короткую речь, наш наставник предложил ответить на вопросы слушателей, а для сохранения анонимности разрешил задать их в письменном виде. Корзинка с записками наполнилась мгновенно. В большинстве своем вопросы касались проблемы груди: можно ли ее ласкать, а если да, то должна ли она оставаться прикрытой или же может быть частично обнажена? Выкази пастор излишнюю строгость в этом вопросе, и он рисковал бы утратить доверие паствы. Поэтому ответ был уклончивым: в принципе грудь считалась запретной зоной, однако если речь идет о прочных взаимоотношениях с перспективой скорой помолвки, к ней можно прикоснуться, но ласки не должны быть настойчивыми. Все прочее, включая и мужское тело, оставлялось на “после свадьбы”.

Не все усвоили этот урок. Некоторое время спустя лучшему ученику выпускного класса, без пяти минут студенту Вирджинского университета пришлось уйти из школы вместе со своей подругой, которая училась, как и я, во втором классе. Она была беременна. Они срочно поженились, а девушки долго переживали этот скандал. Как мы поняли, тело таит опасности, угрозу для жизненных планов.

Уроки религиозно-сексуального воспитания на собраниях по пятницам не вызывали у меня особого интереса. Меня, чужестранку (с точки зрения географии, культуры и даже вероисповедания), все это не касалось. Элитарные круги WASP не были мне близко знакомы. Мысля якобинскими категориями государства и формальных гражданских прав, я не совсем понимала их этику “служения обществу”. В мир клубов, балов и слетов, где встречались мальчики и девочки, я не была вхожа: евреи туда не допускались. Мне негде было знакомиться с мальчиками, так как учились они отдельно от нас. Кроме того, я считала глупой саму идею “свиданий”: мне бы хотелось проводить время в дружеской компании, как когда-то в Италии, но в тогдашней Америке это было не принято. Встречи в библиотеке или в маленьком кафе, предназначенном для особо отличившихся учеников, не снимали скрытой напряженности в отношениях между мальчиками и девочками, отягощенных комплексами и сексуальными табу. В школьном буфете мы не садились за стол вместе. Хотя общение не запрещалось, ни у кого не хватало смелости нарушить невидимую границу. Даже “официально признанные” пары воссоединялись только после трапезы. Нас разделяла стена полного неведения друг о друге. Я стойко переносила свое одиночество, убеждая себя, что я здесь не навсегда.

Однако семена пуританства незаметно проросли в моей душе, упав на почву итало-иудейского мелкобуржуазного аскетизма. Преисполненная чувства вины, связанного с первородным грехом, я искала опоры в том кодексе чести, которым мы должны были руководствоваться на экзаменах и в дальнейшей жизни. Сознание личной ответственности за свои поступки соединилось с пуританским отношением к полу, предполагающим, что любовь неотделима от чувства собственного достоинства и уважения к ближнему, и совершенно исключаящим естественное наслаждение. Сама того не подозревая, я стала воплощенным

продуктом протестантской этики, прекрасно описанной Максом Вебером. Меня волновала оценка моих достижений и поступков, мной руководило чувство долга, далеко превосходящее мои повседневные задачи. Упорно стремясь к недостижимому совершенству, я оказалась в той жизни, где правит закон, но нет искупления. Я стала жесткой моралисткой, нетерпимой к неоднозначным поступкам, требовательной в отношении обязанностей, и пуристкой, щепетильной даже в намерениях. Чем настойчивее я цеплялась за свою “европейскую” идентичность, тем более отдалялась я от “латинской души”.

Суровая яacobинка, да еще и прозелитка протестантской морали, я была вдвойне непримирима, что с особой очевидностью проявлялось в нашей “внеучебной” деятельности. В Вестминстере, как и в других американских школах, одной из главных задач воспитания считалось развитие духа общественного единения. Большое значение придавалось представительству в общешкольных координационных органах и выборам классного руководства. Мы имели право ежегодно избирать в классе президента, вице-президента и казначея. В предвыборной кампании использовались плакаты с персонажами мультфильмов, чаще всего Снупи и Суперменом, а каждая из кандидаток старалась заверить избирательниц, что ее правление обеспечит им лучшую жизнь. На самом деле это было бессмысленное состязание в популярности, смехотворная пародия на демократию. В знак протеста я шла на худшее из преступлений: отказывалась от голосования. Как иностранке, мне простили мои причуды, но было ясно, что “своей” я не стану.

Иной формой проявления того же духа единения были клубы и всяческие общества. Среди них были шефские ассоциации — они опекали школы, затерянные в глубинке (но исключительно школы для белых). Члены других объединений занимались литературным творчеством, религиозными поисками; у нас были, кроме того, свой театральный коллектив, оркестр, хор, издавалась газета, существовали клубы любителей языкознания. Особая группа готовила школьный ежегодник. Но самым изысканным и престижным объединением считалась группа поддержки спортсменов. Входившие в нее девочки должны были подогревать энтузиазм болельщиков Вестминстера на футбольных и баскетбольных матчах. Высокая честь быть причисленной к этому лику избранных оправдывала любые жертвы.

Я терпеть не могла все эти чересчур регламентированные формы социального общения. Собирались в основном для того, чтобы выбрать президента клуба и казначея, выработать устав, собрать взносы и принять новых членов ассоциации: решение простейших организационных вопросов превращалось в самоцель...

Многих приводило в клуб увлечение — будь то музыканты, артисты или подающие надежды журналисты. Однако нередко записывались в клуб и по расчету. Каждый выпускник имел право на большой фотопортрет в школьном ежегоднике, в подписи под ним перечислялись все его награды за пять лет обучения в старших классах, а также отмечалось членство в разных клубах. Каждый хотел получить как можно больше почетных титулов, как можно чаще фигурировать на групповых снимках, и это стремление не оставляло истинного американца на всех этапах его жизненного пути.

Апофеозом школьной жизни для ученицы Вестминстера был майский выпускной бал. Самые младшие готовили к празднику грандиозный спектакль с танцами и скетчами. Ноябрьские торжества *Homecoming**, приуроченные к возвращению из турне школьной футбольной команды, или наши карнавальные увеселения — бал, где избирали самых популярных мальчика и девочку и куда все являлись парами, причем непременно атрибутом гостя была орхидея, — все это были лишь бледные подобия той феерии, которая устраивалась в мае на обширных цветущих лужайках, прямо у административных зданий.

Выпускницы — в длинных платьях, каждая в сопровождении двух фрейлин, — под музыку из “Сна в летнюю ночь” Мендельсона торжественно являлись перед гостями — родителями и представителями городской элиты. То был жизненный дебют, подобный первому балу Наташи из “Войны и мира” или Скарлет из “Унесенных ветром”. Шествие выпускниц венчал парадный выход Королевы Майского Дня и четырех ее фрейлин. Каждая из них олицетворяла одну из главных добродетелей, в совокупности воплощаемых Королевой: *Nobility* (душевное благородство), *Ability* (сообразительность и умение действовать), *Play* (спортивный дух и гуманность) и *Service* (самоотверженная любовь к ближнему). Эти качества, совершенно не соответствующие распространенному во Франции, воспитанному

* Возвращение домой (англ.).

французской школой представлению о “заслугах”, определяли идеалы американской элиты. И по сей день, читая какой-нибудь некролог или участвуя весной вместе с другими бывшими гарвардцами в избрании попечительского совета университета, я убеждаюсь в том, что критерии оценки человеческого успеха с той поры не изменились. Теперь, когда мне пришлось вновь столкнуться с принципами якобинской “меритократии”*, я научилась не только понимать, но и уважать ценности, которые в годы отрочества казались мне слишком эклектичными.

Я покинула Вестминстер ровно за год до окончания, и причиной тому вновь стало служебное перемещение отца, на сей раз в Монреаль. В тамошний университет я поступила на год раньше, чем положено. Тем не менее в июне 1967 года, в самый разгар вьетнамской войны, я вернулась в Атланту за аттестатом. В отделанный зеленой кожей свиток мое имя не было впечатано: его написали от руки, толстым черным фломастером. Вокруг моего аттестата возник спор, подобный тому, что имел место при поступлении в школу четырьмя годами раньше: равнозначны ли первый год обучения в канадском университете и выпускной класс Вестминстера? Итак, я вышла из школы, как и вошла, через черный ход, причем подруги сообщили мне, что, останься я в выпускном классе, меня наверняка избрали бы фрейлиной Королевы Мая, персонифицирующей Ability.

Я сторонилась узкого круга WASP, тяготеющего к Вестминстеру, не только из-за моей принадлежности к еврейству и Европе, но еще и потому, что благодаря матери я была в курсе событий, происходивших в мире чернокожих. Несмотря на уединение нашего буколического рая, я была знакома с оборотной стороной медали. В отличие от других учениц, я-то знала, в какие унылые темные закоулки пробираются вечерами наши улыбчивые слуги, весь день окруженные добросердечными “любящими” протестантами.

После уроков школьный автобус отвозил меня в “буржуазный” северо-восточный район, где мы жили. Мы проезжали через роскошные северо-западные кварталы, мимо самых

* “Власть заслуги” (от франц. *mérite* – заслуга).

внушительных домов Атланты, особняков, достойных Голливуда. Автобус останавливался на обочине дороги с плавными поворотами, обсаженной соснами, за которыми скрывались огромные кованые ворота. Дети видных финансистов высаживались и бежали к своим черным нянюшкам, — а те, как всегда улыбаясь, поджидали у дверей, готовые водворить питомцев в их закупоренный мирок. Затем автобус медленно пересекал кольцевую дорогу недалеко от ресторана фирмы “Хауард Джонсон” с его рекламой двадцати восьми сортов мороженого. Это был настоящий “таможенный пункт”. Дальше дома и сады опять уменьшались до “нормальных” размеров. Я выходила вместе с несколькими попутчиками, предварительно попрощавшись с девочкой-сиротой и сыном греческих эмигрантов — они продолжали путь к своему домику, обшитому гонтом, с простым палисадником. Тут завершался мой спуск по социальной лестнице.

А моя мать в тот же самый час совершала “восхождение”, окончив свои занятия в Университете для черных. Выйдя из зеленого университетского городка, в точности воспроизводящего кампусы университетов для белых, она шла длинными прямыми бульварами юго-восточного района, планировка которого позволяла полицейским машинам беспрепятственно прочесывать негритянские кварталы. Домики прижимались друг к другу, будто сплотившись для отражения угрозы белого мира. Они воплощали мелкобуржуазные понятия их хозяев о престиже. Вокруг располагались магазины, конторы, рестораны, где протекала общественная жизнь. До 1964 года только в этом районе Атланты белые и черные могли питаться вместе. По мере приближения к границе между белым и черным городом кокетливые домики сменялись развалюхами, иногда совершенно заброшенными. Они как нельзя лучше “гармонизировали” с запыленными ветхими сараями старого “делового центра” в самом сердце исторической Атланты, все еще погруженного в сон, нарушаемый лишь некоторым оживлением вокруг двух магазинов. Географический центр города, почти как в Берлине, занимала обширная “ничья земля”, перегороженная “стеной” расового отчуждения.

Вдоль железнодорожных путей, деливших Атланту на две части, от дворцов северо-запада до городских ворот тянулись трущобы — кое-как подлатанные, чудом еще не развалившиеся лачуги. Мать пробиралась между ними, направляясь к отцу

в офис. Он находился в единственном тогда в Атланте небоскребе на Пичтри-стрит, в нескольких шагах от “Пяти Точек” — коммерческого центра города. Тут все еще существовало старое кафе, где в конце прошлого века первый клиент получил стакан местного напитка под названием “кока-кола”.

В этих лачугах, сильно смахивавших на застройку современного Соуэто, обитала скромная “пехота”, несшая службу под началом “южной знати”: горничные, шоферы, садовники — те, кто обеспечивал идиллический быт привилегированных кварталов. На фоне опыта этих людей, не вхожих на порог к черной буржуазии и не ступавших дальше передней белых господ, казались смешными прекраснодушные разглагольствования моих соучениц и учителей, замкнувшихся в своем роскошном гетто. Никому из них не случилось хоть раз — даже по ошибке — очутиться “за чертой” железной дороги.

Кстати, только белые могли полагать, будто мир черных — единое сообщество. Напротив, он был чрезвычайно неоднороден по составу, и его внутренняя дифференциация обуславливалась преимущественно оттенками цвета кожи. Эта кастово-классовая система с ее социальными нормами ни в чем не уступала структуре “порядочного общества” белых. “Совсем черные” оставались у подножия социальной пирамиды, а некоторым из “светлых” черных, пребывавших на вершине, путем перекрестных браков удавалось “взять барьер” и влиться в ряды белых, скрывая свою страшную тайну.

Наше пребывание в Атланте пришлось на переломные годы. Мама могла наблюдать разрушение этой иерархии в студенческой среде. Самые “темные” черные первыми начали борьбу за гражданские права. Затем, в процессе радикализации движения именно они выдвинули лозунг “черный цвет прекрасен”. Это прежде всего был вызов “светлым” неграм, которые не осмеливались объединяться во имя защиты собственного достоинства и долгое время предпочитали “притворяться” белыми, чтобы подняться по социальной лестнице. Движение за гражданские права в целом было не только борьбой против навязанной белыми сегрегации, но и попыткой покончить с господством прежней негритянской элиты.

В то время чернокожая буржуазия жила вполне обособленно, имея своих врачей, учителей, адвокатов, дельцов, миллионеров. Аналогичные группы населения во всех крупных американских

городах вместе образовывали своего рода “национальную” буржуазию. Большинство маминых студентов и коллег, можно сказать, по определению принадлежали к этой касте.

Только духовная сфера допускала нарушение узаконенной иерархии. Поприще слуги Господня, “преподобного” считалось столь почетным среди черных, столь возвышало его избравших, что этим компенсировались изъян происхождения и слишком темный цвет кожи. Преподобный Мартин Лютер Кинг и его жена Коретта были тому примером. Именно в те годы их политическая роль получила общенациональное призвание. То же можно сказать и о преподобном Бенджамине Мэйсе, президенте Морхауса, университета для черных. Духовный авторитет этого пожилого уже человека, сына раба, был так высок, что Джон Кеннеди направил его в качестве официального представителя США на похороны папы Иоанна XXIII.

Всех черных – богатых и бедных, “светлых” и “темных” – объединяли пылкая набожность и благоговение перед пасторами, носителями непреложного нравственного авторитета в глазах общины. По воскресным дням со своих кафедр они настаивали, ободряли, укрепляли верующих, черпая силу убеждения в самой духовной нищете паствы. Их проповеди не имели ничего общего с методичным молитвословием вестминстерских пресвитерианцев. Говоря о нравственности, толкуя Нагорную проповедь, эти пасторы никогда не впадали в пустую риторику: они указывали вполне конкретные пути к вечной жизни. То трубный глас мира грядущего, то отголоски житейских бурь слышались в их богатой интонациями речи, – и в прихожанах, всю жизнь подвергавшихся унижениям, пробуждалось чувство собственного достоинства. Проповедник умолкал, и его сменял хор. Когда великолепные голоса, воодушевленные единым порывом, сливались в гимне, меня охватывал трепет. Последовательность октав – череда извечных молитвенных восклицаний – разрешалась стоном “Помилуй мя, Боже”, обнажая бездну человеческой муки. Сердечная атмосфера этих церквей с их ярко выкрашенными изнутри стенами, где все были едины, вместе исходя потом и слезами, вместе испытывая чувство облегчения, запомнилась мне как глубочайший символический образ духовного поиска.

Между черной элитой и белой элитой WASP лежало одно неизмеримое отличие. Если чернокожий, будь он даже выпускник

Гарвардского университета, оказывался в “городе белых” – в глазах любого ничтожного обывателя он был всего лишь “nigger”. Он не имел права зайти в ресторан или в общественный туалет, попить воды из фонтанчика. В автобусе ему полагалось ехать в задней части салона, а при отсутствии свободных мест в отсеке для черных он должен был стоять. Точно так же, согласно неписаному закону, при встрече с белым на тротуаре он обязан был уступить дорогу, сойдя на мостовую. Улица не признавала в черном полноценного человека, отказывая ему в индивидуальности; объект всеобщего презрения, он сам себе казался каким-то фантомом.

Такое положение сохранялось в первые два года нашей жизни в Атланте, до тех пор, пока его не отменил Закон о гражданских правах 1964 года. Помню, как я была потрясена, впервые столкнувшись с самыми откровенными проявлениями расизма и с тем, что большинством белых они воспринимались как нечто вполне естественное, причем даже образованные люди нашего круга не составляли исключения. Ни в одной из сотен проповедей, которые мне пришлось выслушать в Вестминстере, не прозвучало и малейшего намека на эту несправедливость. Любовь к чернокожим садовникам длилась ровно до пяти часов пополудни.

Моя мать – преподаватель французской и итальянской словесности – вошла в общество черных через парадную дверь. Она сразу стала воплощением “цивилизации” в глазах сотен студентов, для которых познание Европы поистине было глотком кислорода. На факультете преподавали еще четверо или пятеро белых, но именно мама – единственная иностранка – представляла лицо “толерантного и просвещенного” мира.

Ее студенты преклонялись перед французскими классиками. Слава Мольера, Расина, Корнеля, Руссо и Вольтера раскрывалась во всем блеске, когда их произведения читали эти молодые люди, в большинстве своем из более чем скромных семей. Когда мы гуляли по просторам Джорджии, порой в какой-нибудь затерянной среди хлопковых полей деревеньке моя мать восклицала: “Да ведь такой-то отсюда родом!” А между тем это была настоящая дыра, с пыльными улицами, где выделялись разве что небольшой банк, кафе, почта и бакалейная лавка. Был тут и свой негритянский квартал из двух-трех бараков, расположенный вдали от центральной улицы, чтобы не обидеть белое

население. Мать приходила в восторг. Студент, оказавшийся уроженцем здешних мест, был лучшим в ее группе, у него был самый богатый запас слов, он оригинальнее всех анализировал художественный текст, словно бы стремясь высвободиться из плена повседневности посредством чужого языка. Все студенты знали, что Франция дала свободу своим рабам в то самое время, когда американцы в виде компромисса решили считать их полулюдьми. Все они восхищались родиной Декларации прав человека, полагая, что именно французская цивилизация обожновила понятие о человеческом достоинстве, отнятом у них белыми в Соединенных Штатах.

Франкофильские настроения поддерживал заведующий отделением языков Эдвард Джонс. Он окончил Сорбонну в начале 50-х годов, в эпоху наивысшей славы Сен-Жермен-де-Пре, когда Феликс Уфуэ-Буаньи и Леопольд Седар Сенгор несли миру свидетельство об универсализме и антирасизме Франции. У него остались незабываемые впечатления от этой страны — там впервые в жизни он мог свободно перемещаться и чувствовать себя полноценным человеком.

Принимая нас в своем сияющем белизной доме, расположенном на одной из самых красивых улиц негритянского квартала, в гостиной, полной безделушек в духе бидермайера, он с удовольствием вспоминал о жизни во Франции, символизировавшей для него изящество и утонченность. Джонс, всегда одетый в тройку, с золотыми часами на цепочке, и его жена Виргиния, еще более светлокожая, чем он, представляли одну из категорий черной буржуазии — ту, что держалась твердых устоев и стремилась найти для себя стиль жизни, соответствующий ее нестабильному статусу. Они отнюдь не были революционерами. Даже не будучи полноправными гражданами, они дорожили слишком многим и не желали разрушения системы, которая, в определенных пределах, обходилась с ними неплохо. Они были польщены нашими визитами и весьма тронуты маминым приглашением на ужин. Помню, отец долго объяснял им, как до нас добраться. Им очень не хотелось углубляться в лабиринты белых кварталов с риском заблудиться и нарваться на неприятности. Путешествие в белую terra incognita сулило черным немало опасностей, почти как паломничество в средние века.

Однажды мы пришли им на помощь в случае, казалось бы, совершенно незначительном; но для них дело могло повернуться

нежелательным образом. Им предстояло принимать у себя дочь французских друзей, путешествующую по Штатам. Мистер Джонс позвонил нам совершенно растерянный: он не мог доставить из аэропорта белую девушку. Полиция, которая всегда была начеку и выискивала малейший повод, чтобы задержать управляющего более или менее приличным автомобилем негра, могла бы в данном случае заподозрить худшее. Родители взяли привезти гостью к Джонсу и по пути объяснили ей, что на улицах Атланты негру негоже показываться вместе с белой женщиной. По этому поводу мистер Джонс сообщил нам, что те из чернокожих, кто был достаточно богат для приобретения шикарного автомобиля, во время поездок вне негритянского квартала или за городом надевали шоферскую фуражку, дабы избежать неприятностей.

Подобные эпизоды усиливали мой скептицизм в отношении Америки. Можно ли восхищаться страной, где весьма почтенные люди, “виновные” лишь в том, что у них темный цвет кожи, не могут без страха выйти из дома, а избалованные шестнадцатилетние юнцы, которым все позволено только потому, что они белые, забавляются, гоняя на собственных автомобилях? Европа, конечно же, не знает подобного позора. Как мне помнилось, черные преспокойно гуляли по улицам Рима и Парижа, их любезно принимали в отелях и ресторанах. Еще не понимая, что терпимость и гостеприимство Европы объясняются редкостью, эпизодичностью появления там черных, я наивно полагала, будто расизмом заражена только Америка да еще две далекие страны – Родезия и Южная Африка.

Само собой разумеется, вестминстерская и морхаусовская “стороны” никогда не встречались. Мои учителя и подруги знали, что мама преподает “у черных”, но считали это европейской причудой, своего рода хобби. Никто никогда не обращался ко мне с вопросами о том, что “там” происходит, – даже когда газеты всего мира писали о сидячих забастовках и других акциях борцов за гражданские права, идейным вдохновителем которых был Мартин Лютер Кинг.

Однажды два мира случайно соприкоснулись. Это произошло в 1965 году. Один из видных членов Госдепартамента прибыл в Атланту с тем, чтобы прочесть лекцию. Она должна была состояться в самом шикарном отеле города. Лучшие ученики Вестминстера удостоились приглашения ее посетить. Входя в

зал вместе с пятью другими школьниками и нашим учителем, я увидела декана Морхауса, маминого друга, и тепло поздоровалась с ним. Он был удивлен и тронут. Позже, когда эта история обошла весь Морхаус, я узнала, как глубоко поразил его мой непосредственный поступок. Находясь в обществе своих друзей-белых, я осмелилась публично обратиться к нему, бесстрашно переступила невидимую черту, отделявшую его от всех остальных. Мои спутники, в свою очередь, были удивлены не меньше. Им до сих пор не приходилось встречать негра в костюме с галстуком: судя по его виду — человека образованного. Тот факт, что я с ним знакома, подтверждал мою репутацию девушки “искушенной”, не такой, как все: я могла позволить себе поступок, который в порядочном обществе южан сочли бы недопустимым.

В наших отношениях с “простым человеком” удивительного было еще больше. В вестминстерском кафе для учеников, уважаемых Доски почета, нас обслуживала симпатичная молодая женщина лет тридцати по имени Глэдис. Все мы охотно с ней откровенничали, так что она была в курсе школьных сплетен. Как-то я сказала ей, что моя мать преподает в Морхаусе. Чуть не уронив стакан, она переменялась в лице: милая, хотя и ничего не значащая улыбка стерлась, уступив место изумленному восхищению. Она смотрела на меня взглядом сообщницы: я оказалась одной из “своих”! С тех пор, выслушав рассказы моих подруг о свиданиях, Глэдис подсаживалась ко мне обсудить наши общие “секреты”: заявление Лестера Мэддокса, владельца известного атлантского ресторана, о том, что он не станет обслуживать черных, даже если того потребует закон; марш в Сельме и демонстрацию отважных негритянок, бросивших вызов государственной полиции; реакцию губернатора Алабамы, расиста Джорджа Уоллеса, заклятого врага министерства юстиции, возглавляемого Робертом Кеннеди. Мы шептались, как подпольщики французского Сопротивления в деревенской забегаловке. Вокруг была “вражеская” территория. По-видимому, Глэдис поделилась новостью с другими вестминстерскими черными: при встрече с кем-нибудь из них я ощущала, что за обычной предупредительностью сквозит некий дух общности. Так я снискала лавры героини... “по доверенности”.

Куда сложнее было общаться с нашей горничной Юлой и садовником Вилли. Они обрадовались, узнав, что мои родители

одобряют борьбу их народа за гражданские права. Но это никак не повлияло на их поведение. На все наши попытки завязать диалог они по-прежнему отвечали хором “слушаюсь, мэм”, “да, сэр”, опускали голову и прятали глаза. Они не притрагивались к нашей повседневной посуде, используя для питья какие-нибудь разрозненные или надтреснутые стаканы, всегда одни и те же. Вилли никогда не входил в дом: он ожидал своей зарплаты, стоя на улице с соломенной шляпой в руках. Юла ни разу не приняла приглашения пообедать вместе с нами, предпочитая наскоро перекусить в своем уголке. Мне стало понятно, как тяжело отразился вековой гнет расовой сегрегации на душах людей. Юла и Вилли пожизненно несли клеймо своего рода психологической сегрегации.

Между тем я гордилась работой моей матери и нашим общением с черными. Это было не лишнее самодовольства сознание принадлежности к авангарду крупного исторического движения, отличавшей нас от всех наших белых знакомых. Но, помимо этого самодовольства (позже оно послужило поводом к обвинению белых либералов со стороны негров), было во мне и другое. Я любила черных, потому что только их жизнь казалась мне действительно наполненной “смыслом”. Постоянные страдания, сносимые обиды, религиозность, жажда культуры и обретения собственного достоинства – все это, на мой взгляд, выделяло их как самых благородных представителей мозаичного американского общества.

К моменту нашего отъезда из Атланты отношения между черными и белыми накалились. Но маму не затронули первые конфликты, предвещавшие взрыв: самые радикальные студенты, понося белых в ее присутствии, всегда уточняли, что к ней это не относится – ведь она из Европы. Приехав с этого континента – уже опороченного еврейской Катастрофой, – мать не несла исторической “ответственности” за преступления рабовладельцев. Однако еврей-янки, хотя и их никак нельзя было винить в существовании рабства, – горячие сторонники расового равноправия, специально приехавшие на Юг вести борьбу за гражданские права (в 1964 году двое из них были убиты куклуксклановцами), – впоследствии оказались жертвами гнева, направленного против белых. Динамизм этих людей – может быть, чрезмерный, их воинствующая активность, унаследованная от левых движений 30-х годов, психология кре-

стоносцев – все это задевало черных, привыкших к более мягким нравам “благородных южан”. Кроме того, пришедший с Севера антисемитизм, влияние антиссионистской идеологии “третьего мира” в среде молодых негритянских борцов также послужили тому, чтобы в историю этнических конфликтов в Соединенных Штатах была вписана одна из самых горьких страниц. Последствия всего этого я смогла ощутить в конце 60-х годов в Гарварде, однако в моих воспоминаниях проведенный в Атланте период навсегда затмил дальнейшие, весьма напряженные в политическом отношении годы.

В Америке круг общения определялся прежде всего вероисповеданием, и родители сделали попытку ввести меня в общество евреев, думая, видимо, скрасить тем самым мое вестминстерское одиночество. Однако этот мир был мне не ближе, чем все остальное, а возможно, он стал для меня даже более далеким, поскольку я острее ощутила его культурную чуждость.

В северных метрополиях среди потомков еврейской иммиграционной волны конца прошлого века встречались еще представители пролетариата и мелкой буржуазии. В Атланте же еврейское сообщество состояло из процветающей элиты, социально крепкой и богатой. Среди наших знакомых были в основном медики, дантисты, несколько адвокатов, недавно обосновавшиеся в Джорджии промышленники, функционеры из крупных федеральных учреждений, таких, как Центр инфекционных заболеваний. Попадались среди них уроженцы Атланты, которые еще помнили о том, что их родители были люди “пришлые”, владели магазинчиками в небольших городках Джорджии и пребывали на обочине общества...

Этот мир существовал бок о бок с высшим обществом белой Атланты, не сливаясь с ним. Клубы, в которых состояли сливки белого общества, были закрыты для евреев, и им приходилось создавать свои собственные. Однажды в офис к отцу как к представителю “Эр Франс” явился вербовщик одного из самых изысканных клубов Атланты с предложением стать членом этого клуба. В числе прочих его преимуществ, подчеркнул он, – возможность чувствовать себя исключительно непринужденно, так как евреи туда не допускаются. Отец холодно ответил, что в таком случае его собеседник обратился не по адресу.

Незадачливый посланец “очищенного” от нежелательных элементов социума рассыпался в извинениях. Я пережила нечто подобное, когда одна вестминстерская подруга как-то после обеда пригласила меня в свой клуб. Окружающие глядели на меня, выходящую из бассейна, как на зачумленную; они приветствовали меня фразой: “Fancy meeting you here!”*, где ударение приходилось на слово here. Больше уж меня никогда туда не звали.

Не состоя ни в одном из еврейских клубов, мы посещали их по приглашению друзей. Здесь в точности воспроизводилась модель клуба WASP: те же зеленые лужайки, площадки для гольфа, теннисные корты и традиционный ресторан, где и происходило пресловутое “socializing”**. Но в еврейских клубах было куда более шумно и оживленно: мамы громогласно делились матримониальными планами относительно своих детей. Бедняги, думалось мне, они живут иллюзией причастности к “великой американской мечте”; я же, под влиянием моего европейского якобинства, ясно видела ее ограниченность, не находя сильных ее сторон.

Мое личное знакомство с еврейским обществом состоялось, когда меня записали в воскресную школу при синагоге. Родители, в общем-то неверующие, но соблюдавшие праздники, посещали синагогу, чтобы “принадлежать” (ключевое слово американской жизни) к какой-нибудь общине. Они отказались записаться в реформированную большую синагогу, возвышавшуюся в одном из лучших кварталов. Там обходились практически без древнееврейского языка. Родители были шокированы, узнав, что главная служба недели бывает по воскресеньям, а не в пятницу и субботу. Хотя они никогда не ходили на эту службу, их оттолкнуло стремление во всем подражать протестантам, вплоть до согласования богослужебного расписания. Поэтому они выбрали “консервативную” синагогу, где мужчины и женщины молились отдельно, зато сохранялся в неприкосновенности традиционный обряд.

Здание синагоги — из стекла и красного кирпича, круглое (в стиле, модном в культовой архитектуре начала 60-х годов), — поразило меня своей холодной функциональностью. Коридоры

* Приятно встретить вас здесь! (англ.)

** Общение (англ.).

с кондиционерами и привычными фонтанчиками с ледяной водой вели к кабинетам раввина и его помощников. Большое оживление царило у доски с объявлениями о планах общины: тут чередовались лекции и турниры по бриджу, походы и пикники, а венцом программы были танцевальные вечера. Лихорадочная светская жизнь разворачивалась на фоне весьма успешного “fund raising”* в пользу синагоги, в фонд благотворительных инициатив, в фонд помощи Израилю – и молодежь активно участвовала во всех этих гражданско-религиозных мероприятиях, очень рано приобщаясь к искусству сбора средств.

В воскресенье утром мы собирались в подвальном помещении синагоги, в классных комнатах, украшенных детскими рисунками. Образование тут давалось весьма поверхностное; оно полностью выветрилось из моей головы. Помню только, какие закомплексованные взгляды бросали друг на друга полтора десятка девиц и парней тринадцати лет, с их вечными угрями на лице или корригирующими пластинками для зубов. Я оказалась единственным новичком в этом замкнутом мирке. Надо сказать, с первого же дня все мои попытки утвердиться в нем пошли прахом. Началось это уже во время торжественного ужина. Впервые в жизни столкнувшись с таким явлением, как lox and bagels**, я спросила у соседей, что это такое. Все с изумлением воззрились на меня, а “главный” спросил: “Как это ты, еврейка, – и не знаешь, что такое bagels?” На их снобизм я попыталась возразить, что отнюдь не все евреи родом из Польши и России и что они, если уж на то пошло, вряд ли знают многие итальянские блюда. Но все было напрасно: мои идеи кулинарного релятивизма их совершенно не убедили. Последовали другие вопросы, и в том числе такой, заданный вполне серьезным тоном: как звучит моя фамилия полностью? Я не поняла, чего они хотят; тогда с их стороны были предложены возможные варианты – Пинтонеvский, Пинтовский... Моему изумлению не было границ. Доказывать им, что существуют различные еврейские традиции, помимо ашкенази, не стоило труда: я все равно оставалась им чуждой.

При синагоге был девичий клуб, призванный способствовать “пробуждению евреев”. Но, как и в Вестминстере, наши

* Сбор средств (англ.).

** Традиционная еврейская еда.

собрания не шли дальше организационных вопросов. Избрав штаб, наметили главное направление деятельности на год. Большинство высказалось за создание баскетбольной команды. Нужно было купить майки. Проведя множество собраний, наконец постановили заработать деньги продажей арахиса в сахаре (его производством занимался один из родителей). Каждой из нас было поручено распродать как можно быстрее десятка три упаковок. Вечером телефон звонил не умолкая: каждая интересовалась, как идут дела у остальных...

Не разделяя этику деятельности как самоцели, я считала куда более важным углубить наше понимание иудаизма. При всем многообразии путей Господних, дорога к иудаизму через баскетбол и арахис вместе взятые казалась мне слишком уж длинной. Я выбыла из клуба, оставив заодно всякую надежду влиться в общество атлантских евреев. Мои ссылки на занятость уроками остались, впрочем, непонятыми: в американской системе ценностей этот аргумент не имел смысла. Две мамы старались меня убедить, что будущей баскетбольной команде без меня не обойтись, но это была лишь попытка дать мне шанс спастись от социальной смерти. Я не сдалась.

В то же время у меня были знакомые среди взрослых евреев, с которыми общались мои родители. Отец случайно познакомился с одним попутчиком в самолете — он оказался врачом из Центра инфекционных заболеваний. Мы поселились с ним по соседству, купив дом со смежным садом. Джеймс Либерман и его жена Люсиль были родом из Нью-Йорка, их родители успели прочно укорениться в Америке. Отец Джима много лет преподавал английскую литературу, стал директором крупного лицея. Он писал стихи, и некоторые из них даже были опубликованы. В этой семье, вошедшей таким образом в мир англо-американской культуры, Шекспир уживался с Талмудом.

Джиму удалось избежать остракизма, которому подвергались после войны евреи, желавшие посвятить себя медицине: он избрал полувоенную карьеру, поступив в службу береговой охраны. Армия финансировала его обучение, после чего он был командирован в Атланту для ведения научно-исследовательской работы. Это был образованный чиновник, далекий от сферы бизнеса. Его жена Лу также училась в свое время, однако теперь занималась только воспитанием девочки, которую они удочерили. Представляя истеблишмент медицинской науки и одновременно

принадлежа к кругу военных, Либерманы являли довольно редкий по тем временам пример еврейской семьи, вступающей в общество WASP.

Во всяком случае, убранство их дома вполне соответствовало вкусам этой элиты. Рядом с мебелью из красного дерева располагались канапе и глубокие кресла, обтянутые кретоном. На светло-желтых стенах висели картины с изображением сцен охоты. На фоне темных лакированных шкафов, где хранилась коллекция оловянных отливок, цветными пятнами выделялись томики классической литературы.

Как было принято среди представителей элиты, Либерманы выписывали “Нью-Йоркер” и “Тайм”, однако они держались либеральных взглядов и даже сочувствовали требованию гражданских прав для негров. Они вполне освоились с этикетом светского общества Юга, не став его пленниками. К концу нашего пребывания в Джорджии Лу по совету моей матери записалась в Университет для черных, чтобы получить специальность библиотекаря и затем поступить на работу.

Одеваясь по моде WASP, Либерманы с неподдельной элегантностью носили китайский шелк и мадрас, английскую обувь, но это не мешало им оставаться евреями. У себя дома они соблюдали все предписания относительно кошерности, чтобы ничем не смущать родителей, наезжавших к ним в гости. Они активно участвовали в жизни синагоги, куда мы записались по их инициативе. Если не считать двух-трех выездов в год на ближайшую военную базу, общались они только с евреями.

Знакомство с нами открывало для них новые горизонты, однако вносило в их жизнь элемент беспокойства. Напитанные англо-американской культурой, бывавшие в Англии, они плохо знали континентальную Европу. Во Франции и Италии эти англофилы усматривали признаки чего-то нездорового. Потомки эмигрантов из России, они помнили о погромах и презирали Европу, которая не сумела противостоять гитлеровскому антисемитизму, а после освобождения американцами, казалось, постепенно забывала о чувстве благодарности.

В глубине души Джим и Лу не могли понять, почему моя мать сохраняет приверженность итальянским корням и не хочет воспитать меня, как настоящую американку. Они были горды судьбой, дарованной им дедами, тогда как Старый Свет, по их мнению, дошел до полной опустошенности. Наши упования

на Европу они расценивали как симптом нездоровой ностальгии. Лу настаивала на том, что я должна проявить большую активность и признательность по отношению к Америке. “Все мы, иммигранты, гордимся нашей страной”, – повторяла она. Видимо, она была права. Я, конечно, дурно справлялась с интеграцией в американское общество, и мое вялое отношение к “американской мечте” должно было глубоко уязвлять ее.

Совсем непохожими на Либерманов были их друзья, ставшие и нашими знакомыми, – чета Раузин. Они принадлежали совсем иной культуре, всецело проникнутой духом потребительства и воплощавшей прямую противоположность сдержанному стилю WASP. Потомки провинциальных джорджийских коммерсантов, они сделали состояние на торговле спиртным и владели магазинами, по большей части расположенными в черных кварталах. Меня возмущало то, что они торгуют своим товаром в недрах негритянского мира, от которого стараются держаться подальше. Раузины разделяли отношение большинства белых к неграм, считая их людьми “второго сорта”, лодырями, не заслуживающими равноправия... В жизни этой семьи не было для меня ничего привлекательного, и посещала я их только из сострадания: их девочка, ученица Вестминстера, была прикована к постели тяжелой формой сколиоза и училась с помощью системы “интерком”, по тем временам весьма изощренной. Мама хотела, чтобы я ей помогала заниматься и общалась с ней, поэтому мы часто заходили к Раузинам по выходным, и я проводила какое-то время с Мерилин.

Они были в восторге от знакомства с “Europeans”*. На самом деле Европа представлялась им большим базаром, где царит изобилие платков “Гермес”, рубашек “Лакост”, флорентийских туфель и перчаток, английского твида... Готовясь совершить экскурсию в этот рай жизни, они нас “использовали” как живой путеводитель. Полагаясь на нашу информированность, они выясняли, где находятся лучшие магазины одежды, какие оригинальные безделушки стоит приобрести и какие достопримечательности необходимо повидать, имея минимум времени. Однако они никогда не интересовались, как мы “там” жили. Им и в голову не приходило, что в Европе все еще могут жить евреи, а все остальные годились

* Европейцы (англ.).

лишь на роль статистов в экзотическом спектакле для скучающих американцев. Для них центр мира находился в Соединенных Штатах.

Так мы и парили между небом и землей, не найдя твердой опоры в еврейском обществе Атланты. Если бы мы были верующими, молитва и чтение Торы стали бы нашим путем к интеграции. Все прочее отступило бы на второй план. Мы же совершенно безуспешно пытались опереться на интерес к культуре. Мама и я воспринимали свою жизнь в Америке как случайность. Напротив, для американских евреев, а в какой-то мере и для моего отца, Америка была воплощением самой жизни, спокойствия, защищенности. Их вынудила на эмиграцию жизненная необходимость, кошмар, порожденный Европой, тогда как наше пребывание в Америке объяснялось лишь стечением обстоятельств. Общение походило на диалог глухих: каждый дорожил своей правдой, которую другой в глубине души принять не мог. То же касалось и отношений с израильтянами.

Генеральный консул Израиля в южных штатах жил на нашей улице. Его дочь Эдна, моя ровесница, посещала районную школу, где она освоилась гораздо лучше, чем я в Вестминстере, но тоже держалась несколько особняком. Ее отец, а также, если не ошибаюсь, и мать приехали в Палестину из Польши еще до войны. Эдна очень гордилась тем, что она “сабра”*, и смотрела на маленьких американок с превосходством израильтянки. Пошлость “Америки потребления” была нам обоим одинаково чужда. Что касается ее родителей – конечно же, убежденных сионистов, – они презирали американских евреев за “филистерство” и забвение истории. В насилии, которым сопровождалась борьба черных, они видели доказательство того, что Соединенные Штаты, с их этническими конфликтами, не могут надежно обеспечить безопасность евреев. Израиль – единственная страна, где это возможно.

Они встречали мои попытки заговорить о Европе ледяным молчанием. Для них Европа уже не существовала, а мои постоянные упоминания о ней казались вздором, плодом психологической аберрации. В отличие от американцев, находивших некий шарм в Старом Свете, они не видели в Европе ничего привлекательного. В их представлении это был всего лишь

* “Сабра” – коренной житель Израиля.

грандиозный музей ужасов: зная о его существовании, но никто не рискнет добровольно его посетить. Меня не особенно задевало такое пренебрежение – покинутые ими Польша и Германия далеки от “моей” Европе, и я не сомневалась: они смотрели бы на нее иначе, если бы были уроженцами “цивилизованного” Запада.

Со своей стороны, я оставалась равнодушной к их сионистским рассуждениям. В моей душе, поглощенной конфликтом между Америкой и Европой, не оставалось места для Израиля. А кроме того, я, видимо, уже хорошо усвоила полученный от американской демократии урок плюрализма, мне были близки идеалы Мартина Лютера Кинга. В своей знаменитой речи “О чем я мечтаю”, произнесенной с трибуны Мемориала Линкольна, он нарисовал образ Америки, где будут плодотворно сосуществовать все расы и культуры. По сравнению с его мечтой в моих глазах меркла идея земли отцов, населенной только евреями, – безопасной, но монолитно-замкнутой страны. Не приемля любой национализм и отдавая предпочтение взаимно обогащающему все стороны плюрализму, я выбирала нечто противоположное историческому опыту Европы, тому идеалу, последним воплощением которого стал Израиль.

И тем не менее объявить себя “американкой” в те годы я не могла. Все во мне свидетельствовало о принадлежности к Европе. Моя идентичность была выстроена как бы на подороге между мечтой и реальностью; последнюю я могла видеть во время коротких поездок в Италию. Эта идентичность придавала мне нравственные силы противостоять глубокому одиночеству. Ее укрепляло мое ежедневное соприкосновение с Америкой – мне нравилось принадлежать к крошечному меньшинству, которое самим фактом своего существования вносило сбой в программу колоссального компьютера американской культуры, отводившей евреям и итальянцам непроницаемые отсеки.

Пытаясь определить сегодня, в чем заключалась суть этой идентичности (в те времена в Америке никто еще не слышал о работах Примо Леви), я осознаю все ее противоречивость. Выше всего, весомее всего была для меня история: евреи жили на земле Италии, когда самой Италии как таковой еще не было; они несли память и о Римской империи, и о разрушении Храма, и о сопротивлении Масады. Я добавила бы к этому

значимость старых камней и старых кладбищ, синагог, слышавших молитвы многих поколений и не похожих на американские храмы из стекла с кондиционированным воздухом.

С самоощущением итальянской еврейки для меня связаны были определенные черты образа жизни: это означало принадлежать к буржуазной среде, быть рафинированными и учтивыми, участвовать в истории страны, не забывая и о своем тысячелетнем историческом опыте. Мне нравились сдержанность в проявлении веры (своего рода “understatement”*), ощущение прочного места в культуре, обеспеченного длинным списком великих имен тех, кто был “из наших”. Мне нравился и симбиоз двух миров – христианского и еврейского, плод длительного сосуществования. Моим друзьям из американских евреев была неведома эта атмосфера взаимопроникновения традиций, когда испытываешь волнение, входя в собор или заслышав хорошо знакомый колокольный звон во время вечерней прогулки; когда приходишь “по-соседски” на полуночную мессу, не боясь оказаться в плену чужой культуры. Для них церковь была всего лишь культовым зданием, историко-культурным памятником; они могли оценить ее художественные достоинства, воспринимая ее отстраненно и в сущности вполне равнодушно. Я же смотрела на нее другими глазами – церковь была одним из сокровищ моего внутреннего мира, в ней, как в зеркале, отражалась частичка моей души, моего “я”.

Однако для того, чтобы утвердиться в этой идентичности, надо было рисовать в воображении теннисные корты Финци-Контини и забыть о депортации, помнить о спасенных еврейских семьях и забыть о множестве ничтожных “дуче”, восхищаться просвещенными вольнодумцами и забыть об инквизиции, вспоминать обаятельных священников и забыть о кардиналах, думать о терпимости гуманистов и забыть о средневековом фанатизме, – словом, иным камням поклониться, а прочие обойти стороной. Нужно было представить себе, что Фра Анджелико экуменист, что Данте проникнут духом универсализма, что Лоренцо Медичи – образец толерантности, что Гольдони мог бы написать “Перекресток” в гетто, нужно было увидеть в Алессандро Мандзони светского писателя и, наконец, в Кавуре – плюралиста. Задача не из легких, но тысячи итальян-

* Умолчание (англ.).

янских евреев, казалось, справились с ней и в награду получили возможность приобщиться к наследию одной из прекраснейших цивилизаций мира. По сравнению с таким богатством мирок американских евреев, с баскетбольными майками, арахисом и “клубным” духом, просто не мог восприниматься мною всерьез.

И все же... Я не признавала юношеских объединений, но росла под сенью мощных и влиятельных организаций американских евреев. Сама того не замечая, я жила и развивалась в гарантированном ими пространстве свободы. Постепенно я привыкла не ходить в школу в дни больших религиозных праздников. Я во всеуслышание заявляла о своих правах еврейки, уверенная в том, что общество их уважает. В Америке, лишенной многовековой истории, мне не пришлось сталкиваться со страшным гнетом скрытого антисемитизма по-европейски. Возводя в культ мое итальянское иудейство, я лишь созерцала со стороны его идеализированный образ.

Только в маленьком франко-средиземноморском кружке бывших европейцев чувствовали мы себя достаточно естественно. Здесь встречались евреи, оторванные от родных мест войной, авантюристы, женщины, которых назвали бы в старину дамами полусвета, двое или трое художников, кучка ученых и бизнесменов, а также все те, кто состоял в браке с американцем или американкой, но стремился спасти некую часть собственного “я”, оказавшуюся подавленной в этой их новой жизни.

Особое тепло и юмор отличали наш сплоченный кружок и от элитарного общества WASP, и от подобного ему общества атлантических евреев, с присущей равно и тому, и другому серьезностью. Наблюдая за европейцами с позиций одинокого подростка, я видела, как легко переступают они грань между официальным и неформальным общением, не прибегая к помощи “напитков”, необходимых американцам для создания непринужденной обстановки на вечеринке. В нашей компании обсуждались всевозможные темы: мода, книги, политика, сплетни, карикатуры. Сравнивали Европу и Америку и, конечно, делились впечатлениями от поездок на родину. Нас объединяла прежде всего ностальгия по городам старого континента — по атмосфере городского общения, по торговым улочкам, где все

дышит историей, по уютным ресторанам и кафе. В противоположность Европе, Америка – с ее “торговыми центрами”, непреодолимыми расстояниями, поверхностной любезностью и чуждым изящества функционализмом – казалась страной без истории. Все в один голос сетовали на то, что дружелюбие американцев неискренне, что их приветливость – чисто внешняя. Все вспоминали европейскую “человечность”, никак, впрочем, ее не определяя.

Не последнюю роль в этих встречах играла кухня. Пока в Америке с появлением “Кюизинар” не развернулся “великий бизнес” французской кухни, здешняя еда – как правило, слишком пресная и безвкусная – не ублажала ни чрево, ни душу. Традиционные “южные” блюда – жареный цыпленок, жареная картошка, ореховый пирог – чередовались с ростбифами, излюбленным кушаньем белой элиты. Некоторое разнообразие вносил в это меню китайский ресторан. Изысканные “французские” рестораны с угодливыми метрдотелями и парадом официантов были донельзя претенциозны. Зато на собраниях во французском и итальянском клубах истинные кулинарные таланты наконец-то утоляли нашу ностальгию по хорошей кухне: макароны “al dente”*, приправленные овощи, мясо под соусом, сложные овощные и фруктовые салаты – все эти блюда следовали одно за другим торжественной, веселой чередой, и никакая “French dressing”** не портила нам аппетит. Трапеза превращалась в подобие праздника в какой-то воображаемой греко-франко-итальянской деревушке. Ни один американец не нарушал своим появлением атмосферу этих вечеров – никто не выведывал наших “рецептов”, не выпытывал математически-точные соотношения ингредиентов.

В нашей “малой Европе” евреи и католики были ближе друг к другу, чем к своим американским единоверцам: общее прошлое объединяло теснее, чем вера. Вторая мировая война сблизила людей, переживших ее каждый по-своему и даже по разные стороны фронта. Здесь они оказались рядом: Анна Марли – автор “Песни партизан” на слова Джозефа Кесселя, которую она сочинила, находясь в Англии, при генерале де Голле; Атос Менабони – итальянский художник, ученик Маринетти,

* Сваренные не до полной готовности (итал.).

** “Приправа по-французски” (англ.).

попавший в Атланту во время войны в качестве военнопленного; чета евреев из Греции – муж и жена, пережившая лагерь Берген-Бельзен; польский еврей, уцелевший после Освенцима и считавший своей второй родиной Италию; миниатюрная еврейская женщина из Венгрии – она стала женой великана из Северной Каролины, вздумавшего однажды подышать “европейским воздухом”. В Атланте не ощущалась тяжесть утрат. Памятники погибшим остались где-то далеко, не жили по соседству семьи, осиротевшие после Катастрофы, не видно было военных баз. Существовала лишь горстка одиноких людей с изломанной судьбой, укrywшихся в анонимности американской жизни. Порой они закрывали лицо руками, вспомнив на миг пережитый когда-то кошмар.

Эти “европейцы”, выходцы из космополитичной буржуазной среды, хранили разные вещи, реликвии их заокеанского прошлого: коробки с пожелтевшими письмами, написанными перьевой ручкой, портретики мирной поры детства – наброски какого-нибудь забытого художника, рояль “Бехштейн”, кое-какие драгоценности – столь ослепительные, что американцы принимали их за фальшивые; редкие книги, напоминавшие о культурных традициях семьи, серебряные шкатулки, фотографии в рамках. Все их безделушки, талисманы не приметного отличия, тайные знаки иного мира “говорили” нечто лишь посвященным. Узнать их мог только тот, кто когда-то уже был с ними знаком.

А рядом с образом старушки-Европы, так много пережившей, обрисовывалась новая, современная, устремленная вперед Европа молодых. Она была мне бесконечно ближе. Новая Европа была источником объектов дизайнера – ярких вазочек Мурано, плакатов Маттье, блестящих “альфа-ромео”, изящных кофеварок “эспрессо”, пишущих машинок “Оливетти”, миланских ламп в стиле хай-тек, ручек “Монблан”, безукоризненно сшитых кожаных ранцев, легчайших мокасин, одежды из кашемира и шерсти. В эпоху взаимонепроницаемости национальных рынков подобные вещи свидетельствовали о том, что их владелец побывал “по ту сторону” Атлантики. Но, кроме того, они доказывали, что Европа не погибла: она была жива и полна динамизма, сочетала классику и современность, опровергая предрассудки американцев.

Карманные книжечки с последними романами Франсуазы Саган или Алена Роб-Грийе, венчавшие стеллажи европейцев

Атланты, казались огнями маяка в ночи. Желтая коллекция классиков в издании “Гарнье” выступала в роли верного стража традиций. Сочетание классики и современности дарило нам настоящий праздник, когда на ежегодные гастроли приезжал театр “Комеди Франсэз”, демонстрируя роскошь костюмов, достойную эпохи Мальро. Наши европейцы наслаждались, вдыхая свежий воздух истинной культуры, и нередко, выходя на улицу после спектакля, зрители декламировали ожившие в памяти стихи, знакомые со школьных лет. Легко было почувствовать себя настоящим европейцем в такую минуту, когда на лестнице у дверей какой-то школьной аудитории, предоставленной театру, слышалась французская речь. Внезапно появлялись актеры, еще не расставшиеся окончательно с Гарпагоном и Селименой, держа в руках шляпы со страусиными перьями. Помахав на прощанье последним восхищенным зрителям, они садились в автобус, и их поглощала американская ночь.

В других случаях положение европейца оказывалось не столь приятным. Иногда мы ощущали неоднозначное или даже прямо враждебное отношение американцев к старому континенту. Спасители Европы, они смотрели на нее снисходительно, словно на протекторат. Технологический прогресс в Европе внушал определенное недоверие, и они не жаждали излишних инициатив со стороны Европы политической.

В силу весьма неприятного стечения обстоятельств, мы приехали в Атланту как раз после катастрофы, которую потерпел в аэропорту Орли “Боинг”, принадлежавший компании “Эр Франс”. Все пассажиры разбились. Все они принадлежали к атлантской элите. Тогда осиротели многие из учеников Вестминстера. Не смея признаться, что мой отец работает в “Эр Франс” (компанию прозвали в Атланте “Эр Шанс”), я прислушивалась к разговорам вокруг Французских летчиков обвиняли в непрофессионализме, объясняя это тем, что Франция — слаборазвитая страна. На нее смотрели примерно так же, как смотрят сегодня на некоторые африканские страны. Однако позже, когда разбились еще два “Боинга”, принадлежавшие другим компаниям, выяснилось, что все три самолета, сошедшие с одного конвейера, в действительности имели один и тот же производственный дефект. Причина катастрофы крылась в американском “Боинге”, а французские пилоты стали ее ни в чем не повинными жертвами. Но несмотря

на это, общее мнение не изменилось: по-прежнему вину возлагали на Францию.

Враждебное отношение американцев к генералу де Голлю проявлялось задолго до 1966 года, когда Франция вышла из военного блока НАТО, задолго до того, как выяснились ее позиции в “шестидневной войне”. Не только выбранная де Голлем линия поведения, но и его независимый ум, его тон, его националистические высказывания, отказ от Pax Americana — все это вызывало раздражение американцев... Нам было ясно, что, требуя свободы для себя, они не соглашаются предоставить такое же право другим. И я, вслед за моими родителями, стала страстной сторонницей де Голля: он символизировал для нас неподдающуюся Европу...

А между тем, в отличие от Европы, казавшейся в те времена относительно безопасным оазисом, Соединенные Штаты уже были охвачены волной насилия, слепых, беспричинных преступлений, направленных против случайной жертвы. Основательные железные решетки на окнах предохраняли дом от воров, но куда страшнее было оказаться жертвой какого-нибудь ненормального, агрессивного маргинала. Наркотики тогда еще были редкостью — эти люди нападали просто из желания свести какие-то свои сокровенные счета с человечеством в целом...

Как-то среди бела дня, выйдя из школьного автобуса, я увидела прямо перед собой машину, за рулем в ней сидел мужчина лет пятидесяти. Он медленно поехал за мной, бормоча что-то невразумительное, а я бросилась бежать. Я уже воображала, как он схватит меня в двух шагах от супермаркета, а покупатель, которым нет дела ни до меня, ни до всего остального, даже не смогут услышать мой крик о помощи. Дома меня никто не ждал, соседи, судя по всему, тоже отсутствовали. Я почувствовала, что одна на всем свете. Внезапно показавшаяся машина спугнула моего преследователя, и он повернул за угол. Запыхавшись, дрожа, я вбежала в дом. Я проклинала Америку, где не было ни киосков, ни баров, ни булочных — там-то всегда можно найти защиту, оказавшись среди соседей по кварталу. Европа обладала и этим преимуществом.

Мои отроческие годы в Атланте совпали с важным в политическом отношении периодом для США. Начиная с кубинского

кризиса 1962 года и до окончания войны во Вьетнаме в 1975 году, Америка пережила целую гамму политических эмоций: тревога, надежда, возмущение, ужас, трагизм сменялись в каком-то inferнальном ритме. Невозможно было хладнокровно следить за веренищем событий, которые воспроизводил телеэкран ровно в восемнадцать тридцать: новости – ежевечерний информационный ритуал – приурочены были к семейному ужину..

Мое политическое воспитание, однако, осуществлялось постепенно. Мы едва успели въехать в наш атлантический дом, как разразился кубинский кризис: настала критическая неделя, когда Америка, имея в руках сделанные со спутника фотографии советских баз, предъявила Хрущеву ультиматум. Мы только начали обзаводиться хозяйством, и потому в час телевизионных новостей всегда оказывались в отделе бытовых приборов универмага. Атмосфера была крайне напряженной. Как только в самом начале программы появлялась новая информация о кризисе, продавцы и покупатели из отделов стиральных машин, утюгов и пылесосов бросались к стенду с телевизорами. Здесь, на сотне цветных экранов, перед нами выступали с оценкой ситуации представитель президента Кеннеди Пьер Сэлинджер или один из генералов Пентагона. Они говорили торжественным тоном, смотрели прямо в глаза зрителям, и этот решительный взгляд выражал готовность страны, если потребуется, вступить в войну. Публика слушала молча, сознавая ответственность момента. Все считали необходимым во что бы то ни стало поставить на место Советский Союз...

Прежде мне казалась справедливой борьба Кастро против Батисты, однако я не могла не осуждать коммунистический выбор кубинского лидера. От моих родственников мне уже были известны примеры политической лжи в Венгрии, и потому я стала недоверчивой. Сооружение Берлинской стены меня потрясло: как могут политические руководители отнимать у своего народа свободу? В американской прессе публиковалась масса историй, от которых по спине бегали мурашки: описывались разлученные семьи, расстрел за попытку перебраться через Стену, разрезанный пополам город, наглухо замурованные станции метро. Я оценивала эти события как покушение на достоинство Европы. Во мне соединялось американское понимание абсолютной свободы личности и “европейское” – с позиций культуры – неприятие разделения, принесенного холодной войной.

С обеих точек зрения я считала виновным Советский Союз и поддерживала Кеннеди в его противостоянии Кубе.

Между тем, реакция американцев на кубинский кризис вызвала у меня самый большой скептицизм. Мне казались просто смешными их приготовления к возможной третьей мировой войне. Всю неделю и в нашем квартале, и в школе только и разговоров было, что о подземных убежищах с кондиционерами, якобы герметических, предназначенных для защиты жителей от радиации. Раузины затеяли строительство такого убежища у себя в саду.. Вестминстер находился в состоянии боевой готовности. Нас провели по длинным коридорам подвала – будущего убежища. Здесь стояли огромные резервуары с питьевой водой, хранились противогазы. В отличие от моих товарищей, которые выслушивали объяснения, озираясь вокруг с библейским ужасом на лицах, я едва сдерживала усмешку, видя все эти декорации. Я вовсе не была уверена в том, что хочу выжить в случае атомной войны. Что мы станем делать, выбравшись в конце концов из этой норы? Передо мной вставали образы жертв Хиросимы – не хотела бы я умирать такой вот медленной смертью. И еще я думала, что моя мама вряд ли спасется: ведь Университет для черных не имеет средств на противоатомное оборудование...

Кризис миновал, но покупательский спрос на убежища еще некоторое время не спадал. В течение моего пребывания в Вестминстере в школьных подвалах хранились запасы воды. Однако Америка мало-помалу вернулась к своему привычному “потреблению”.

Следующий удар поистине потряс всю страну. Убийство Кеннеди перевернуло политическую жизнь, разрушило образ спокойной Америки, уверенно выступающей в роли опоры всего мира: началось десятилетие насилия и бурь, к исходу которого Америка утратила свою невинность. К моменту убийства президента мне исполнилось четырнадцать лет: я прожила половину жизни в Соединенных Штатах и почувствовала, что настал конец некой эпохи.

Мы узнали о покушении в тринадцать пятнадцать. Директриса Вестминстера объявила по селектору, что президент тяжело ранен, и за него надо молиться. Спустя короткое время, будто взрыв бомбы, прогремела весть о его кончине. Кто-то из учениц в отчаянии зарыдал, другие, еще не веря, стояли как

вкопанные, в полном молчании. Все подозревали иностранный заговор, как будто невозможно было и мысли допустить, что американец способен на такое преступление. Большинство учениц – даже те, чьи родители голосовали за Никсона и осуждали реформы Кеннеди, – переживали его убийство как национальную трагедию. Был объявлен траур, школу закрыли, нас отправили по домам. В автобусе все молчали. Шофер-негр, обычно такой веселый, бормотал: “Убили... его убили”, – словно повторяя без конца скорбный возглас Страстной пятницы.

Дома уже была мама, вернувшаяся с работы. Мы обнялись, совсем как героини фильмов о войне. Казалось, все это какой-то кошмарный сон. Мама рассказала, что в Морхаусе и в черных кварталах убийство президента воспринимается как катастрофа. Люди оплакивали не только погибшего Кеннеди – они были почти убеждены, что и сами погибнут, что при новом президенте, южанине Линдоне Джонсоне их дело будет обречено на неудачу. Охваченные тревогой и отчаянием, черные ожидали вспышки насилия белых реакционеров, которые отныне получают надежную поддержку. Президент убит в расцвете молодости: у Америки отнят символ ее обновления, и теперь ее ждет мрак реакции.

Отец вернулся домой с тревожными новостями. В центре города расисты-реакционеры, эти ничтожества, устроили шумное празднество с фейерверком, ликую по поводу гибели Кеннеди. Как и негры, они были уверены, что движению за гражданские права черных настал конец. Они плясали на улицах, предвкушая неминуемый возврат добрых старых времен и “власти белых”. Казалось, на Юге, охваченном конвульсиями, можно ожидать чего угодно.

Как и все американцы, мы прожили три дня, не отходя от телевизора, как будто одни только тележурналисты могли утешить нас в глубочайшем горе. Пока тянулся этот нескончаемый уик-энд, мы ели кое-как, не глядя на часы, а нагромождение ужасов продолжалось. Джек Руби в упор застрелил Ли Харви Освальда. Политический кошмар сменился романом “черной серии”. И хотя Линдон Джонсон взял на себя управление страной, американцы чувствовали себя осиротевшими и незащищенными перед сетью какого-то заговора.

Настал большой праздник – День Благодарения. Несмотря ни на что, вся Америка села за стол с традиционной индей-

кой — может быть, желая воздать благодарность Богу за то, что страна все же уцелела. Но лишь похороны Кеннеди, в высшей степени достойные, разрядили удушливое напряжение тех дней. Великие мира сего, в первую очередь де Голль, торжественно отдали почести харизматической личности, чьи недостатки и ошибки откроются много позже...

Убийство Кеннеди так глубоко взволновало меня, словно я стала настоящей американкой. По случайности, я имела возможность понять, сколь отличалась от нашей реакция европейцев на это событие. Накануне трагедии один преподаватель французской литературы из Сорбонны, который был проездом в Атланте, читал лекцию в Морхаусе, и мама обещала отвести его в хорошие магазины, где можно купить пластинки с джазовой музыкой, а заодно показать ему город. Дражайший профессор явился точно в назначенный час, полностью игнорируя бурю, разразившуюся вокруг. Он в двух словах прокомментировал смерть Кеннеди и настоял на том, чтобы мы отправились с ним по магазинам. К его негодованию, почти все они были закрыты по случаю траура. Почва уходила у нас из-под ног, черные погрузились в глубокую скорбь, да и все достойные люди не могли прийти в себя от потрясения, а заезжее светило никак не реагировало на случившееся. Потом я замечала у многих европейцев ту же холодную отстраненность, то же высокомерное безразличие по отношению к “Закону о гражданских правах”, убийству Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, Уотергейтскому скандалу.

Джонсон принял бразды правления в критический момент истории США. К его чести и к удивлению тех, кто его знал, он поддержал движение черных, проявив в этом еще большую активность, чем Кеннеди. Когда он подписал “Закон о гражданских правах”, быстро принятый Конгрессом, где все еще переживали убийство Кеннеди, — мы вздохнули с облегчением. Прогресс не остановился. Наконец-то Америка могла гордиться собой.

На другой же день закон прошел испытание в городских ресторанах для белых: повсюду, в том числе и у Лестера Мэддокса, он соблюдался неукоснительно. Черные наконец сели за стол вместе с белыми и, благодаря этой общей трапезе, стали полноправными членами общества. Подавив ненависть, белые смирились. Протестантская традиция придавала власти закона некий высший, почти мистический смысл...

Я гордилась Америкой и тогда, когда Джонсон, победив на президентских выборах 1964 года, выступил по телевидению со своим планом “Великого общества”, согласно которому в двухсотмиллионной стране будут установлены справедливость и социальное равенство. Возможно, план был чересчур грандиозным, но в тот момент, когда война во Вьетнаме еще не подорвала моральное состояние общества, он был источником оптимизма и надежды и отвечал традициям и характеру американцев. Идея была понятна: при наличии доброй воли все достижимо, а поскольку предстоит сделать так много, надо поскорее взяться за работу, и война с бедностью будет выиграна. Призыв был услышан, молодые добровольцы не заставили себя ждать. Многие из них позже выступят с протестом против войны во Вьетнаме, принявшей самый банальный и жестокий характер.

В таком контексте трудно было оставаться в стороне от общего порыва. На сей раз просвещенное якобинство либералов и чисто американский идеал “общественного созидания” совпадали в едином устремлении к справедливости. Однако в Вестминстере нашлись и противники программы. Во время избирательной кампании некоторые из учеников демонстративно носили с собой бутылки с этикеткой “Au H₂O” — это было зашифрованное под видом химической формулы имя консервативного кандидата республиканцев Барри Голдуотера. Даже в синагоге шли политические дебаты, некоторые молодые люди критиковали “наступление федеральных властей” с позиций “свободного предпринимательства”. Я была шокирована, отказываясь понять, как может молодежь принимать сторону “неправды”, реакционных сил. Мне казалось несправедливым, что после утверждения “Закона о гражданских правах” Вестминстер не принимает черных, даже если они блестящие ученики. Впрочем, и в 1966 году, когда я уехала, Вестминстер оставался фактически школой для белых.

Что касается бизнеса, здесь я не разделяла американских представлений, находя погоню за барышом безнравственной. “Благородной”, с моей точки зрения, деятельностью занимались преподаватели, государственные служащие, работники социальной сферы, врачи, юристы. Отец — административный директор компании “Эр Франс” — относился, как я считала, к категории государственных служащих: он работал в национа-

лизированном предприятии и никакой прибыли не получал... Культ бизнеса, “свободного предпринимательства” вызывал мое презрение. В то же время он нашел законченное воплощение в телесериале о “дальнем Западе”, где бывший актер Голливуда Рональд Рейган, к вящей славе предпринимательства, рекламировал “Боракс” и “Дженерал Электрик”.

Благодаря телевидению, мы стали свидетелями подвигов последних великих путешественников – астронавтов. Мы наблюдали за их подготовкой, смотрели прямую трансляцию их первых полетов, которые всегда планировались – видимо, намеренно – на уик-энд. Текущая программа прерывалась, и мы уносились с ними вместе в космическое пространство...

Это смелое предприятие американцев, о котором Европа получала лишь отрывочную информацию, превратилось в подлинное национальное торжество. Хотя соревнование с Советским Союзом занимало умы американцев, будучи важным стимулом, для всех было чем-то само собой разумеющимся, что космос – это последний рубеж, венец национальной мечты. Диалог с небом означал для Америки диалог с самой собой. Пусть русские предпринимают свои вылазки в космос – все равно они там не у себя дома. К тому же их скафандры, капсулы их ракет казались какими-то допотопными самоделками, а их “крестьянские” приземления прямо на пашню не имели ничего общего с поэтичными размеренными приводнениями американских “гондол”.

Да и как можно сравнивать полеты американцев, транслируемые напрямую и доступные для всех домохозяек, с запусками советских ракет, о которых сообщалось нередко уже после приземления, так что народу ничего не оставалось, как пассивно аплодировать? Американские астронавты, чьи шуточки звучали в прямом эфире, – причем эти переговоры неизменно заканчивались ироничным “о’кей, Роджер”, – воспринимались всеми как прославленные, но близкие герои. Это были чьи-то сыновья, братья, мужья. Их работа явно была увлекательнее, чем какая-нибудь другая, но делали они свое дело так же компетентно, так же бодро и с тем же независимым видом, как любой американец – свое. Русские же космонавты, которых осыпали цветами, провозглашали героями отечества и носили на руках, будто икону, казались абстрактно-недоступными, готовыми памятниками – не хватало только постамента.

С того дня, как президент Кеннеди заявил о проекте полета человека на Луну, мы неуклонно, словно по часам, продвигались к этой цели. Каждый запуск “Аполлона”, сменившего “Джемини”, понемногу приближал нас к Луне. Мы восхищенно наблюдали первый выход астронавтов в открытый космос и ждали невероятного. Июльской ночью 1969 года цель оказалась достигнута, но было уже слишком поздно. Толпы черных, белых, индейцев заполнили Вашингтон, требуя сокращения расходов на освоение космоса. Пылали гетто, и Америка, раздираемая на части войной во Вьетнаме и конфликтом поколений, не откликнулась на подвиг Нейла Армстронга, белого американца, истинного представителя “среднего класса”, – не откликнулась так, как можно было предполагать в начале космической эпопеи...

Еще в 1964 году жена одного американского миссионера показывала нам в школе слайды, сделанные в Южном Вьетнаме. Миссии явно угрожала опасность, вокруг были свирепые, полные решимости вьетконговцы. Соотношение сил представлялось очевидным: с одной стороны, силы Господа, демократические и гуманные, с другой – силы жестоких диктаторов, коммунистов. Схема интервенции была уже готова. В ней отсутствовали только сами южные вьетнамцы, марионетки в руках противоборствующих лагерей.

Вскоре, еще до объявления президента Джонсона о начале войны в Тонкинском заливе, школьники стали распространять петицию о желательности усиления военного присутствия во Вьетнаме. Нам всем предложили ее подписать, и я до сих пор помню выстроившуюся тогда длинную очередь. Я сослалась на свой статус иностранки, чтобы не подписывать: у меня не было уверенности в необходимости американского присутствия во Вьетнаме. Эта политика вмешательства напоминала мне тактику Даллеса в Европе, вызывавшую отвращение у родителей. Советскому Союзу я тоже не верила, хотя не без симпатии относилась к национальным коммунистическим движениям. Не приемля свойственное американцам чувство превосходства в отношении к “другим”, я признавала за вьетконговцами право представлять национальную культуру и патриотические устремления, а главное – признавала их право быть “иными”. Подобно многим, я ошибалась. Но тогда, в 1965 году, я по крайней мере была удовлетворена тем, что не шла за стадом патриотов. Впрочем, потом его оттеснит другое стадо: нередко гигантскими

демонстрациями против войны во Вьетнаме будут руководить именно те, кто в начале поддерживал эту войну.

В июне 1966 года я уехала с родителями в Монреаль – место нового назначения отца. Мы думали, что уезжаем из Америки надолго, быть может, навсегда, и отец хотел, чтобы я приняла американское гражданство, пока еще это возможно и доступно. Так я попала в огромный зал Федерального суда Атланты в сопровождении родителей и моего учителя истории. Вместе с несколькими десятками других кандидатов я должна была принести присягу на верность новой родине. Мне только что исполнилось семнадцать, и, не будучи совершеннолетней, я имела право пройти упрощенную процедуру, не сдавая экзамена по Конституции США. Меня подвергли чрезвычайно унижительному испытанию: сняли отпечатки пальцев, заставили поклясться, что я никогда не была ни коммунисткой, ни проституткой. Мне предложили также воспользоваться возможностью сменить фамилию или имя, словно принятие американского гражданства было равнозначно второму рождению. Событие, игравшее столь важную роль в жизни миллионов переселенцев, воспринималось мною как бы со стороны и даже с долей иронии. Я не могла принять то, что лежало в основе американской идентичности: сознание бесконечного превосходства над другими, которое придавало этой гражданской церемонии характер своеобразного таинства – хлеб и вино иных земель претворялись в плоть и кровь земного мессии – Америки.

Это событие взволновало меня меньше, чем моего историка, дождавшегося наконец момента, когда его ученица тоже стала гражданкой Америки. Что чувствовали родители, не знаю: наверно, они были поглощены предотъездными хлопотами. По правде говоря, я сделалась американкой не столько из идейных побуждений, сколько по практическим соображениям. Через несколько дней с моим новеньким удостоверением в кармане я пересекла границу Канады в качестве иммигрантки. Канадской иммиграционной службе никогда не приходилось сталкиваться с подобным случаем. Опять я поступила наперекор истории.

Каникулы в Европе

Летом, когда французские и итальянские дети, отправляясь на каникулы, обычно не покидали пределов своей страны и отъезжали от дома не более чем на несколько сот километров, я летела из Америки в Европу. То был своего рода ежегодный ритуал. Оставляя Новый Свет, я возвращалась “домой”, однако понятие “дома” по-прежнему было для меня весьма расплывчатым. То было скорее смутное состояние души, нежели запечатленный в памяти конкретный образ.

Старый мир, частичкой которого я себя ощущала, представлял передо мной величественным архитектурным сооружением. Под Европой я всегда понимала континент, а не изолированную и, главное, тесно связанную со своим американским “потомством” Англию — конечно же, она не могла служить противовесом моей заатлантической жизни. Сейчас мне ясно, что слово “Европа” в детские годы соотносилось в моем представлении не только с некоей исторической и географической реальностью, не только с визитами к родным, но и с последовательным отрицанием некоторых аспектов американского быта. И в этом смысле европейский “дом” начинался для меня с салона самолета “Эр Франс” в нью-йоркском аэропорту, а три месяца спустя, на обратном пути, двери этого “дома” закрывались службой иммиграции США. Если в далеком прошлом иммигранты расценивали и созидали Америку как анти-Европу, то я, со своей стороны, запоздало видела в Европе анти-Америку. Она разворачивалась передо мной как воплощенное отрицание изолированной, антикультурной, материалистической и поверхностной жизни.

С 1957 по 1966 год, то есть на протяжении всего моего детства и отрочества, я каждое лето ездила в Европу. Прибывая

издалека, я ощущала Старый Свет изнутри. Каждое лето я испытывала целую гамму чувств и привозила их с собой, будто сокровище, чтобы наслаждаться ими долгими американскими зимами.

Своего рода символической инициацией, преамбулой к пребыванию в Европе стали для меня перемещения из Вашингтона или из Атланты в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Париж и, наконец, из Парижа в Милан. Нью-Йорк, куда мой отец прибыл в 1940 году, был как бы стартом – мы останавливались там, чтобы продлить наши итальянские паспорта и нанести визит паре старичков-евреев, благодаря которым отец некогда оказался в Америке.

Мы с мамой шагали по впечатляющим нью-йоркским авеню и добирались до итальянского консульства, где, лишь приоткрыв дверь, оказывались в самом сердце пыльной и бюрократизированной Италии. Сидя на старом деревянном стуле в холле бывшего богатого особняка конца века, швейцар, одетый в синюю блестящую униформу с золотыми пуговицами и галунами, выкрикивал слова с сильным сицилианским акцентом. Неопределенным жестом он направлял “итальянцев” продлевать паспорта на третий этаж. Тут мы оказывались в окружении кучки крестьян-иммигрантов. Говоря на совершенно неузнаваемом американизированном итальянском, эти славные люди все же сохраняли итальянское гражданство, видимо, для того, чтобы не лишиться права на получение пенсий по инвалидности, которые правительство христианских демократов щедро раздавало в деревнях. В благоговейном молчании поднимались они по парадной лестнице, минуя второй этаж, где располагались кабинеты “истинных” итальянцев, то есть изысканных и зачастую претенциозных буржуа, которые стремились отделить себя от иммигрантов-простолоудинов.

На третьем этаже нас принимал не отличавшийся любезностью чиновник, с ворчанием продлевавший наши паспорта и взимавший за эту процедуру достаточно круглую сумму. Типичный чванливый функционер из Европы, мановением волшебной палочки перенесенный в Манхэттен. Я смотрела на все это как сквозь стекло: то была не “моя” Италия, не “мои” итальянцы – и религия, и история нас полностью разобщали. Я отождествляла себя с “настоящими” итальянцами второго этажа,

неизменно сидевшими под репродукциями с фресок Микеланджело, а не с многострадальным Югом, не с кровью и пылью южной Италии. И все-таки не все было так просто... Паспорт ведь являлся нашим священным правом, а не благодеянием, так что подобное отношение выглядело недостойно.

Получив паспорта, мы с матерью шагали по нью-йоркским улицам. Единственными заведениями, где, на мой вкус, поддерживался дух истинной Европы, были французский книжный магазин в Рокфеллер-Центре и итальянский книжный магазин “Риццоли” (тогда он находился на 57-й улице). Кругом же, на просторах нью-йоркских авеню, не замечалось ни единой европейской лавки, ни одного побега парижской культуры. Здесь царил непримиримый изоляционизм в области одежды, тон задавала англосаксонская элегантность. Все национальные культуры, казалось, были раздроблены, и из осколков складывалась мозаика Нью-Йорка...

Переступая порог терминала компании “Эр Франс”, я уже в каком-то смысле приобщалась к Европе, оказывалась в обстановке покоя и утонченности. С высшими функционерами, дипломатами и немногочисленными бизнесменами здесь общались на французском языке. Мы пробирались среди элегантного, строго одетого и сдержанного персонала, столь контрастировавшего с прихрамывающими тучными нью-йоркскими полицейскими с их грубыми голосами. По происхождению чаще всего они были ирландцами или немцами и расшагивали по коридорам с пистолетом на поясе и прицепленными к ремню наручниками. Тут и впрямь находился перекресток двух миров.

О наших полетах у меня сохранились чрезвычайно живые воспоминания. Самолеты привлекали изяществом форм, просторностью и комфортабельностью. Своей черно-белой раскраской они явно отличались от серебристых турбовинтовых самолетов моего раннего детства. Очень скоро я стала различать модели воздушных судов. Экипаж самолетов “Эр Франс” придавал им изысканный аромат и утонченный стиль, одновременно вежливый и отстраненный. И совсем иначе смотрелись американские аэробусы, выкрашенные в кричащие тона, где безликие псевдодружелюбные стюардессы начинали вульгарно хохотать, услышав хохму какого-нибудь подвыпившего пассажира. Мне больше по душе была вежливость французских бортпроводниц, никогда не переходившая в панибратство.

Я столь сильно “жаждала” Европы, что буквально приходила в восторг при виде подносов с обедом, которым нас потчевали в самолете. Тут были настоящие, а не одноразовые приборы и тканевые, сложенные вчетверо салфетки. Уже над просторами Канады в наших тарелках оказывалась европейская еда: горячие золотистые хлебцы вместо резиновых ломтей мякиша, этой непрременной составляющей рациона американского провинциала; мясные блюда под соусом и с гарниром в виде овощного рагу вместо надоевших бифштексов с вареной картошкой; сырное ассорти, где царствовал, конечно же, камамбер, и нежнейшие пирожные. Собственно, я смаковала при этом не только вкусную пищу, но и гостеприимство и чувство меры. Ничего общего с Америкой и ее искусственными соусами, слоновыми порциями, фруктами и овощами идеальной, но пошлой расцветки и неэстетичными десертами.

В моем восхождении к Европе само расписание полета являло собой элемент ритуала. Мы вылетали из Нью-Йорка на закате утомительного дня. Во время взлета можно было наблюдать пригороды: бесконечный ряд полукруглых садиков, обсаженных одними и теми же породами деревьев, а под ними — одинаковые, ровно подстриженные лужайки. Дома тоже выстраивались по ранжиру, увенчанные одинаковыми трубами и телевизионными антеннами. Лишь бассейны и супермаркеты, отстоящие друг от друга на идеально выдержанную дистанцию, разряжали это бескрайнее пространство, пронизанное прямыми, как тетива, дорогами. Пейзаж совершенно бездушный, не считая гряды волшебных небоскребов на горизонте.

Гораздо более волнующим было наше прибытие в Европу. Самолет заходил на посадку в лучах утреннего солнца, возникшего столь властно, что в душе невольно пробуждалась надежда. Все казалось исполненным свежести и умиротворенности. Самолет опускался на просторы безмятежной природы, где деревенские колоколенки высились, как живые свидетели устоявшегося бытия. Мы пролетали над вытканым землепашцами гобеленом, над вековым лоскутным одеялом, сотворенным самим человеком. В самые последние минуты перед приземлением детали наблюдаемого мира особенно укрупнялись: можно было разглядеть пятна на пасущихся в поле коровах, автомобиль совершающего свой привычный маршрут почтальона, крестьянку с детьми, преследующих курицу во дворе фермы.

Припав к иллюминатору, я с замиранием сердца созерцала эти картины, под стать иллюстрациям из детских книжек. Вот я и в Европе! Иль-де-Франс был всего лишь волшебными воротами, через которые, наконец, я попадала в Европу, где нас встречали последние достижения цивилизации: отнюдь не американские аэровокзалы с их померкшим модернизмом, а новенький, с иголки, аэропорт Орли. Все здесь буквально сверкало, начиная со свежеразкрашенных взлетно-посадочных полос, грузовичков, теснившихся рядом с нашей кабиной, и автобуса, куда пересаживались пассажиры. Прибытия нашего самолета ожидала обычно небольшая толпа, стоявшая на просторной террасе. Крестьяне из близлежащих деревень и даже парижане приходили полюбоваться на достижения пока что недостижимого для них прогресса. Когда открывались двери, публика, никого конкретно не ожидавшая, приветствовала нас, махая белыми платками. Мы как бы принадлежали миру мечты.

Аэропорт Орли был не просто построен по последнему слову техники: его современный дух носил символический характер и воплощал собой Францию нового образца — эпохи генерала де Голля. Ни одну деталь тут не упустили из виду: не забыли ни о грузовых тележках для пассажиров и удобных оранжевых сиденьях в залах, ни об отделанных изящным ковровым покрытием магазинах, ни о широких транспортерах, по которым через несколько минут после посадки уже выкатывались пожитки пассажиров. А в подвальном этаже размещался первоклассный супермаркет.

Контраст по сравнению с американскими аэропортами, возникшими по мере потребностей безо всякой системы и заботы об эстетическом оформлении, был разительным. Там тележки бывали сосредоточены, как правило, у чернокожих носильщиков, а чтобы отыскать ресторан или простую лавочку, приходилось “пропахать” целые километры. В конце концов человек просто терялся в лабиринте коридоров. О потребителе никто не думал. Только самолет приземлялся, как пассажир попадал в нью-йоркские джунгли; и кому бы в Америке пришло в голову побывать в аэропорту с экскурсией? Там современный стиль уже утратил былую привлекательность и оставлял людей равнодушными, тогда как в Европе 60-х годов он имел бешеный успех.

Современность, которая обволакивала меня с первых минут пребывания в Орли, носила более зрелищный и одновременно

более соразмерный человеку характер. Привитое к дереву старого мира новое прижилось, симбиоз прошлого и будущего удался на славу. Казалось, он предвещает какую-то новую гармонию, которой не смогла достичь Америка и которую я постоянно ощущала за пределами Орли. Бесшумный ультрасовременный автобус доставлял нас по свежесфальтированному шоссе Дофин до Орлеанской заставы. От оживленного перекрестка у станции метро “Алезиа” мы сворачивали на авеню дю Мэн; конечным пунктом путешествия становилась площадь Инвалидов. Мы оказывались здесь ранним утром: можно было видеть, как первые покупатели заходят в магазины, женщины с плетеными корзинами под мышкой выбирают товар в полных разной снеди мясных рядах рынков, девочки в черных передниках с ранцами за спиной идут в школу, а гарсоны в кафе подают рогалики.

Вновь и вновь полные неизъяснимой прелести картины европейской жизни разворачивались перед моими глазами, все равно как живописное полотно, которое хочется разглядывать еще и еще раз, чтобы уловить малейшие детали. Казалось, время здесь остановилось; я приписывала всем этим будничным впечатлениям символический смысл. Ни семьи, ни дома в Париже у меня не было, и все же сам стиль здешней жизни, запахи, звучание голосов создавали у меня ощущение родного очага, так же как и идущие тротуарами пешеходы, витрины магазинов, шум моторов и запах солярки, распространяемый гарражами, лотки с фруктами и овощами, целебный аромат свежвыпеченного хлеба.

Конечно, стремясь привить мне основы культуры, родители водили меня в музеи, показывали памятники — весь этот туристический маршрут доставлял им не меньше удовольствия, чем мне. И все-таки более всего меня восхищали жанровые сцены: детский смех у песочных куч; крики газетчицы у входа в метро; понимающие взгляды, что бросали друг на друга гарсоны из кафе на углу и швейцар гостиницы; разговоры в бистро, клиенты, флиртующие с продавщицами, квалифицированные советы продавца в книжном магазине.

Америка напоминала немой фильм, Европа же, напротив, вызывала у меня ассоциации со стереофонической картиной, где звук к тому же усилен, чтобы полнее передать симфонию истинной жизни. Самая совершенная партитура разыгрывалась

в автобусах – вокруг старушек-кондукторш с толстой сумкой на ремне, которым непостижимым образом удавалось держать в голове тарифы зон и их количество. В шум и сумятицу вокруг билетов вплетались замечания пассажиров, тихие голоса мамаш и их детей, смех влюбленных, негодование пассажира, читавшего сложенную вдвое газету, которому помяли страницы. Автобус вез по парижским улицам французское общество в миниатюре, преображаясь при этом в светский салон; иное дело Нью-Йорк, где автобусы напоминали бидонвили на колесах.

Впрочем, во время летних каникул я наслаждалась не столько зрелищем самого Парижа, сколько теми общеевропейскими параметрами, которые ему были свойственны. Париж становился для меня прихожей европейской квартиры, королевскими воротами, открывавшими путь к заальпийским землям. Я не проводила границы между Францией и Италией, их специфика отступала на второй план, главным оказывалось противостояние Америке. Поэтому мои итальянские путешествия не имели ничего общего с теми паломничествами, что совершали сюда англичане, французы или немцы в поисках художественных ценностей, коими столь богата колыбель классического искусства. Я просто возвращалась к своим истокам, к своему языку, своей семье. Пассажиры самолета Париж–Милан читали как французский “Монд”, так и итальянскую “Коррьере делла сера”. Казалось, все европейские города находятся в часе лета друг от друга. Вид долины реки По и ее топей волновал меня меньше, чем картина Иль-де-Франса, так как я находилась уже на территории Европы. Теперь я думала только о предстоящей встрече с родными.

Милан уступал по красоте Парижу, и все же с каждым разом я находила его еще более прекрасным и таинственным в своем богатстве, а также более гостеприимным. Я уверенно пробиралась по улицам этого крупного капиталистического города северной Италии, несколько сурового и замкнутого и столь непохожего на залитую солнцем Италию туристических маршрутов. Маяк экономического чуда 60-х годов, Милан предстал передо мной как гармоничное целое, крепнущее, подобно мускулисту подростку. Я наслаждалась его историей и эклектизмом его архитектурного облика: старинными романскими храмами из

коричневого кирпича, с удивительно тонкими белыми колоннами; средневековыми зданиями под сенью крепости Сфорца-Висконти; криволинейными барочными дворцами, воплощавшими в себе просвещенное владычество Австро-Венгрии; строгими особняками, достойными XIX века в его лучшую пору; желтыми домишками рабочих кварталов с лестницами и коридорами снаружи, где жили гостеприимные простые люди. Предметами моего восхищения были и особняки в стиле модерн с изысканными фасадами, и огромный вокзал в “ассиро-миланском” стиле, предвестник фашистской архитектуры 30-х годов, и новейшие небоскребы на площади Республики, воплощение экономического процветания города.

Конечно, я не могла оставаться равнодушной к трем архитектурным символам Милана: знаменитому собору, Галерее и небоскребу Пирелли, однако не в силу их красоты – ее я скорее не ощущала, – но потому, что они выражали определенное состояние духа, обретенный очаг. В Париже меня привлекала бурная жизнь города, с его улицами и лавками. Милан же виделся мне средостением детских воспоминаний. С самого раннего детства Миланский собор служил фоном наших семейных прогулок. Почерневший от загрязненности воздуха, он возвышался в самом центре, подчиняя себе городское пространство. Под его сенью собирались обычно небольшие компании старичков в серых костюмах и шляпах, но без галстуков; они сравнивали между собой достижения футбольных команд – “Интер” и “АЧ”. Тут же стояли два карабинера при полном параде, поглядывавшие на них с интересом и в то же время отстраненно. Женщины никогда в эти дискуссии не вмешивались. Чуть подалее, у самого собора, располагался продавец лотерейных билетов, слепой старик в больших черных очках, трясший своим колокольчиком и пророчивший всем счастье. Собор ассоциировался в моем сознании и с большими голубыми коробками от кекса “панеттони”, на которых он был изображен; тетка присылала нам эти коробки в Джорджию. Каждую зиму вкус этого кекса с сухофруктами воссоздавал во мне воспоминания о прошлом лете. Традиционная миланская сласть стала для меня чем-то вроде пирожного “мадлен” из романа Марселя Пруста.

Рядом с собором тянулась Галерея, обширный крытый проход с позолоченным потолком и плитами розового мрамора разных оттенков. В ней находились кафе, рестораны и элегантные

лавочки, и в моем представлении она символизировала возврат к европейской социализованности. Именно здесь мать назначала встречи своим подругам. Помню легкую, быструю походку этих изысканно-элегантных дам, с неперменной парой белых перчаток в руках. Мы заходили в чайный салон Мотта, где нас ожидал впечатляющий выбор небольших пирожных и подсолненных бутербродов. Продавщицы носили черную форму и белый кружевной чепец. Товар они подавали при помощи больших серебряных лопаточек, в благоговейной тишине. Рядом с кассой теснились сласти из марципана, пироги с фруктами, самые разнообразные шоколадные пирожные, и все это было расставлено с отменным вкусом. Вообще же Галерея, насыщенная зрительными обманами, где каждый фасад был украшен не хуже, чем театральные интерьеры, казалась мне неким воплощением человеческой комедии.

Что касается высившегося среди зданий конца прошлого века небоскреба Пирелли, то он сочетал в себе современность с утонченностью. Когда строительство было закончено, строители подняли на небоскреб итальянский флаг и устроили настоящий праздник: не без основания они сочли себя первопроходцами обновления. Поджатый с боков, как бы выполненный по проекту какого-нибудь модельера, небоскреб всем своим видом выражал уверенность города в завтрашнем дне. Прилегающие к нему тротуары были покрыты слоем черного каучука, словно уведомляя прохожих, что они здесь вступают в мир будущего. Восхищению и гордости миланцев не было границ; небоскреб вселял в них те же чувства, что и прорытый под Монбланом туннель или “чисто миланский” голос Марии Каллас. А в двух шагах от современных отелей с кондиционерами, “макдональдсов” и супермаркетов все еще существовали патриархальные лавочки, писчебумажные магазины, пропахшие пылью и картоном, галантереи, где можно было купить мягкую кожу, и крохотные ателье.

Милан в моем представлении являлся прежде всего городом, где жили мои самые близкие родственники и где знавшие меня чуть ли не с рождения люди обращались со мной запросто. Тут я была племянницей, кузиной, подругой. Хотя многое зависело от того, к кому я иду: к тетушке со стороны отца, представляющей утвердившуюся еврейскую буржуазию, или к дяде со стороны матери, приехавшему из Египта в “процветающую”

Италию. То были два различных мира, не общавшиеся друг с другом и разместившиеся в разных концах города.

Сестра отца обосновалась в Милане в конце войны. Ее муж, сын видного раввина, страстный спортивный журналист, сделал себе состояние на изобретенной им футбольной лотерее. Жили они в роскошном доме начала 50-х годов, в самом центре города, в двух шагах от улицы Мандзони и театра Ла Скала. До войны в этом квартале находились большие виллы с садами, где жила промышленная буржуазия. В их квартире стояла старинная мебель, большое пианино, висели картины итальянских художников начала века. Интерьер вполне типичный для ассимилированной еврейской буржуазии, лишенной комплексов, — невзирая на геноцид во время войны, который стоил жизни брату моего дяди. Рядом с телефоном стояла сине-белая металлическая коробочка, куда складывали деньги в пользу Израиля. Здесь неукоснительно соблюдались все еврейские праздники. И все же семья жила на итальянский манер...

Совершенно иным был образ жизни в доме у брата моей матери. Прибыв из Египта без гроша в кармане, они с супругой устроились в новой квартире на окраине города. Если у тетушки по отцовской линии жизнь как бы застыла, окаменела в своей буржуазной незыблемости, то дядя, наоборот, старался поспевать за всеми новинками общества потребления. Каждое лето я отмечала, что старый автомобиль сменился новым, более вместительным, а в кухне стало еще больше всяких электронных штук. Жена дяди принадлежала к еврейской франкоговорящей семье из Египта; в Милан она прибыла с многочисленным выводком своих братьев и сестер. Они только и делали, что предавались ностальгическим воспоминаниям о египетском прошлом. Моя мать плохо переносила эти lamentации. И тем не менее в их семье царили сердечность и простота, коих так недоставало в натянутой обстановке тетушкиной семьи. По вечерам тут играли и шутили, а любимым блюдом были жареные овощи, острый чесночный соус и фаршированное мясо.

Именно в квартале дяди я особенно наслаждалась прелестью итальянских будней. С моей “изысканной” тетушкой я ходила по самым прекрасным миланским улицам — улице Спига и улице Монтенаполеоне; там располагались ее поставщики. В роскошных магазинах, где она покупала продукты, товар выдавали в строгом молчании. И напротив, близ дядиного дома была

куча магазинчиков, ломившихся от снеди и всяких лакомств; именно здесь и можно было уловить пульс уличной жизни. Немолодые женщины с цветными авоськами в руках рассуждали о возможностях трудоустройства детей после окончания школы. В основном они могли рассчитывать на небольшие предприятия, расположенные поблизости. Соседи обсуждали имущественные проблемы: поскольку холодильники теперь были во всех семьях, речь шла о телевизорах и стиральных машинах. Жизнь казалась простой и несложной штукой, хотя возникали порой и неизбежные “загвоздки”, обсуждавшиеся в кругу соседок. Возглавлял эти советы обычно бакалейщик. Я была в восторге от этой говорливой толпы, не имевшей ничего общего с безликостью американского супермаркета, и достаточно бесцеремонно слушала эти избранные страницы повседневной жизни. Присущее простому люду чувство фатализма и недоверие к государству сочетались с не слишком афишируемым оптимизмом, который в столкновении с повседневностью лишь закалялся.

В начале 60-х годов дядя приобрел дом в районе коттеджной застройки под Миланом, в Сеграте. Здесь, в Вилладжо Амброзиано, финансировавшемся близкими католической церкви банками, были призваны смешаться различные социальные слои. Все тут было новым, вплоть до церкви. Дома, скучившиеся вокруг центральной площади, где почта соседствовала с кафе, украшали небольшие барельефы с изображением папы Иоанна XXIII. В этой деревне все улицы носили имена цветов и деревьев. И когда я проходила вдоль многочисленных садов, мне казалось, что я очутилась в американском пригороде. Судьбе было угодно, чтобы мой дядя, словно специально созданный для воплощения в жизнь американской мечты, жил в Италии, а мы, рожденные жить в старушке-Европе, оказались в США. И все-таки здешние магазинчики несли на себе печать Италии. Построенные совсем недавно, они напоминали о вечном. Всюду висели календари с именами святых и изображениями Христа, а рядом — расписание матчей новоиспеченной футбольной команды, которую тренировал здешний молодой кюре, обожаемый всеми, включая моих кузенов. Традиционные продукты — макароны и овощи — соседствовали с новинками: коробками с крупой фирмы “Келлог”, кремом “Нутелла”, плитками шоколада, жевательной резинкой. В этих лавочках можно было

встретить всю деревню: жену инженера, здешнюю гранд-даму; бабушек, которые жили вместе с дочерьми и присматривали за внуками; домработниц и, наконец, Фаустину, заслуженную парикмахершу здешних мест, улыбчивую даму, муж которой, миланский мусорщик, пил горькую.

Фаустина играла в этом микрокосме роль госпожи Ролан. В ее парикмахерской, на синих пластмассовых стульях под большими фенами регулярно встречалась женская половина деревни. Каждая приносила с собой что-нибудь почитать, журнал “Эпока” (что-то вроде “Пари-Матч”) или последний фотороман. Но очень скоро от чтения переходили к разговорам: обсуждались проблемы детей, их школьные или спортивные успехи, подготовка к первому причастию, последние проповеди священника или последние же сплетни, подслушанные в мясной лавке. Подолгу обсуждали увиденное накануне по телевизору, матчи между разными городами, лучшие песни с фестивалей в Сан-Ремо, рекламные ролики. Тут не пахло ни классической культурой, ни традиционным укладом крестьянских или рабочих семей. Зато в деревне царили сердечность и толерантность, отражавшие стремление левоцентристского правительства к новой социально-политической открытости. Все это мне казалось предвестьем светлого будущего...

География моих итальянских путешествий включала в себя не только миланские улицы, но и горные дороги и пляжи. Рим и Неаполь, важнейшие центры сельскохозяйственной Италии, также непременно присутствовали в моих маршрутах.

Рим был родиной моей мамы, и те, кого я посещала, знали ее с пеленок. Почти все они родились в Египте, а затем учились в Италии. Женщины стали учительницами и преподавали литературу, латынь или греческий в лицах. Мужчины отличались большим честолюбием и либо преподавали в провинциальных университетах, либо избирали дипломатическую карьеру. К ним моя мать захаживала редко: ради карьеры им неизбежно приходилось заигрывать с фашистами, а после войны – скрывать свое еврейское происхождение. Женщины, чьи запросы были поскромнее, сохраняли достоинство. Все они превосходно владели французским языком и знали французскую культуру, но в то же время ощущали себя по сути итальянками.

Среди них особую роль играла Джина, подруга детства моей матери. Отец ее, сказочно богатый рантье из Александрии, любил читать римских классиков на языке оригинала и, по-видимому, за всю свою жизнь нигде не работал. Жил он уединенно и отличался женоненавистничеством, а потому даже дочерей поспешил выдать замуж, чтобы они оставили его в покое. Джине при этом достался дальний родственник, еврейский помещик с крестьянским произношением, который страшно гордился тем, что был родом из Лациума. Сестра постарше, Нелла, вышла замуж за известного профессора римского права, тоже еврея, самого молодого из заведующих университетскими кафедрами в Италии. Потом он стал членом Конституционного совета. Сын выдающегося математика и сенатора Республики, с первых же дней фашистского режима вставшего к нему в оппозицию, он принадлежал к светской левой интеллигенции, близкой к коммунистам. К этому незаурядному человеку я относилась со страхом, смешанным с уважением. Дети подруг моей матери составляли как бы огромный клуб единокровных родственников, объединенных и общими увлечениями, и общей изолированностью от семейных проблем, и летними развлечениями. Как все это разительно отличалось от моей маленькой американской семьи!

Таким образом, мое пребывание в Риме приводило меня в буржуазную среду, далекую от промышленной реальности. Здесь царила скорее психология ренты, хотя сама рента прекратила свое существование. Здесь были живы традиции, здесь обсуждали идеологические проблемы и не слишком-то увлекались современностью и тем более Америкой. Когда мы приезжали сюда, на нас поглядывали понимающе, но и почти бесстрастно, как старая неподвижная ящерица разглядывает трепетного беспокойного сверчка. Даже по сравнению с Миланом жизнь здесь казалась более размеренной, время словно бы замедляло свой бег.

Что меня в первую очередь привлекало в Риме, так это жилища наших друзей. Потолки исключительной высоты и огромная площадь, казалось, преследовали одну цель: свести к минимуму присутствие детей. Хотя за окнами всегда светило солнце, в помещении постоянно царил полумрак: занавески держали закрытыми, чтобы предохранить от жары мраморный пол. В комнатах было полным-полно книг и старинных предметов. У профессора римского права температура воздуха должна

была соответствовать требованиям сохранности книг, больших старинных изданий. Поэтому зимой топили еле-еле, а летом закрывали ставни, иначе пострадали бы и сами ценнейшие рукописи, и их переплеты. Столики из экзотического дерева, к которым запрещалось даже притрагиваться, мраморные плиты, которые надо было обходить за версту, являли собой не только досадное препятствие для детской непосредственности, но и материальные доказательства более чем скромной роли нынешних поколений, наследующих римскую культуру. Еще более гнетущее впечатление производили картины и рисунки, каждый из которых был достоин музейного собрания. Казалось, мы не более чем случайные посетители в этом соразмерном вечности доме. Я укрывалась в комнате своей подруги, где стояла относительно современная мебель, возвращавшая ощущение нашей эпохи.

Напротив, у политически ангажированных интеллектуалов, будь то социалисты или коммунисты, книги заменяли собой всю прочую обстановку. Полки высились до потолка, горы газет и журналов заполняли все помещение. При этом среди латинских текстов можно было встретить последний манифест какого-нибудь скромного левого движения. Живое настоящее протягивало руку прошлому.

Присущая Риму замедленность ритмов действовала на меня, прибывшую из мира высоких скоростей, подобно пониженному давлению. Обед тут длился два часа, за ним следовал послеобеденный отдых, так что жизнь в городе возобновлялась не ранее пяти часов пополудни. Историческая пассивность, экономический фатализм и политический цинизм оригинальным образом совмещались с эпикурейством. В результате город жил спокойной, сидячей и почти статичной жизнью: еда, отдых, неспешные раздумья, чтение и долгие прогулки пешком.

Еще одним предметом моего восхищения были римские служанки. Они являли собой неотъемлемую часть семьи и не только служили ей, но и подчиняли ее себе. То была наследственная профессия, своего рода параллельная каста. Они жили в комнатках при кухне и находились в идеальной гармонии с изысканно-урбанизированным миром своих хозяев, с которыми расставались лишь по большим праздникам. В эти дни они снимали голубую униформу и надевали выходное платье, бежевую фуфайку и косынку, полностью возвращая себе свой

прежний деревенский образ. Меня эта метаморфоза прямо-таки завораживала: я старалась представить себе, что они чувствуют, когда им приходится вновь облачаться в повседневный наряд. По воскресеньям дома словно бы утрачивали частичку своей души: пища становилась невкусной, в общем, мир обрел налет зыбкости.

Когда мы приходили к Джине, нас неизменно встречала ее домоправительница Бруна. Она была родом из Тосканы. Бруна управляла всем хозяйством, распоряжалась на кухне, платила по счетам, принимала гостей, считалась с настроением мужа хозяйки. Джина была полностью погружена в проблемы семейного клана: надо было найти место под солнцем новоприбывшим из Египта беженцам, вконец растерявшимся от того, что они именовали “англосаксонским” ритмом Вечного города; поправить здоровье старых родственников, с ностальгией вспоминающих о прежней беспечной жизни, а ныне погрузившихся в йогу и играющих в теннис; разбираться со школьными ссорами сына и университетскими проблемами флегматичных кузенов, полагавших, что в нужный момент родные без труда пристроят их на работу; помогать мужу справиться с жутким расписанием; наконец, вникать в сложности собственной консьержки. Склонность Джины браться за решение проблем родственников не знала никаких границ. Эта тучная, развалившаяся на подушках особа правила огромным кланом, отдельные представители которого жили аж в Родезии. Всеобщая матушка, которая хлопотала обо всех сразу, но сама была неспособна даже сварить яйцо. То была полная противоположность американскому идеалу матери, холодной, но расторопной. Джина жила в плену собственного мирка и крайне редко выходила на улицу. В этих случаях личный шофер вез ее в римские универмаги, где она покупала себе просторные платья от сестер Миссоли — в другие она попросту не влезала. Джина не смогла бы и дня прожить без Бруны: покровительнице родных тоже нужна была поддержка.

Такие “феи” были в каждой семье. Служанке преподавателя римского права удавалось отыскать засунутые куда-то тексты речей; служанка адвоката умела укрощать самых несносных клиентов; служанки левых интеллектуалов искусно проводили границу между революционными высказываниями своих хозяев и их реальным общественным статусом. На наш взгляд, все

они отличались исключительной любезностью. Мы подолгу задерживались у них на кухне, чтобы выведать все новости, — ведь именно здесь хранилась память обо всех семейных событиях.

Мне нравилось бродить по отнюдь не аристократическим кварталам Рима, по улице Кола ди Риенцо, с ее многочисленными магазинами тканей и одежды, в двух шагах от Капитолия. Частенько их владельцы и служащие оказывались евреями, однако акцент, жестикуляция, пронзительный и одновременно иронично-насмешливый взгляд делали их полноправными представителями римского торгового люда. Правда, одна деталь отличала их от католиков: вместо креста на шее у них сверкала огромная звезда Давида. Подобное традиционное сосуществование народов в самом сердце древней Римской империи не могло оставить меня равнодушной, тем более что именно в этом квартале жила моя мать в студенческие годы.

В лавочках прилегающего к Пантеону квартала можно было купить множество всякой всячины: военное обмундирование, светскую одежду и церковное облачение, притягивающее внимание монахинь и священнослужителей со всего мира. Последних нимало не смущали изображения голых женщин на обложках журналов, что продавались тут же, рядом с распятиями и дароносицами. Да и сам Пантеон с его многовековой историей не казался убежденным сединой старцем, слившись в единый ансамбль с окружившими его зданиями.

Когда я шла по улице Венето, то пыталась представить себя юной итальянкой, никогда не переправлявшейся на американский континент. Американское посольство находилось совсем рядом, и я поглядывала на него с некоторым недоверием. Под сенью пальмовых деревьев и цветущего сада, за оштукатуренными стенами заседали высокомерные дипломаты, решая судьбу страны, которую они рассматривали как свою колонию. По другую сторону ограды, в многочисленных кафе американцы всю сорили деньгами во исполнение заветов “Рах Americana”, который, казалось, поощрял худшие черты в национальном характере итальянцев. Я терпеть не могла презрительные взгляды одних и раболепные — других, эти фальшивые взаимоотношения, которые ощутимы даже в простом флирте молодого итальянца с американской “принцессой”, чью роль сыграла Одри Хепберн в “Римских каникулах”. Я старалась всячески избегать этого шумного и вульгарного Рима.

Зато храмы были мне по душе: запах горящих свечей, скрип деревянных скамеек, тихие шаги верующих в капеллах, возня уборщиков, взгромоздившихся на лестницы, чтобы вычистить бронзовые люстры, молчаливые старушки в черном, коленопреклоненные перед образом Иисуса, — все это ярко запечатлелось в моей памяти. Однако сами падре, их исповедальни, черные сутаны и круглые шляпы — все это оставалось мне чуждым. Я любила и древние храмы, и ренессансный дух собора Святого Петра, но чувствовала себя неуютно в помпезных барочных храмах, как если бы религиозный пыл тех, кто отправил на костер Джордано Бруно, все еще был разлит в воздухе. На паломников я смотрела довольно равнодушно. Ни таинство Троицы, ни сила четок не были доступны моему воображению. Зато мне нравилась та сердечность, в которую была окрашена вера этого весьма терпимого народа, сердечность, сближавшая гуманизм с христианством.

Но мне и в голову не могло прийти выйти замуж за христианина, ведь тогда распалась бы тысячелетняя цепь иудейской цивилизации. С другой стороны, прохаживаясь среди булыжников старого гетто, обитатели которого, возможно, являлись в большей степени римлянами, нежели многие из католиков, я все-таки не чувствовала себя дома. Мне трудно было представить себя в роли угнетенной еврейки, полностью зависимой от решений иудейской Церкви, которая сберегла мой народ от уничтожения ради его свидетельства на Страшном суде. В еврейские булочные и рестораны я заходила без всякого священного трепета. После пребывания в Америке дополнительная прививка национальной культурной идентичности мне была вовсе ни к чему: моим домом являлась прежде всего сама Италия.

Самым волнующим местом в Риме стал для меня Римский Форум. Двигаясь вдоль терм Каракаллы, я забывала обо всем на свете. Тайна павшей Римской империи затмевала собой и торговцев диапозитивами, и мороженщиков, и туристов, восторженно реагировавших на каждую развалину, и экскурсоводов, тараторивших на всех языках мира. Меня пленяли руины цивилизации, тем более величественной, чем более шумными и возбужденными были ее далекие потомки. Я пристально всматривалась в их лица, пытаюсь обнаружить приметы благородного происхождения, и не находила их. В древнем Риме я словно бы переносилась в некую дистиллированную реальность, окутанную таинственной тишиной, в мир, достигший

вершин просвещенной рациональности. Я ощущала себя вполне старорежимной римлянкой.

На расстоянии Рим восхищал меня как символ великой цивилизации, однако вблизи мой американский пуританизм не мог смириться с его нарциссической томностью и консерватизмом. Как вызывающе накрашенная старая графиня, Рим одновременно и привлекал мое воображение, и отталкивал. В глубине души я понимала, что не испытываю к Вечному городу той же любви, что к Милану.

Что же касается родного города моего отца — Неаполя, то по отношению к нему я питала некоторое предубеждение. Раз мой отец когда-то уехал отсюда и больше никогда не возвращался, значит, на то были свои причины. И все же сердечная атмосфера, подкрепляемая присутствием многочисленных родственников, не могла оставить меня равнодушной. От Неаполя у меня сохранились главным образом детские воспоминания: игры с кузенами на террасе тетушкиного дома, что выходила на залив в районе Вомеро; катание на роликовых коньках вдоль улицы Караччиоло, эдакого местного Английского бульвара, где жили дядя с тетей; велосипедные прогулки на Королевскую Виллу близ восхитительных каруселей начала века; лазание по деревьям на Вилле Флоридиана. Именно там я открыла для себя мир мальчишек, и их игры мне ужасно понравились. Я вдруг сделалась лакомкой: наслаждалась лучшими в мире пиццами из тонкого хрустящего теста, с золотистыми овощами; вкушала чудесное мороженое с фруктовым сиропом; упивалась фруктовым тортом. Вечерами всем выводком мы отправлялись в порт есть рыбу. Атмосфера в городе была приподнятой, казалось, на улицах царит вечный праздник; прохладные вечера тянулись бесконечно. Нравился мне и фуникулер, что связывал Неаполь с буржуазным кварталом Вомеро; мы ездили, пользуясь им, на пляж, скрип механизма и наш смех сливались в веселую какофонию.

Контрасты этого многонаселенного города не являлись для меня тайной. В Неаполе более, чем где-либо, можно было ощутить разницу между богатыми и бедными: богатые дамы появлялись на улице часов в пять вечера, с ног до головы облаченные в сине-белые шикарные наряды, а беднота с трудом волочила огромные, груженные овощами и фруктами тележки. В портовой части города целые семьи прозябали в каких-то пещерах без окон. Бледные грязные дети бегали по тротуару, что

служил прихожей. Рядом с огромным телевизором стояла позолоченная статуэтка Девы Марии. Стены были увешаны эмблемами футбольных команд, на которые тут прямо-таки молились, и большими красными кораллами – на счастье. Этот непостижимый мир я могла бы сравнить разве что со знаменитым Двором Чудес. Здешние обитатели без какой бы то ни было зависти или горечи глядели на проносящиеся мимо автомобили, символ экономического чуда; богачи же со своей стороны не испытывали по отношению к ним ни сострадания, ни чувства вины, как если бы каждому было предписано терпеливо ожидать своей очереди у входа в мир благоденствия.

Крайностям этим удавалось сосуществовать благодаря тому, что в некоторых кварталах процветала связанная с американской военной базой контрабанда. Иногда мои дяди и тети показывали нам задворки базы, где какая-нибудь модистка за чисто символическую цену могла изготовить потрясающую шляпу, а скромный ремесленник на славу чинил поврежденные сумочки. Черный рынок у тротуаров выглядел как-то по-домашнему: разные типы с золотыми зубами торговали фальшивыми часами, фальшивыми сигаретами “Мальборо”, бутылками фальшивого виски и разбавленными духами. Тут же, рядом, я впервые в жизни увидела проституток, вызывающе ярко накрашенных и наряженных в мини-юбки, и это за десять лет до того, как они вошли в моду в Англии. Иногда они сидели у окон почти что без ничего. Детям головы брили наголо, чтобы не было вшей; взрослые использовали ребятишек как мальчиков на побегушках в разных темных делишках, и они сновали от одной двери к другой. Все тут орало и хохотало: одно слово, средиземноморский темперамент. Чтобы как-то переносить все это, нужно было представить себе, что эти люди чувствуют себя вполне счастливыми. Вообще-то я не могла до конца в это поверить, но хохот и пение были вполне реальными. Да и семья моя склонялась к такому мнению, а дядя вообще утверждал, что обитатели “дна” по воскресеньям выходят в город одетыми не хуже, чем все остальные, и что они ни за какие коврижки не уедут из своих подвалов. Я же думала о том, что при желании они все-таки могли бы изменить свою жизнь, в отличие от американских негров.

Современность в Неаполе воплощала лишь двадцатипятиэтажная башня, самый крупный из городских отелей. Однако на

фоне местных традиций и социального неравенства она выглядела несколько парадоксально. Кстати, и ее коснулись неаполитанские предрассудки, в частности боязнь числа семнадцать. Лифт на семнадцатом этаже не останавливался. Таким образом, даже внутри отеля был разлит дух иррациональности, а к возможностям сглаза относились с несравненно большим трепетом, чем к тем или иным государственным решениям.

Фактически тут был край Европы. Принадлежал ли Неаполь к “моей” Европе? Город казался чересчур независимым, чересчур безмятежным в своей патриархальности, чтобы каким-то образом участвовать в обновлении итальянской цивилизации. Я понимала, почему мой влюбленный в истину отец уехал отсюда: Неаполь — не место для рационалистических личностей. Тут было царство преувеличенного, дутого и приблизительного, тут покорно замыкались в мире отживших ценностей.

И несмотря на это — а может, и благодаря этому, — Неаполь, насколько я могу судить, оказался единственным из городов Италии, где пресловутая американская мечта расцвела пышным цветом. Она овладевала воображением как босяков, так и людей добропорядочных. Дяди и тети, которые в общем-то были побогаче нас, смотрели на нас с некоторой завистью. Как сейчас помню, жена дяди, стоя в кухне образца 2000 года в окружении всевозможных новинок бытовой техники, да еще ассистируемая двумя слугами, расспрашивала маму о блестящем уровне жизни, который, должно быть, знаком ей по Штатам. Казалось, “там” находится некий волшебный замок, куда никто не стремится попасть, но где хранятся несметные богатства. Как мама ни старалась доказать, что в Америке полно проблем, никто ее и слушать не хотел. очевидно, чтобы как-то вырваться из объятий неаполитанского хаоса, этим буржуазным семьям нужно было уцепиться за подобный миф.

Зато в нескольких километрах отсюда располагались Помпеи, уцелевшие осколки золотого века. В гробовом молчании помпейских улиц каждая деталь как бы приближала посетителя к прошлому. Контраст по отношению к Неаполю был потрясающий. Совершенно неподобный дом Фавна, красочные фрески, изящно отделанные кухонные инструменты, цветочный орнамент на стенах — все это было исполнено умиротворенности и покоя; ничего общего с неукротимым неаполитанским темпераментом.

И все же будущее неудержимо влекло к себе неаполитанцев. Америка неожиданно возникала на берегах Средиземного моря. Лето кончалось; наступала пора возвращаться обратно.

Поскольку занятия в моей школе начинались уже в первую неделю сентября, нам приходилось каждый год уезжать из Италии, все еще озаренной ласковым летним солнцем. Итальянские дети из хороших семей после отдыха на море или в горах то ли отправлялись в деревню, то ли продолжали наслаждаться каникулами в городе. Мы же в это время устраивались в автобусе, который отвозил нас в аэропорт, с чемоданами, забитыми новой одеждой и обувью, и с полными книг сумками. Прощальный взмах руки, и мы уже в пути. В наше отсутствие мясник и булочник продолжали все так же обслуживать покупателей, трамваи неустанно следовали по своим маршрутам, в магазинах одежды одна коллекция ритмично сменяла другую. Год спустя нам предстояло вновь лицезреть эту человеческую комедию, где нам были уготованы роли случайных статистов.

Остановившись в конце августа в Париже, мы ощущали первые признаки приближающейся осени. Мы отправлялись в магазин Жибера за тетрадками, что служили мне в течение всего года, и за книгами для мамы. Как правило, отец выезжал раньше нас, поэтому несколько дней мы с мамой проводили вдвоем. Мы снимали номер в скромной гостинице в районе храма Святого Сульпиция, бродили по музеям и галереям, заходили в универмаги, к “Франку и сыну”. Однако по пути из Италии в Америку Париж был уже другим: он переставал выглядеть как королевские врата Европы. Город становился самим собой; его красота, в сравнении с миланской, казалась мне холодной и чопорной. В кафе царил полумрак, что-то среднее между ярким освещением итальянских тракторий и подозрительной темнотой американских баров. Рестораны казались мне или чересчур засаленными, или негостеприимными, лишенными семейной сердечности тракторий. Дома была грязь, современный дух — неокрепшим, речь — прерывистой и пронзительной. Влюбленная в Италию, я не понимала, что за фасадом может скрываться тонкая душа, а за неудачной формой — глубина духа. И все-таки перед самым отлетом я начинала ценить эти заключительные впечатления от Европы.

Самолет “Эр Франс” мягко опускал нас на американскую землю вскоре после полудня. В обширном зале прилета аэропорта имени Кеннеди мы оказывались среди путешественников, прибывших сюда со всего мира: из Латинской Америки, с Карибских островов, из Африки и из Азии. Многие испытывали робость при встрече с чиновниками из службы иммиграции, которые просматривали мой паспорт и паспорт моей матери. Иностранцы подходили к ним, вооружась многочисленными письмами, увесистыми папками с документами, снабженными печатями, подписями, нотариальными заверениями. Когда целая семья пересекала разделительную линию, они шагали в затылок друг другу и проходили в кабинку для беседы с офицером службы иммиграции. Офицер, сын ирландца или немца (а позднее тут стали появляться и мексиканцы), глядел на них с состраданием. Разговор обычно бывал коротким: к воротам американского рая без уважительных причин и предварительных запросов приближаться нечего. Надзор за всем этим осуществляли американские посольства в соответствующих странах: местные власти не позволяли никому отправляться в Америку без визы. Американская империя, достаточно проницаемая на сухопутной границе, в аэропорту оказывалась герметично закупоренной. Аэропорты оберегали ее от лавины прибывших издалека иммигрантов.

Когда чиновники убеждались в том, что мы не входим в список нежелательных лиц – где, кстати говоря, фигурировали наиболее знаменитые левые интеллектуалы Европы, близкие к коммунистическим убеждениям, – мы проходили таможенный контроль. В противовес своим французским и итальянским коллегам, которые совершенно беспрепятственно пропускают туристов и вообще пассажиров, американские таможенники видели в каждом потенциального нарушителя. В числе возможных преступлений был, например, провоз свежих продуктов питания, фруктов или растений – всему этому не было места на девственно чистой земле. Нас всякий раз расспрашивали о назначении копченой колбасы, которую мы укладывали на дно чемоданов, ямайского перца и свежего чеснока, что мы везли в сумке. Эти славные парни знали только сицилианскую кухню: пармезан, ломти мамалыги или свиной колбасы их абсолютно не волновали. Меня подобная ограниченность забавляла.

При всем при том Соединенные Штаты, до того, как туда хлынул поток туристов из развитых стран, отличало ощущение

самодостаточности. И таможенникам, и носильщикам, и шоферам автобусов, и персоналу аэропорта мы казались какими-то инопланетянами. Европа казалась им реально недостижимым изображением с почтовой открытки, воплощением непомерно раздутого фальшивого шика; при всем желании они не могли представить себе повседневную жизнь Старого Света, его реальных обитателей. Сколько бы я ни объясняла этим людям, что европейцам живется даже лучше, чем им, они все равно бы мне не поверили. Никаких возможностей для сравнения у них не было; они неизменно соразмеряли свое скромное бытие с американской мечтой, хотя и участвовали в ней, как говорится, одним боком.

Итак, я возвращалась в Новый Свет американкой — на взгляд Европы и европейкой — на взгляд Америки. Иногда я и сама сомневалась, насколько реальна вторая половина моей жизни. В воображении все еще теснились прекрасные пейзажи и гармоничные лица, а я тем временем уже задыхалась от жгучей нью-йоркской жары и пересаживалась в самолет до Вашингтона или Атланты. “Домой” мы прибывали поздней ночью, и мне казалось, что сказочное царство тает, обращаясь в глубокий сон утомленной путешественницей.

Канадское интермеццо

Случается, что опыт пребывания в чужой стране приобретает решающее значение при выборе пути, способствуя нашему самопознанию. Интенсивность этого опыта не передать, рассказывая забавные истории или просто делясь впечатлениями: об истинности его свидетельствуют глубинные отзвуки, пробужденные им в душе. Таков был мой канадский опыт. Мне исполнилось семнадцать, когда я приехала в Монреаль вместе с родителями. А ровно через год я вернулась в США: за время нашей разлуки я поняла, как дорога мне эта страна. И теперь очередной переезд объяснялся уже не внешними причинами — это было мое собственное решение. Живя в Канаде, я осознала, что невозможен никакой компромисс, никакой “третий путь” между моей Америкой и моей Европой: разбавить и смешать эти две сущности нельзя.

После Атланты, большого провинциального города, я оказалась в Монреале, крупном двуязычном и поликультурном центре, где моя натура космополита как будто могла обрести удовлетворение, найдя идеальный для себя “дом”. Но в действительности, страдая внутренней раздвоенностью, я попала в неоднородную по составу среду, где как нельзя более выпукло предстали передо мной неудобства такого противоречивого состояния. Мне ничего не оставалось, как бежать из страны, в которой я увидела собственное отражение, — это было кривое зеркало конфликтного общества, расколотого на враждебные группировки, сосуществующие в одном национальном пространстве без общего смысла, без истории. В те годы — 1966–1967 — Канада на самом деле переживала серьезный внутренний кризис, связанный с пробуждением квебекского сепаратизма и с неоднозначностью ее позиций относительно США. Живя в

Торонто или Ванкувере, я наблюдала бы за этими волнениями издалека. Но в Монреале находился основной очаг заболевания. Канада готовилась к празднованию столетия своей независимости, но во всех почтовых отделениях еще можно было увидеть портрет английской королевы. Кленовым листком новенького флага трудно было прикрыть наготу канадского государства. Природный колосс на глиняных социальных ногах, некое экзотическое место для американцев, ищущих разнообразия, бастион английской традиции, страна эта фактически существовала, прикинув к американской границе, как будто к источнику тепла: казалось, ей не хватало внутреннего динамизма, чтобы обрести жизненный смысл.

За год моей “инициации” я ощутила силу притяжения Соединенных Штатов, а над моим идиллическим европейским пейзажем стали собираться первые тучки.

Знакомство с Монреалем началось для меня в отеле “Королева Елизавета”, где мы жили до тех пор, пока не нашли квартиру. Здесь было место встреч представителей говорящей по-английски элиты, а стало быть, идеальный наблюдательный пункт. Отель, расположенный в центре, около векового, по всей видимости, парка, выходил прямо в деловой квартал, где по сравнению с Атлантой жизнь была ключом. Главное же — здесь царил двуязычие, начиная с гостиничного холла. В киоске продавались газеты на английском и французском языках, даже “Монд”. Там я купила “Здравствуй, грусть” Франсуази Саган, расценив этот факт как верный знак того, что отныне моя жизнь будет протекать во “взрослой” и одновременно “французской” среде.

Однако мне понадобилось совсем немного времени, чтобы уловить непримиримую враждебность отношений между англофонами и франкофонами. Последние занимали самые незначительные должности — горничных, официантов, водителей автобуса, водопроводчиков — и ни в коем случае не могли быть швейцарами в отеле, продавцами в дорогом магазине или бизнесменами. Они общались между собой на невразумительном диалекте: это был то ли цеховой жаргон, то ли французский язык с искаженными гласными. Реальная власть принадлежала тем, кто говорил по-английски, и они властвовали вполне по-англосаксонски, совершенно невозмутимо и с чистой совестью.

Мне казалось чем-то само собой разумеющимся примкнуть к франкофонам, обращаясь к ним по-французски. Однако это нас вовсе не сближало. Я была не из Квебека, а коллективное сознание квебекцев хранило память о том, что французы их бросили; их девиз “помню” означал противостояние превосходству не только англичан, но и французов. Стоило им заметить, что я испытываю затруднения из-за их интонации или оборотов речи, как они тут же переходили на английский, неотличимый в их устах от английского двухсот с лишним миллионов англо-фонов: они с легкостью оставляли свой квебекский говор, неизбежно выделяющий их из числа всех, кто пользуется “общепонятным” французским языком, – и говорили на безупречном английском. Я просто терялась, тем более что среди бытовых выражений местного французского наречия во множестве попадались прямые кальки с английского... Квебекцы не без агрессивности отстаивали свою идентичность, но их язык утратил исконно свойственные ему обороты в контакте с североамериканской реальностью.

К лингвистической путанице добавлялась двусмысленность культурного характера. Квебекская гордость не коренилась в чудесах французской цивилизации, ее предметом не были ни философия Просвещения, ни подвиги Республики, рожденной Революцией, – ей было чуждо все то, чем объяснялось мое желание чувствовать себя “французенкой”. Скорее тут сказалась защитная реакция на бедствия, на утрату аграрных традиций, принадлежавших в действительности дореволюционному миру, обскурантистскому и закрытому, – пересаженному в Америку крестьянскому XVII веку. Для современного квебекца вероисповедание играло еще более важную роль, чем язык. Франкоязычные школы были католическими. Еврея, хотя бы он был франкофоном, отправляли в англоязычную школу. Таким образом, в менталитете, сложившемся в противостоянии английскому владычеству, не наблюдалось никаких признаков открытости и тем более плюрализма. Что производило впечатление – так это боевая стойкость, крестьянское упорство, которое обнаруживалось в бедных кварталах, языковых и экономических гетто, сравнимых с самыми обездоленными черными кварталами Джорджии. Итак, я покинула американский Юг, где размежевание определялось цветом кожи, и попала в город, где религия и язык выполняли ту же неблагодарную роль. В магазинах

легко было купить французские книги или пластинки Жоржа Брассанса, но от квебекцев меня отделяла культурно-религиозная пропасть.

Я чувствовала себя так же далеко и от англоговорящего мира. Мы нашли квартиру в изысканном предместье, в нескольких минутах езды на поезде от центра, где работал отец. Это был анклав хорошеньких домиков, где до войны царила, должно быть, атмосфера, достойная кентских селений. Точно такой же “клуб” мог находиться в любом уголке Британской империи, на такой же бархатной лужайке, куда выходила открытая веранда, после обеда заполняемая старушками, собравшимися на чашку чая, меж тем как их мужья забавлялись головоломками. Большинство этих англофонов поколениями жили в своем мирке (говоря точнее: со времени поражения французов).

Этот неокOLONиальный мирок смушал меня еще больше, чем элита WASP в Америке. Ему тоже присущи были “гибридные” черты. Он поддерживал некоторые традиции доброй старой Англии, но ему было чуждо величие ее прошлого, дух свободы и юмор англичан. Он жил по-американски, но не обладал общественным динамизмом США и не изведал взрыва борьбы за независимость. Англо-канадцы казались мне утомленными аристократами, какой-то бледной, расплывчатой тенью тех двух народов, которым они подражали. Их “английская” изысканность, старомодная и ограниченная, сочеталась с невежеством, еще более явным, чем в Соединенных Штатах. Гибриды, не имевшие ни великой традиции, ни могущества в настоящем, они удерживались на поверхности моря, где назревал шторм.

Среди англофонов были и евреи: их восхождение по социальной лестнице, их ценности были типично американскими. Они не участвовали в общественной жизни старой английской элиты и совсем не знали квебекцев: религия и язык выполняли функцию двойного барьера. На деле это были несостоявшиеся американцы – наверное, их предки, приехавшие из Восточной Европы, ошиблись пароходом и не попали в Нью-Йорк. Они держались своего круга, а многие, используя возможность учиться в Соединенных Штатах, в конце концов уезжали насовсем. С точки зрения материального и профессионального статуса их биографии походили на биографии американских евреев, но здешняя жизнь не знала тех политических и моральных потрясений, благодаря которым в те же самые годы американские

евреи, как новые крестоносцы, сражались за гражданские права черных и важные политические цели леволиберальных сил. У большинства канадских евреев отсутствовало сознание возложенной на них миссии. Помимо личного благополучия, как и прочие канадцы, они были слишком озабочены своими групповыми интересами и не думали об общем благе.

Самым большим моим открытием в Канаде стало открытие иммиграции. Америка, знакомая мне в ту пору, уже не была землей иммиграции. Она вновь станет ею с 70-х годов, но в годы моего отрочества она представляла собой закрытый мир, особенно вдали от больших метрополий вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Все приезжие оказывались американцами, переведенными по службе или жаждущими новой жизни. Канада середины 60-х годов, напротив, переживала наплыв переселенцев.

В Монреале я открыла иммигрантские кварталы – какие, наверное, существовали в Нью-Йорке в начале века. Здесь были итальянский квартал, греческий, ливанский, не похожие один на другой. Мы часто гуляли по итальянскому кварталу, закупая провизию. Иммигранты были с юга Италии и в большинстве своем работали на предприятиях, основанных их кузенами, прибывшими на несколько лет раньше. В отличие от их соотечественников в США, здесь итальянцы говорили только на родном языке. Их не встречала статуя Свободы. Их не вдохновлял на творческие свершения никакой миф о “канадском образе жизни”. Большинство рассчитывало вернуться на родину, подкопив денег. Многие жаловались на суровые зимы и холодность канадского общества, которое их не принимало. Никто из них не собирался превращаться в “канадца”.

Однако они составляли объект жестокой конкуренции в борьбе канадцев за власть. Франкофоны не могли примириться с тем, чтобы итальянцы, греки и ливанцы сделали выбор в пользу английского языка. А сами иммигранты предпочитали раствориться в американизированном людском океане, вместо того чтобы примкнуть к укрепленному лагерю квебекцев. В глазах франкофонов они играли роль троянского коня англоязычного империализма. Эти распри отнюдь не облегчали их вхождение в несуществующее “канадское сообщество”. К примеру, наш хозяин – впрочем, вполне удобно устроившийся, – никогда не называл себя канадцем, представляясь прежде всего украинцем.

И все же, продолжая говорить на родном языке или диалекте, повторяя из века в век переходившие жесты, эти люди уже не были жителями Старого Света. Что-то существенное, связанное с линией горизонта, с запахами, с почвой, было потеряно. Они вошли в великую диаспору гибридов. Их кварталы представляли собой эрзац. В старых итальянках, сидящих на пороге своего дома, так умилавших меня в Италии, здесь чувствовалось нечто от фольклора, несколько жалкого, ибо уже бессодержательного.

Как могла я сохранить надежду остаться “европейкой” в Новом Свете? Все содействовало тому, чтобы эти усилия обратились в ничто. Любой пустяк заставлял вновь качнуться чаши весов: деталь одежды, одно слово, какое-то блюдо придавали привлекательность иллюзии синтеза. Французские вывески сверкали искусственным блеском, а улица-то была в сущности вполне американской. Люди легко “ловились” на то, что видели вокруг. Вновь прибывшие в поисках элементарного благополучия иммигранты были тому живым доказательством. Настоящий рай конsumerизма и материализма, далекий от культуры, находился не в Штатах, а в этой процветающей Канаде, свободной от ответственности за мир и слабой в культурном отношении.

Так я научилась дорожить американскими ценностями. Комплекс превосходства многих американцев показался мне оборотной стороной тех демократических ценностей, на основе которых в век Просвещения созидались Соединенные Штаты. Элита WASP, даже и не желая того, привела в движение механизм, который в дальнейшем будет укрепляться, вовлекая в свою работу все более разнородные массы. Напротив, англосаксы в Канаде, сохранившие верность короне, не стали носителями никаких новых ценностей. Если не говорить о материальных преимуществах, обеспеченных и в том, и в другом обществе, время не сгладило различий между ними, связанных с обстоятельствами их рождения.

Самые открытые и прогрессивные силы в США стремились осуществить мечту о единстве и равноправии. Послание Мартина Лютера Кинга было адресовано не только черным, но всей стране, которую он хотел видеть во всем блеске, в лучшем ее свете. По-новому, с особой глубиной воплотил он ту миссию, которую возложили на себя отцы-основатели. Канада же с ее косной элитой, квебекцами и иммигрантами, преследующими

свои собственные цели, напоминала, напротив, неудавшийся майонез: эмульсия не схватывалась. Принадлежность ее гражданам к разным мирам не обогащала, а обедняла страну.

Несоответствие между символично-политическим обеднением Канады и достигнутым ею уровнем жизни было разительным. В Монреале нам были доступны наши любимые программы американского телевидения. Не считая экзотических мелочей из Франции или Британии, основная масса предметов потребления ввозилась из США или производилась по американской концессии. Обозначение “Limited”, сопровождавшее американское название главных предприятий, как будто указывало на то, что вся Канада – общество с ограниченной ответственностью.

Каково было мое изумление, когда однажды, купив пузырек чернил американской марки, я заметила, что произведены они в Канаде по концессии, но пробка изготовлена в США. Я представила себе тысячи пузырьков с чернилами на остановленном конвейере: никто не мог бы сдвинуть их с места без пробок, застрявших по ту сторону границы из-за какой-нибудь забастовки или технических неполадок. Канаде необходимы были американские пробки, чтобы обеспечить устойчивость ее собственного содержимого. Австралийцы и новозеландцы имели по крайней мере одно преимущество: они жили далеко от Великобритании и США, тогда как Канада географически и исторически обречена была оставаться младшим любимчиком в тени своего старшего брата.

Каждое утро я выходила из родительской квартиры, садилась на электричку и ехала в университет Мак-Гилла, куда меня записали в качестве “принятой досрочно”... Этот университет был основан в середине XIX века для тех, кто не имел средств или возможности поехать учиться в Оксфорд и Кембридж. В политически беспокойную эпоху он казался осажденной цитаделью, символом привилегий и полномочий “колонизаторов”. Кризис идентичности этого университета в провинции, стремившейся искоренить английскую речь, с самого начала наложил отпечаток на мое обучение. Так, прежде чем мы углубились в “Кентерберийские рассказы” Чосера, преподаватель литературы предложил нам следующую тему сочинения: существует ли Канада...

Если защита прав черных в Америке имела всемирный смысл, то столь же очевидна была для меня ничтожность лингво-этнических распрей в Канаде. Между тем они определяли университетскую жизнь: студенты Монреальского – франкофонного – университета и университета Мак-Гилла принципиально не общались между собой. Не было ни спортивных соревнований, ни вечеров танцев. Лингвистическая вражда одержала верх над духом студенчества, атмосфера была отравлена.

Я искала спасения в занятиях, вновь открывая культуру после четырех лет провинциальной жизни в Атланте... Но заниматься литературой казалось мне некоей роскошью, с оттенком этакого декаданса. В своем стремлении понять мир я отдавала предпочтение истории.

С удовольствием стала я посещать курс лекций по Китаю и Японии. Ничего не зная о Дальнем Востоке, я хотела расширить свой кругозор – тем более находясь в стране, которая поддерживала дипломатические отношения с Китаем, тогда как США упорно от него отворачивались. Преподавал нам китаец, авторитетный специалист и горячий сторонник пекинского режима: он не скрывал своего желания видеть Канаду свободной от американского покровительства. В 1966-67 годах США увязли во Вьетнаме. Сражавшимся во вьетнамских болотах американским солдатам, забрызганным грязью, канадское телевидение противопоставляло миллионы образцово-показательных улыбок жителей страны Мао, высоко поднимающих свои красные цитатники, и хунвэйбинов с огромными, реющими на ветру знаменами. Китай представлялся восходящей звездой, и многие из канадских студентов не скрывали своих революционных симпатий и ликовали, видя, как подавлявший их великан ведет войну с противником намного меньше его.

Эти революционные порывы плохо увязывались с реальностью Канады, находившейся на обочине истории. Настоящие ставки разыгрывались не здесь, а канадцам, казалось, достались лучшие места на спектакль, поставленный другими. Когда сюжет разворачивался неудачно, как для американцев во Вьетнаме, они радовались, что занимают позицию пассивных наблюдателей. Когда же интрига становилась захватывающей, им ничего не оставалось, как хранить молчание. В обоих случаях они не могли выйти за рамки неблагодарной роли греческого хора, мудрого, но бессильного.

Я предпочитала находиться в центре исторической сцены, среди хаоса, криков и пыли. Заблуждаясь и совершая героические шаги, в лучших и в худших своих проявлениях, Соединенные Штаты по-прежнему оставались трепещущим сердцем мира... Решение мое было принято: я поступаю в Гарвард.

Как раз тогда в Монреале проходила огромная всемирная выставка “Экспо-67”, приуроченная к столетию независимости Канады. Я поступила на работу в итальянский павильон, где должна была обеспечивать информацией посетителей, наряду с другими молодыми сотрудницами; многие из них были старше меня лет на десять. Этот опыт внесемейного общения оказался для меня интереснее, чем целый год занятий в университете.

Отмечая свое столетие, Канада выбрала главной темой выставки международную разрядку и взаимопонимание. Преодолев идеологические разногласия, “Земля людей” должна была стать единым целым, сосредоточив внимание на научном прогрессе, нужном для всех. Тогда идея “конвергенции” двух систем достигла вершин популярности, и выставка излучала этот планетарный оптимизм, основанием для которого служили планирование и прогресс технологий. Два огромных здания, посвященные науке и технологиям, являли достижения во всех областях, возвещающая зарю новой эры. Будущее казалось лучезарным.

Павильоны двух гигантов, США и СССР, составляли главный объект “Экспо-67”. Они располагались друг против друга, разделенные небольшим притоком реки Св. Лаврентия, над которым соорудили мостик. Накануне открытия этот символ едва не рухнул: в конце апреля река еще была скована льдом, и легкая конструкция испытывала слишком сильное давление. Климатические условия ограничивали политическую оттепель.

Контраст между двумя павильонами поистине поражал. Всплощением Америки стала светящаяся, воздушная сфера, созданная архитектором-утопистом Бакминстером Фуллером; внутри нее разместились произведения Энди Уорхола и других авангардистов, а также экспонаты, иллюстрирующие традиционный образ жизни американцев. Все в целом должно было представить юмористически-фантастическую картину нового

общества изобилия. Тут не проскользнуло и намека на войну во Вьетнаме. Единственным технологическим объектом была капсула “Аполлона”, в которой в один прекрасный день астронавты отправятся на Луну. Здесь культивировалась своего рода “недосказанность”, смешивались реальность и мир Голливуда, современность и история.

Советский павильон, по контрасту, впечатлял своим импозантно-тяжеловесным видом. Интерьер украшал гигантский барельеф с портретом Ленина. Посетители в шортах, с бутылками кока-колы в руках, созерцали огромного идола с полузаинтересованным-полупочтительным удивлением. Здесь воспевалась технологическая модернизация. Танки и комбайны на богато декорированных возвышениях соседствовали с первыми автомобилями, сошедшими с конвейера завода ФИАТ в Тольятти, воплощая славные подвиги рабочего класса, по-прежнему персонифицированного в образах русоголовых богатырей с крепкими мускулами. Болты и винты предьявлялись как какие-нибудь чудеса индустрии. Советский павильон никогда не пустел. Далекий враг завораживал: никогда еще мы не видели столько “настоящих” советских граждан, собравшихся в одном месте. Но за любопытством сквозило опасение: а что, если дремлющий великан когда-нибудь обгонит Запад? Раз системы сближались, все становилось возможным.

По правде говоря, советский павильон спокойствия не внушал. Повсюду весьма неуклюже несли дежурство солдаты в форме. Они привыкли покрикивать, а не расточать улыбки посетителям. Женский персонал составляли крепкие особы без всякого шарма. В этом мирке все работали попарно, как будто главная задача каждого заключалась в том, чтобы не допустить отступничества ближнего. Это было нечто противоположное недавней “гласности”. Во всем чувствовалось желание произвести впечатление, утратить. Три года спустя после падения Хрущева здесь еще не развеялось воспоминание о его ботинке. Плакаты, призывающие посетителей подчиняться требованиям охранников, отнюдь не казались чем-то противоестественным. Посетители выбирались на улицу, вздыхая с облегчением. После визита, проходившего в суровом молчании, вновь раздавались возгласы, возвращалась свобода жестов. Экскурсия в тоталитарный режим была окончена, и, уняв дрожь, люди вновь дышали свободой.

Таким образом, мост, соединявший павильоны гигантов, выражал скорее благие пожелания. Но все цеплялись за этот символ. Напрашивалась даже мысль, что, соорудив этот мостик, Канада совершила важный шаг, благоприятствующий разрядке. Реальность и иллюзия сливались на волшебном острове всемирной выставки...

Переходя из павильона в павильон, можно было проделать маленькое кругосветное путешествие, но, конечно, больше всего я почерпнула в итальянском павильоне — там, где работала. Здесь, несомненно, ощущалась наибольшая амбициозность в стремлении порвать со всеми стереотипами. Вопреки ожиданиям, вместо нагромождения шедевров искусства вперемешку с гондолами, пиццами и кьянти, здесь открывались вершины бескомпромиссного творчества. Впрочем, итальянцы-иммигранты были этим шокированы. Характерный для эпохи, предшествовавшей 1968 году, разрыв между элитарной и массовой культурой был налицо. Маршрут по павильону разработан был в духе своего рода посвятительного обряда. Огромную белую крышу украшали скульптуры Фонтаны и Мунари, и уже при входе, под музыку Луиджи Ноно, несколько проекторов воспроизводили на стенах образы, созданные Эмилио Ведовой — художником, по стилю близким к Джексону Поллоку. Контрастные цвета, стремительные движения должны были выражать дух сопротивления, увековечивая борьбу против фашизма. Этот бурный натиск авангарда ошеломлял толпу посетителей.

Второй зал представлял человека в его жилище. Вдохновляясь первобытной пещерой, архитектор придумал дом 2000 года, где все функциональные элементы были прямым продолжением грубых шершавых стен. В нишах — муляжи статуэток: нечто вроде иронической реплики к доисторическим временам. Дальше — ассоциативно представленное искусство средних веков и Возрождения. Фрагмент рук Иисуса Христа с картины Мантеньи, триптих Фра Анджелико и одна из батальных сцен Паоло Учелло располагались вокруг копии знаменитого “Христа” Чимабуэ, сильно поврежденного во время наводнения на Арно во Флоренции в декабре 1966 года, за несколько месяцев до выставки. Контуры тела были обозначены гвоздями, что символизировало муки, перенесенные Христом и этим произведением. Единственной уступкой более массовым вкусам

стала огромная репродукция “Венеры” Боттичелли, а затем – образы из фильмов Феллини. Всем остальным посетители, не посвященные в такого рода интеллектуальные игры, попросту были сбиты с толку. Спасительным причалом могли быть разве что роботы, счетные машины, “альфа-ромео”, чудеса дизайнера, занимавшие третий раздел итальянской выставки. Раз и навсегда следовало похоронить мысль об Италии как отсталой, ретроградной стране. Простой турист выходил отсюда совершенно обессиленный, после такого шквала от его упрощенного понятия об Италии не оставалось камня на камне, хотя взамен он не мог почерпнуть иных представлений, лишь некие знаки элитарной культуры, постижение которой, по большей части, было ему не по зубам. Даже ресторан был недоступен: маленький, очень дорогой, он работал только по вечерам, специализируясь на лучшей кухне северной Италии, – явно не для зевак, надеявшихся открыть для себя нечто попоше.

В США я первая стала превозносить итальянскую культуру, с ее тонким вкусом, глубиной ее творений, в противовес банальной картинке Италии, где нет ничего, кроме пиццы, мафиози и гондол. Но почему же художники этого павильона, решив бороться со стереотипами, сделали ставку на герметизм? Зачем понадобилось им так подчеркивать пропасть между возведенной на пьедестал и тем самым поднятой на недосыгаемую высоту Культурой – и массами, в их глазах не более чем стадом?

Мое повседневное бытие в качестве служащей павильона открыло мне глаза на тот контраст между элитой и остальным обществом, который до сих пор оставался для меня несколько завуалированным, так как мои паломничества в Италию были очень сильно овеяны мечтательностью и ностальгией. В первые недели выставки нас осаждали итальянские сановники, являвшиеся обозреть “свой” павильон. Послы, советники-посланники, руководители Управления искусств, политические деятели – все они были требовательны, ревниво относясь к прерогативам других лиц, держались холодно и отстраненно. Они парили у нас над головами, подобно высшим существам, не удостоивая даже рукопожатием. Так мне пришлось увидеть итальянское государство во всем его гордом “блеске”.

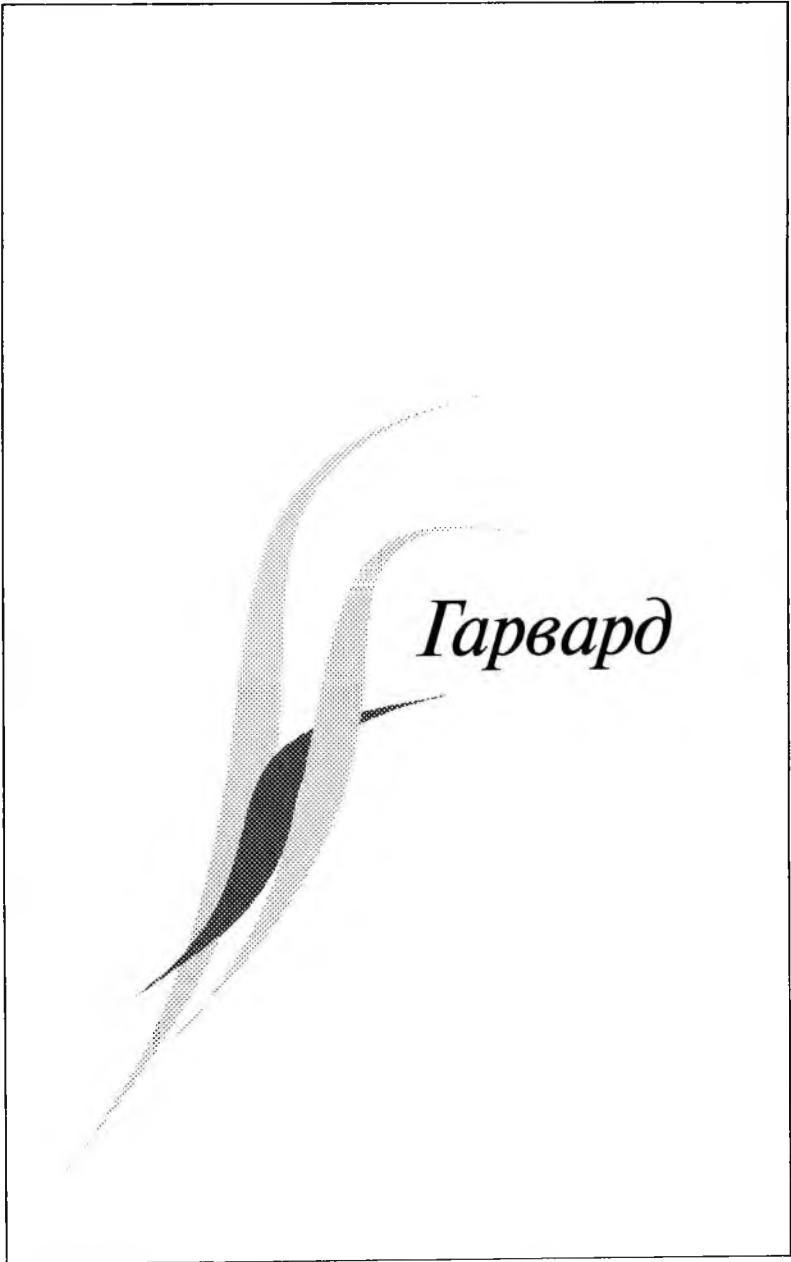
С “простым людом” нашего павильона у меня сложились самые теплые и приятные отношения. Прежде всего, здесь были

“карабиньери”: отборные – лучшие из лучших, к тому же самые красивые, – они радовали посетителей. Их без конца фотографировали, изумляясь высокому росту, как будто итальянцы могли быть только коротышками... Толпа технических специалистов, командированных ФИАТом и “Оливетти”, прибыла из Турина. Весьма сдержанно и несколько свысока смотрели они на римских бюрократов-руководителей, от которых не зависели. Те, кто, похоже, приехал с юга, принимали римскую власть со смиренным безразличием. В обоих случаях я имела дело со служащими, которые первыми смогли воспользоваться плодами итальянского экономического чуда и в 1967 году еще казались вполне довольными членами общества, переживающего подъем. В “низах” царило благодушие. Водоворот 1968 года разведет по разные стороны этих представителей итальянского общества, на время объединенных под крышей павильона Италии: “карабиньери” встанут против рабочих и технических специалистов, бесконечно бастующих, мелкие чиновники – против крупных, служащие – против своих шефов, “народ” – против “власти”. Не ведая об этом, в Монреале я переживала последние мгновения общественного согласия.

Но были уже ощутимы первые приметы назревавшего протеста левой интеллигенции. Я познакомилась с художником Эмилио Ведовой и его женой Бьянкой: они каждый день приходили в павильон проконтролировать подготовку визуального спектакля. Ведова позднее станет проводником духа 68-го года в Венецианской Академии. В разговорах с ними – первых моих разговорах о политике вне семейного круга – меня поразила глубинный антиамериканизм этой четы. Как многие представители левых в Европе, они, казалось, ненавидели Соединенные Штаты, считая эту страну невежественной и жестокой. По непонятным причинам Канаду они, наоборот, ценили. Они были полны воодушевления по поводу кубинской революции. Не оспаривая их левых взглядов, я упорно пыталась объяснить им, что в США значительные силы ведут борьбу за изменения. Не все же империалисты. Они меня почти не слушали, им было все равно, что представляет собой борьба за гражданские права. США вызывали у них антипатию. Любовь к Штатам не входила в их понятие “левизны”. Их суждения устоялись раз и навсегда. Мне было неловко, тем более что я не очень-то улавливала смысл их “революционной” ангажированности, видя,

что они вращаются в светских и вполне защищенных кругах. В самом деле, они воплощали ту смесь интеллигентского снобизма и идеологического милитантизма, которая будет характерной для европейских левых вплоть до 70-х годов.

Итак, этот “элегантный” радикализм, с одной стороны, и спесь бюрократов — с другой, несколько омрачили мою итальянскую мечту. Я избрала для себя американское гражданство и в конце лета 1967 года, распрощавшись с Канадой и итальянским павильоном, направилась в Гарвардский университет.



Гарвард

В сентябре 1967 года я вернулась в Америку и стала студенткой Гарвардского университета. В полном соответствии с американской традицией, родители в этот важный момент, символизирующий вступление в пору зрелости, были рядом со мной. Каждый возвратился к своим делам: отец – в Нью-Йорк, в штаб-квартиру “Эр Франс”, а мама – в атлантический университет для черных, на время поисков нового места в Нью-Йорке. После холодной – как в физическом, так и в метафизическом смысле – Канады Америка приняла нас вновь. Мы были дома. Но здесь – в Атланте, Гарварде и Нью-Йорке – уже веяло социально-политической бурей, которая грозила обрушиться на Америку в конце 60-х годов...

Миф

Гарвард представлял собой не просто университет. Это было нечто большее: миф, обошедший весь мир, один из столпов американской идентичности, оазис, живущий собственными интересами и традициями. Слава Гарварда не ведала границ. Даже моим неаполитанским родственникам что-то говорило волшебное слово “Гарвард” – они произносили его именно так, убежденные, что звук “в” не свойствен американской речи. Повсюду Гарвард был известен как высшее достижение американской системы образования, питомник президентов, символ элитарного духа достигшей богатства демократии, хранилище западной культуры, лелеемой в роскошных библиотеках, своего рода интеллектуальная вершина американской мечты.

Если в мире Гарвард прославился учеными степенями своих выпускников, огромным медицинским факультетом, школой бизнеса и вообще углубленным профессиональным образованием, то в США название “Гарвард” в первую очередь ассоциировалось с колледжем – заведением, по окончании которого выдавался просто диплом о высшем образовании. Колледж был тихой заводью для элиты. Хотя университет и колледж сосуществовали в одном символическом пространстве, публика в них была совершенно разная. За десять лет, с 1967 по 1977, я смогла узнать и университет, и колледж. Однако первый оказался несравненно более интересным и оригинальным.

Между тем, по приезду в Гарвард обнаружилось, что я – жертва недоразумения. Меня привело туда европейское представление об интеллектуальном престиже университета, но по возрасту я подходила только для колледжа. Вопреки своим мечтам о пантеоне науки, я угодила во второй Вестминстер, только более рафинированный. Надеюсь обрести культурный оазис

и приблизиться тем самым к своим европейским корням, я вместо этого попала в замкнутый мирок, гнездо высшего общества WASP. Я-то думала, что близка к общественному признанию, венчающему пирамиду личных усилий, ликовала, что передо мной сияющая вершина универсальных ценностей. Но в этом храме поклонялись традициям и обычаям. Принеся сюда с собой европейский образ Гарварда, я открыла другой Гарвард – тот, в котором торжествовал истинно американский дух.

Воспитанной на Юге, мне было нелегко освоиться в североамериканской “terra incognita”. В Атланте Гарвард считали бастионом враждебного мира, пославшего некогда своих сыновей сражаться с молодыми конфедератами. Через сто лет после Гражданской войны Гарвард все еще оставался воплощением финансовой и интеллектуальной мощи Севера, с точки зрения южной элиты, неизменно “империалистического”. Лучшие ученики Вестминстера, следуя по стопам отцов, как правило, получали образование в крупных университетах Юга – Дьюке, Северо-Каролинском или Вирджинском. Южное воспитание отнюдь не располагало к Кембриджу.

Для девушек с Юга поступление в Гарвард было еще более проблематичным. С Гарвардом был связан Радклиф – женский колледж, созданный в конце XIX века как филиал университета для барышень из хороших семей. В XX веке он стал неотъемлемой частью университета. После второй мировой войны девушки и юноши учились по одной и той же программе, и с 1962 года выпускницам Радклифа вручали диплом Гарвардского университета. Но еще в конце 60-х годов набор студентов производился раздельно: Гарвардский колледж по-прежнему оставался в полном смысле слова мужским колледжем, имевшим женский филиал. В Вестминстере в дни, посвященные профессиональной ориентации, представительницы Радклифа никогда не появлялись. Чтобы получить какую-нибудь информацию, необходимо было перейти Рубикон, разделяющий две половины человечества, и разыскивать в мужской школе представителя Гарварда.

Подобный поступок был почти немислим с точки зрения южного воспитания. Родители отправляли девочек исключительно в женские колледжи, где им обеспечивалось пребывание в невинности до брака. Но если считалось, что Гарвард слишком проникнут духом “янки”, то Радклиф слыл рассадником

свободомыслия и антиконформизма, где интеллектуальное сближение с юношами несомненно чревато половой близостью. Появление здесь “южной красавицы” представлялось совершенно неуместным. Вероятно, мое решение поступать в Гарвард объяснялось, помимо прочего, стремлением порвать с психологией Вестминстера.

Итак, весенним днем 1967 года мы с отцом направились к руководству Приемной комиссии Радклифа. Наслышанная лишь о престиже Гарварда, я не имела никакого понятия ни о нем, ни о Новой Англии, которую представляла себе по романам...

Первые впечатления от окрестностей Гарварда разочаровывали. В 1967 году Бостон еще не имел ничего общего с той блестящей метрополией, в которую он превратился в результате подъема в 80-х годах. Тогда это был неухоженный город, задыхающийся в чаду избороздивших его автотрасс. Он являл наглядную картину деградации мощного промышленного порта довоенной эпохи: в заброшенной гавани дремала “Конституция США” — флагманский корабль первого американского флота, в начале XIX века одержавший победы в великих сражениях с англичанами. Изысканные старые кварталы, где обитали персонажи Генри Джеймса, пришли в запустение. Жизнь теплилась только в квартале красных фонарей, где пили и развлекались матросы в увольнении. Тлетворный дух злочного места ощущался даже у ворот знаменитого в истории Америки Boston Common*, и прямо за элегантными особнячками начинался лабиринт “секс-шопов”. Попадались универмаги, но вокруг них лепилось все больше пыльных лавочек, что свидетельствовало об исходе среднего класса на городские окраины. Здесь же было пристанище ирландцев, узнаваемых по неистребимому акценту; их жилища являли картину беспредельной нищеты. Кажется, американская мечта впала в агонию.

По аналогии с крупными центрами Европы я воображала Бостон рафинированным культурным городом, а Гарвард представлялся мне его жемчужиной. Реальность опровергала мои ожидания, и я убедилась в этом, едва переступив порог гостиницы, где мы остановились. На ближайшей станции метро во всех направлениях сновали плотные людские потоки, вливаясь в вагоны, больше похожие на подземные трамваи со скрипу-

* Исторический район Бостона. — Прим. ред.

чими колесами. В кассе какой-то беззубый ирландец неопределенно махнул рукой в сторону “Гаавада”. По-моему, даже каторжник не позавидовал бы участи лоточников, торгующих напитками и сэндвичами в этом аду. Однако они улыбались и переговаривались между собой среди грохота и толчеи.

Сердце мое затрепетало, когда поезд проезжал над Чарльз-ривер. Всего несколько минут отделили нас от Гарварда и от собеседования, которое решит вопрос о моем поступлении в университет. Чувствуя себя неуверенно, я волновалась: конечно, другие студенты куда способнее меня. Это цвет Америки. Я всматривалась в лица пассажиров, пытаюсь распознать “гарвардцев”. Но они были неразличимы среди всех этих людей в джинсах, с одинаково отсутствующим взглядом. Было утро: вероятно, студенты уже сидели на лекциях. В мелькании станций я открывала ритм моего будущего маршрута. На “Чарльз-стрит”, близ огромного Массачусетского госпиталя, из вагона вышли медсестры в белой форменной одежде, чернокожие жители ветхих домов Бикон-Хилла, позднее вновь принявших достойный вид. На другом берегу реки, в Кендале, в самом центре знаменитейшего на всю Америку технического университета – Массачусетского Технологического института – с поезда сошло несколько молодых людей с логарифмическими линейками в руках. На следующей остановке, “Сентрал Сквер”, высадились необъятные черные матроны в окружении малышей и молодые негры в своих неизменных беретах. Все они направились в сторону лачуг и лавочек, разместившихся на “ничьей земле”, некогда пограничной между двумя гигантскими университетскими комплексами. Наконец, скрежеща тормозами, поезд остановился на Гарвард-сквер. Приехали. Разношерстная толпа ринулась к автобусам, идущим в пригороды. Для жителей Бостона “Гарвард” означал прежде всего узел сети общественного транспорта.

На Гарден-стрит, главной улице, пейзаж изменился. Я впервые увидела книжные магазины и “гарвардцев”, беспечно шагавших с “гарвардскими” зелеными полотняными сумками через плечо. Они благодушно болтали, излучая самодовольство. Я с завистью взирала на представителей особой расы.

На Радклиф-ярд располагались Приемная комиссия, бассейн, административные здания и маленький театр женского колледжа. Чрезвычайно любезная дама стала меня расспрашивать, откуда я родом, как училась, какие у меня планы. Затем

она попрощалась, загадочно улыбнувшись: университет сообщит о решении в течение месяца. Очаровательная студентка провела нас по Радклифу. На тенистых улицах тротуары из красного кирпича кое-где потрескались под напором корней деревьев. На просторных лужайках студентки играли в волейбол или читали, сидя на траве. Наш гид любезно показал нам дортуары, столовую, библиотеку, сияющую чистотой, и с неизменной предупредительностью вывел нас вновь на Радклиф-ярд. Во время этой чисто “дамской” экскурсии не было даже упомянуто об университетских занятиях.

Когда полгода спустя родители оставили меня у порога одного из дортуаров в Радклифском дворе, я еще не знала, как выглядит сам великий университет, готовый меня принять. Я испытывала противоречивые чувства: гордилась, что принята, но робела перед академической репутацией этого заведения и была задета тем, что женщины занимали здесь низшее положение. Я не знала нравов этого закрытого мира, и мне страстно хотелось к нему принадлежать, но в то же время я смотрела на него как бы со стороны, свойственным мне с детства взглядом наблюдателя. Мое смущение перед дверьми храма американской элиты усугублялось тем, что меня приняли сразу на второй курс, а ведь первый курс обычно очень важен для гармоничной адаптации. Здесь вновь сказался мой отрыв от сверстников.

Я вступила в мир Гарварда ясным осенним утром. Регистрация происходила в самом представительном здании университетского городка – Мемориал-холле, возведенном в память воспитанников Гарварда, погибших за дело янки в Гражданскую войну. Члены администрации приветствовали первокурсников и всех новичков, вручая им, в обмен на квитанцию об уплате вступительного взноса, заветное университетское удостоверение, бордовое с белым. Это был аттестат принадлежности к аристократам духа, украшенный гербом Гарварда. Предъявляя его, можно было рассчитывать на уважительное отношение за пределами университетского городка – в самолете, в автобусах, в ресторане. По этому удостоверению все его счастливые обладатели – члены особой привилегированной секты – повсюду узнавали друг друга.

Администрация одарила нас также внушительными программами курсов, по которым следовало составить индивидуальное меню духовной пищи на год. Этим каталогом грез,

приглашавшим к путешествию по лабиринтам знаний, мы могли наслаждаться несколько дней, пользуясь правом посещать любые лекции, прежде чем окончательно остановить свой выбор на определенных курсах.

Приняв в качестве благословения два этих ценных дара, я направилась к Гарвард-ярду, и мне открылось самое сердце первого американского университета, средоточие его великолепия. Вместе с другими заворуженными студентками я увидела колокольню Мемориальной церкви и благородные ступени Уайднера – крупнейшей университетской библиотеки мира. Окружавшие ее красивые здания в колониальном стиле из красного кирпича и разноцветные деревянные домики свидетельствовали о почтенном возрасте Гарварда, основанного в 1636 году, раньше многих университетов Европы. Когда никто еще не помышлял о Соединенных Штатах, по этим приятным тропинкам под сенью огромных деревьев уже прогуливались студенты. Я ощутила причастность к вековой традиции с собственными законами и привилегиями, толщу культурного слоя, в котором прошлое, достойное вершин века Просвещения, переплелось с религиозным наследием. Прекрасным его воплощением была старинная деревянная церковь. Ее серые стены возвышались рядом с Гарвард-сквер, а вокруг нее виднелись надгробия, низко накренившиеся среди нежной зелени кладбищенской травы.

Как было не придти в восторг от библиотеки, где никакой страж не стоял между тобой и этими четырьмя миллионами томов, ожидающими читателей в тиши на своих полках! Так значит, студенты, сидевшие с книгами на траве, такие же, как и мы, имели в своем распоряжении прославленные памятники культуры, в Европе доступные, как правило, только известным специалистам. В отделе рукописей мы могли с карандашом в руке перелистывать подлинный текст Аверроэса или редкие трактаты эпохи Возрождения. И вдобавок все исторические периоды были представлены в университетском музее, где теснились триптихи итальянского Треченто, греческие бюсты, рисунки мастеров Ренессанса, картины импрессионистов и экспрессионистов. Накопленные тысячелетиями знания лежали перед нами, и оставалось только выбирать.

Ошеломленная этим богатством, я смутно ощущала, что культура, которой нас здесь так щедро потчуют, – это продукт импорта в красивой упаковке, законсервированный, как

драгоценность в витрине. Оторванная от породившей ее жизни, она реяла над нашими головами, как изысканный символ далекого мира гуманизма. Большой частью эти осколки европейской культуры некогда были куплены, а затем переданы университету представителями элиты. Самоубийственные распри старого континента являлись дополнительным аргументом в пользу права собственности новых владельцев. Однако эти шедевры, бережно сохраненные далекими американскими наследниками, чем-то были сродни жирафам, зебрам и слонам в королевских кунсткамерах — такие же экзотические, из дальних стран доставленные редкости.

В действительности истинными драгоценностями гарвардской культуры были не книги или редкие вещи, собранные университетом на протяжении веков, а здания, где они хранились. Роскошные постройки — дар богатых воспитанников — как нельзя лучше воплощали фундаментальную для протестантской этики идею ответственности каждого перед общиной. Их можно было сравнить с храмами, которые возводили некогда монархи-католики. Великодушному дарителю обеспечивалась слава в потомстве: зданию присваивалось его имя, а портрет занимал почетное место в вестибюле. Таким образом, каждый студент или преподаватель, поднявшись по ступеням библиотеки, видел прямо перед собой огромный портрет молодого Гарри Элкинса Уайднера, воспитанника Гарварда, погибшего на затонувшем “Титанике”. В память о нем его родители построили внушительную библиотеку, которая стала поистине важнейшим органом интеллектуальной жизни университета. В похожем на часовню зале поместили несколько полок с книгами, принадлежавшими юному Уайднеру. Так фамилия, которая могла бы блистать лишь в узких финансово-торговых кругах, оказалась надписанной на каждом томе одной из величайших библиотек мира. Но не стоит усматривать в столь персонализированной форме филантропии признаки мании величия. И дарители, и те, кто пользовался даром, рассматривали эти баснословные пожертвования как справедливое обращение личных накоплений в общественное достояние.

Так что история Уайднера была лишь одним, самым знаменитым примером распространенной культурной практики, благодаря которой Гарвард и все прочие американские университеты украсились достойными на вид и удобными зданиями.

Тому же характерному для протестантской этики сочетанию непобедимого индивидуализма с общественным служением студенты были обязаны и устройством их быта. Жилые дома — “хаусы” — построили в 20–30-е годы щедрые “alumni”*, желавшие воссоздать таким образом обстановку Оксфордского и Кембриджского колледжей, свести к минимуму значение социальных различий между студентами, помещенными в одинаковые условия.

Престиж университета обеспечивала его интеллектуальная жизнь, однако это была только одна из граней его бытия. Хранители традиций — деканы, профессора, возглавлявшие “хаусы”, стремились представить студентам колледжа, любимым питомцам университета, широкий спектр всевозможных профессиональных дорог, которые когда-то будут для них открыты. Для воплощения в своих стенах модели “взрослой” жизни Гарвард пополнял ряды студентов не только молодыми людьми, особо отличившимися в плане интеллектуальном, но и всеми, кто обладал каким-либо талантом — в области музыки, искусства, спорта, а кроме того, все они были представителями различных социальных слоев. Здесь попадались вперемежку и “папенькины сынки” из Новой Англии, и самые обездоленные негры, и блестящие евреи, а теперь среди студентов встречаются и юные гении азиатского происхождения. Вся эта пестрая публика играла важную роль в формировании гарвардской идентичности. Академические успехи составляли лишь один из элементов многогранного понятия “гарвардца” — почти как в Вестминстере, с той разницей, что в Гарварде евреи уже занимали свое законное место на пиру избранных, а негры готовились занять свое.

Традиции и обычаи университета были призваны сплотить эту неоднородную массу студентов, совершенно разных по склонностям и интересам, способствовать сохранению особого “гарвардского” отпечатка в их дальнейшей жизни, кем бы они ни стали — адвокатами, врачами, банкирами, журналистами, преподавателями, исследователями, бизнесменами, художниками или писателями. Обычно для начала в университетском кооперативном магазине покупалась майка с надписью огромными бордовыми буквами: “Гарвард”. Постепенно гарвардец

* Воспитанники (лат.).

обрастал вещами с этим “фирменным знаком”: им были помечены тетради, рюкзаки, стаканы, ручки, галстуки и куртки, и даже кальсоны. Все это хозяйство венчали “Harvard chairs”* — огромные, очень дорогие кресла из черного дерева, которые становились украшением кабинета выпускника, наряду с дипломом, вставленным в рамку.

Заняв высокое положение, он вспомнит об “alma mater” и, в зависимости от своих доходов, преподнесет ей либо просто чек, либо кафедру, либо здание. Таким образом, важнейший урок, который надлежало усвоить студентам Гарварда, заключался в том, что индивидуалистические амбиции совместимы с заботой о благе общества. Этим же объяснялась и прочная слава самого Гарварда.

Здесь с уважением, почти благоговейно относились к воле щедрых дарителей, что заметно сказывалось на жизни университета. Когда рядом с Уайднером построили учебную библиотеку для хранения самой расхожей, повседневно необходимой студентам литературы, то соединить оба здания оказалось невозможным. В дарственных документах существовала оговорка: библиотека Уайднера должна оставаться в неизменном виде, без каких-либо пристроек. Потребовалось все хитроумие американских адвокатов, чтобы обосновать возможность соединения зданий посредством подвешеного перехода, идущего прямо из окна Уайднера и не нарушающего целостность его стен. Никому и в голову не могло придти оспаривать во имя интересов коллектива дарственную или последние распоряжения благодетеля. Поскольку опорой общественного порядка является личность, ее воля незыблема.

Как истинная якобинка, убежденная в приоритете общественных интересов, я терялась перед таким применением индивидуалистической философии в целях общего блага. Еще в большей степени меня шокировали признаки сходства Гарварда с “частным клубом” и зависимость его благосостояния от капитала богатых людей.

В годы моего обучения принцип женского равноправия был еще совершенно чужд духу Гарварда, что весьма впечатляюще проявлялось как на уровне чисто символическом, так и в самых незначительных мелочах. Необъяснимые с точки зрения логики

* Гарвардские кресла (англ.).

взаимоотношения между Гарвардом и Радклифом зиждились на хитросплетении уставов, завещательных распоряжений и обычаев. Девушки и юноши слушали одни и те же лекции, сдавали одни и те же экзамены и получали одинаковые дипломы, но по-прежнему жили в двух совершенно несхожих мирах. Воспитание девушек в Радклифе соответствовало глубоко традиционным ценностям американского общества, здесь готовили образованных женщин, будущих жен гарвардцев, а следовательно, матерей будущих гарвардцев. Формирование независимости мышления у молодых женщин вовсе не предполагало их независимости как таковой. Согласно представлениям, принятым в высшем обществе, на женщину прежде всего возлагалась ответственность матери; правда, она могла еще заниматься благотворительностью, добровольной общественно-полезной деятельностью. Этим ограничивалась ее жизненная сфера. Не было и речи о том, чтобы проникнуть в бастион свободных профессий, занятый мужчинами.

В 1967 году эти культурные установки, пока еще авторитетные, все же понемногу стали утрачивать влияние на умы. Довольно много девушек из нашего выпуска впервые было направлено на медицинский и юридический факультеты, только что открывшие двери для женщин. Мои сокурсницы еще не освободились от пиетета перед обычаями, и я твердила им, что в Европе уже не одно десятилетие женщины выбирают свободные профессии адвоката или врача именно для того, чтобы шире распоряжаться своим временем. Меня слушали заинтересованно, но недоверчиво. Неужели Европа могла придумать что-то лучшее, чем США?

По правде говоря, я считала разделение Радклифа и Гарварда совершенно абсурдным. Мне было непонятно, почему университет ежегодно набирает тысячу двести юношей и только четыреста девушек. Для принятых девушек это лестно, но по существу — несправедливо. Среди разных проявлений неравноправия меня особенно возмущало вопиюще несправедливое распределение стипендий, премий и наград, учрежденных поколениями благодетелей для студентов Гарвардского колледжа. Эти поощрения были недоступны студенткам, так как чисто юридически они не являлись воспитанницами Гарварда. Некоторые из наград существовали еще до основания Радклифа, другие же были учреждены дарителями, специально уточнившими,

что они предназначаются только для юношей, – например, престижная стипендия Роудза, позволяющая поехать в Оксфорд. Сесил Роудз, “крестный отец” Родезии, был заклятым женоненавистником, одним из тех, кто старался не допустить, чтобы студентки Радклифа высунули нос за пределы отведенного им мирка. Университетское руководство находило все это вполне нормальным, – и не только мужчины, но и их коллеги-женщины, заинтересованные в особом статусе Радклифа как гарантии сохранения их должностей.

Итак, чтобы попасть на лекции, нам приходилось затрачивать на дорогу целых двадцать минут, а молодые люди расселились в самых лучших дортуарах, на берегу реки, в двух шагах от любых мероприятий. И что намного важнее, никто не верил, будто нам уготовано какое-либо интеллектуальное будущее. В огромном каталоге Уайднера работы лиценциатов обретали свое место рядом с шедеврами человеческой мысли: нередко, разыскивая труды крупного ученого или мыслителя, можно было наткнуться на его юношеское сочинение. Что же касается девушек-лиценциатов, то их работы фигурировали в архивной картотеке библиотеки Радклифа, куда никто никогда в жизни не заглядывал. Заняв первое место среди бакалавров-историков, я была награждена чеком на 25 долларов, в то время как лучший среди юношей, несмотря на менее высокую оценку, получил тысячу. Юношам полагалась “настоящая” премия, девушкам – символическая, “со скидкой”, ведь результат их работы ни в коем случае не стоило воспринимать всерьез.

Гарвардская система “хаусов” по-своему отражала это неравноправие. Студенты трех старших курсов, будущие бакалавры, жили в “домах”, каждый из которых представлял собой особый мир. Главой “дома” был уважаемый профессор: он жил здесь вместе с семьей, так что студентам предоставлялась возможность общения с преподавательским составом в неформальной обстановке. Молодые преподаватели и аспиранты, завершавшие докторские диссертации, участвовали в жизни “дома” в качестве членов научного сообщества. Здесь они обедали и ужинали, выступали в вечерних дискуссиях, благоговейно присутствовали на приемах с коктейлями, которые устраивал “master” один-два раза в месяц. Эти “коктейли”, где подавался только белый или красный херес, представляли собой священный миг в светской жизни Гарварда. Вокруг “master’a” собирались “ста-

рейшины”, почтенные профессора с мировым именем, а то и нобелевские лауреаты, именитые гости, проездом остановившиеся в Гарварде, а также научные сотрудники, средний и младший преподавательский состав. Блестящие студенты последнего курса лишь изредка допускались в собрание иерархов. В книжечке для абитуриентов, рассказывающей о Гарварде, обширное место отводилось фотографиям подобных собраний, словно они давали возможность студентам участвовать в некоем сократическом форуме. На самом деле большинство из них посещали в своем “доме” скромные семинары под руководством младших преподавателей, будущих докторов. Но эти тонкости не имели значения. Важно было встроиться в длинную цепочку, а там уж, звено за звеном, приближаться к обществу нобелевских лауреатов. Преимущество такой системы, заимствованной в Оксфорде и Кембридже, заключалось в том, что пребывание в университете обогащалось личными контактами. Тем более что каждый “дом” отличался своеобразием: в одном отдавалось предпочтение спорту, в другом преобладали литературные или научные интересы, а между студентами, делившими квартиру на двоих или на троих, завязывалась дружба на всю жизнь.

В несчастье, система “домов” в Радклифе была не более чем карикатурным подобием гарвардской. В конце 60-х годов ни “master’a”, ни “научного сообщества”, ни младших преподавателей здесь не было. Квартиру “master’a” занимал аспирант с семьей, готовивший докторскую диссертацию. Как правило, он мог поделиться со студентками лишь собственной озабоченностью по поводу написания диссертации и поисков работы в университете, а его жена олицетворяла унылый образ молодой матери, изнемогающей в единоборстве с хозяйственными трудностями. Наши “директрисы”, деканши Радклифа, независимые от Гарварда, были девицами лет пятидесяти, в свое время воспитанными по модели “служительницы общества”. От них веяло неудовлетворенностью, причем некоторые искали утешения в крепких напитках. Призванные быть нашими советчицами, помогать нам в выборе пути, они производили впечатление неудачниц и служили разве что отрицательным примером. Нелепость их роли и положения символизировала субботняя вечерняя трапеза, когда они собирали тех, кого не пригласил никто из юношей, вокруг подноса с “молоком и печеньем”.

Поскольку общение с радклифской компанией меня не прельщало, я решила сосредоточить все внимание на занятиях, предавшись им с пылом и серьезностью, достойными диссертанта. Но и на сей раз я пыталась идти против течения. На первых курсах учеба вовсе не была так важна, как мне казалось: хорошие отметки играли не самую существенную роль в университетской жизни. Ведь успех по-американски достигается в результате куда более тонкого взаимодействия таких компонентов, как образованность, разносторонний опыт, контакты, труд.

Я ожидала, что преподаватели откроют мне кладезь знаний, и на меня падет свет их утонченности и оригинальности, а увидела перед собой пеструю смесь персонажей, по которой можно было судить о социальном расслоении, но никак не отражающую собственно научных интересов. В гарвардской галактике конца 60-х годов вращалось три типа преподавателей – выходцы из американской элиты, европейские эмигранты и люди нового класса “парвеню”, достигшие успеха не столько благодаря происхождению или наследству, сколько собственным трудом. В первой группе преобладали потомки известных своим традиционализмом семейств Новой Англии; Гарвард был им знаком с детства, так как история семьи переплеталась с историей университета. Они принадлежали к поколению довоенной закалки, к тем, кто защитил докторскую диссертацию в “Оксбридже”, а затем возвратился домой. Для этих приверженцев традиции форма преподавания значила не меньше, чем содержание. Большей частью именно они с присущей им элегантностью вели курсы литературы. Достижения учеников мало их заботили, – лишь бы студенты получали приличные оценки, позволяющие им побывать в Оксфорде или Кембридже, а затем заняться правом и бизнесом, взирая на мир несколько отстраненно, как полагается порядочным людям, призванным разумно управлять ходом вещей.

Эти профессора считали себя наследниками эллинского мира, последними носителями его идеалов физической и интеллектуальной культуры и братства. Они стремились воссоздать в Гарварде античный форум – конечно, исключительно для мужчин. Исполненные чувства мужского превосходства, сквозившего даже в преувеличенной любезности по отношению к немногим девушкам, посещавшим их лекции, эти женоненавистники были глашатаями заведенного порядка, который

надлежало сохранять любой ценой. “Ученые джентльмены”, педагоги в благородном смысле слова, они могли быть авторами одной-двух популярных книжек, но главным их призванием было преподавание. На экзаменах они давали нетрудные темы и не скупилась на хорошие отметки. Их безукоризненно составленные курсы лекций славились по всему университету как “trots” – непереводимое слово, возможно, указывающее на то, что они легко усваивались. Из двух таких “шпаргалок” по истории одна, посвященная европейскому флоту, была известна под кодовым обозначением “лодки”, другая, по военной истории, – под названием “стремя”. Это было бесценное подспорье для бездарей, спасательный круг для потомков старой элиты, чья лодку раскачивали волны общественных перемен.

Группа преподавателей – беженцев из Европы, сравнительно немногочисленная, пользовалась, однако, широким влиянием. В отличие от американских коллег, эти профессора, в основном немецкие евреи, олицетворяли культуру ушедшей Европы. Получившие фундаментальное образование в старых университетах Германии, они сторонились общества WASP, относясь к нему свысока. Они были требовательны к студентам, не переносили посредственности и презирали американский принцип “разностороннего” воспитания. Чувствуя себя хранителями ушедшего прошлого, исчезнувшей Европы, они, несомненно, сыграли значительную роль в распространении в Соединенных Штатах трагического мировоззрения, чуждого традиционному эмерсоновскому оптимизму. Это были старые мудрецы, близкие к закату жизни, и их стойкий акцент убедительнее всего свидетельствовал о том, что американизация для них невозможна.

Наконец, третья группа состояла из более молодых преподавателей, учившихся уже после войны. Их интересовала скорее исследовательская, чем педагогическая деятельность. Преподавание порой доставляло им удовольствие, но отнимало у них драгоценное время, необходимое для научной работы. В противоположность старым профессорам – представителям элиты, они не исповедовали никакой педагогической философии, а положение в обществе давал им только их служебный статус. Они были профессионалами, чья карьера определялась научной деятельностью, и вели жестокую борьбу за место в университете. Их позитивизм и честолюбие контрастировали с интеллектуаль-

ным дендизмом старых профессоров-американцев и классическим гуманизмом эмигрантов. Для них университет представлял собой разновидность бизнеса. Но и они, дети более демократичной эпохи, делившие жизнь между Вашингтоном и университетской башней из слоновой кости, не допускали в свою среду женщин.

В отличие от профессоров, проходивших серию “обрядов инициации”, прежде чем быть избранными в круг равных, чиновники-администраторы, казалось, оставались в тени. На самом деле они-то и играли первостепенную роль, будучи гарантами “вечного” Гарварда. В их ведении находились связи с прежними alumni, коллективные ценности Гарварда, футбольные команды, библиотеки и весь механизм, обеспечивающий быт университета и его неповторимую атмосферу. Студенты, как и преподаватели, не имевшие собственной кафедры, приходили и уходили, а они оставались. Хотя профессора посматривали свысока на этих “сидящих на окладе” функционеров, именно они обладали подлинной властью. Продолжатели традиций “разностороннего воспитания”, именно они, подобно дворецкому в замке лорда, хранили очаг Гарварда.

В конце 60-х годов для всех этих групп начинался кризис, между ними вспыхивали конфликты. Драгоценный мир обычаев и традиций терял равновесие. Надвигался конец “Старого Режима” – отшлифованного до блеска, но затхлого. Однако пронесется вихрь протеста и поверхностных реформ – и университет вернется к прежним устоям, корпоративизму и нерушимым традициям.

Кампус

Счастливых избранных воспитывали структуры и традиции, но атмосферу университета с ее особой закваской определяли сами студенты. Отбирая лучших из лучших, методически смешивая в нужных дозах социально-географические компоненты, различные дарования, Гарвард получал в свое распоряжение полный диапазон человеческих возможностей и формировал самый разноликий студенческий состав в стране. Это было тем важнее, что, согласно укоренившейся американской традиции, годы, проведенные в колледже, ценились прежде всего как форма познания жизни, и опыт студенческого общежития сам по себе значил больше, чем обучение. Отношения соседей по комнате, наперсников, деливших общую юность, имели ключевое значение в университетской жизни. В дальнейшем они оставались друг для друга свидетелями успешной или неудавшейся биографии.

Гарвард отлично справлялся с задачей набора. Каждый студент сочетался со своим “двойником” и с антиподом. Бок о бок сосуществовали здесь представители элиты WASP – выпускники подготовительных школ Восточного побережья – и дети фермеров со Среднего Запада, скромных коммерсантов из Калифорнии, еврейских интеллигентов, флоридских “реставраторов”, нью-йоркских адвокатов. Некоторое количество ирландцев из бедных кварталов Бостона, чернокожих из больших городов, техасцев с огромных ранчо и пуэрториканцев дополняло гамму социальных типов, отражавшую географию населения Америки. Вкусы и таланты составляли сложную алхимическую смесь: в этой среде попадались музыканты и юные гении науки, монахи и спортсмены, чемпионы по шахматам и танцоры, художники и поэты, актеры и фотографы, философы и общественные лидеры или же будущие политики, без пяти минут бизнесмены и аскеты. У каждого были свои предпочтения,

надежды, амбиции, и все это сообщество кипело энергией. Многообразие происхождений и предполагаемых карьер включало конкуренцию, в отличие от Франции, где студенчество довольно однородно по составу.

На подступах к этой мозаике я предвкушала, что мои университетские будни станут нескончаемой чередой бурных дискуссий с блестящими молодыми людьми, свободными от семейных обязанностей, что я попаду в своего рода новый Латинский квартал, где должен царить — казалось мне — английский дух товарищества среди тех, кто варится в этом “котле по-американски”. Мечта эта, плоть от плоти американских ценностей, скоро рассеялась. Все слышнее становился ропот протеста, а социокультурные различия, вовсе не располагаая к открытости, на деле диктовали типовой образ поведения: каждый искал опору в том, что его обособляло. В частности, на отношениях между девушками и юношами по-прежнему лежала печать сексуальных комплексов и условностей, уже знакомых мне по Вестминстеру. И вообще, большинству студентов присуща была удивительная склонность сортировать, классифицировать людей в зависимости от их происхождения и вкусов. Так что речь тут шла не столько о “перемешивании” в “котле”, сколько об отборе в океане человеческих альтернатив.

Главный водораздел проходил между “преппи” и всеми остальными. “Преппи”, подготовишки, — это студенты из англосаксонской элиты, окончившие подготовительные школы на Восточном побережье. Практически они зачислялись вне конкурса, потому что чаще всего были потомками бывших гарвардцев и представляли истеблишмент. В гарвардском микрокосме им принадлежало особое место и подчеркнута своеобразная манера одеваться. Они демонстрировали некий небрежный шик; для их “формы” качество материала и фирма значили куда больше, чем вид и состояние одежды: это были “шетландские” пуловеры пастельных оттенков с вывязанными жгутами, тенниски “Лакост”, бархатные штаны, полосатые рубашки от “Братьев Брукс” и “хarrisовские” твидовые пиджаки. Все было потрепанное и до дыр протертое — в этом заключался верх изысканности для истинного представителя WASP. И последняя деталь: необходимы были стоптанные башмачищи, разумеется, надетые на босу ногу, а зимой — охотничьи ботинки из магазина “Л.Л.Бин”, — то был предел достижимого в рамках небрежного

стиля WASP, там же покупали обувь для своего досуга послы и президенты. “Униформа” девушек состояла из такого же пуловера, под который надевалась блузка с круглым воротничком, из туфелек-“балеринок” и джинсов. Серьги и браслеты были обязательным дополнением к их “простенькому” наряду.

Сегодня эта мода завоевала всю Европу. Но в 60-е годы никому, кроме членов англосаксонского истеблишмента, не пришло бы в голову подчеркнуть ее признаки в своем костюме. Деньги тут роли не играли. Просто эти свитера, рубашки, ботинки были знаком принадлежности к определенному классу, группе, среде. Евреям, разбогатевшим черным, представителям среднего класса было бы вполне по средствам подражать касте WASP. Но это означало принять для себя ее ценности, признать ее традиции – позиция, немыслимая в Америке 60-х годов. Сегодня, напротив, стиль “преппи” демонстрируют все социальные группы – будь то евреи, черные или “чиканос” – как свидетельство определенного достатка. Однако двадцать лет назад этот стиль откровенно и беззастенчиво афишировал принадлежность к Америке, обладающей властью и привилегиями.

Кроме внешних признаков, “преппи” отличались особенностями своего общественного бытия. Еще до поступления в Гарвард они имели свой круг общения, сложившийся в подготовительных школах и клубах местной элиты, где состояли их родители. Чаще всего со своим будущим соседом по комнате они были знакомы заранее. Самые богатые, самые известные из них становились членами гарвардских клубов, куда по английской традиции вступали путем кооптации. Таким образом, они продолжали жить в своем собственном мире, проверяя курс своих акций на бирже, и даже если бы кто-то из них вздумал немного пообщаться с прочими, ему пришлось бы столкнуться с изрядными трудностями. Их замкнутому элитарному микромиру противостояла стена враждебности, воздвигнутая остальным студенчеством. WASP были обречены на блистательное одиночество – альтернатива отсутствовала.

На противоположном полюсе особую группу составляли черные. Представляя меньшинство, они оградил себя стеной своеобразной автосегрегации, в соответствии с идеологическим радикализмом тех лет. Многие из них, принадлежа к буржуазной среде и получив воспитание в элитарных школах, тем не менее вели себя, как положено обездоленному меньшинству,

демонстрируя свою солидарность с “братьями и сестрами” из гетто. Давление группы было так сильно, что никто из них не решился бы примкнуть к обществу белых. Прическа в стиле “афро” и африканская рубашка – никто не отваживался “изменить делу”, связываясь с белыми (ведь они заведомо считались расистами), и даже – тем более! – с теми либералами, которые, между прочим, за них же боролись. Несмотря на мои атлантские знакомства – или, возможно, как раз из-за них, – я так и не смогла наладить каких-то живых контактов с этим высокомерным меньшинством.

В Гарварде я надеялась встретиться с авангардом нового американского общества – открытого и терпимого. Обострившаяся обстановка конца 60-х годов была от этого далека. Между WASP, занимавшими оборонительные позиции, с одной стороны, и черными, замкнувшимися в своей враждебности, – с другой, между этими двумя бастионами комплексов располагалось доступное мне общество представителей средних классов белого населения: дети еврейских коммерсантов с Восточного побережья, фермеров Среднего Запада или калифорнийских чиновников. В своем роде завоеватели, гарвардцы первого поколения в своих семьях, они движимы были честолюбием и энергией, отражавшими, по-видимому, степень непрочности их положения. Дети демократического индивидуализма, они чувствовали, что свободны – в том числе в выборе знакомств. Гарвард означал для них подтверждение того, что они могут войти в элиту: это было идеальное вступление к их будущей жизни. В отличие от WASP или от черных, за которыми тянулись все их связи и привычки, белым среднего класса предстояло все открыть и построить заново. “Перемешивание” происходило именно в этой разнородной группе, объединенной, однако, общими устремлениями.

Разнообразие и тут, впрочем, имело свои ограничения, обозначенные прежде всего неизбежной “униформой”, хотя и неформальной. Костюм юношей состоял либо из джинсов, либо из черных или бежевых полотняных брюк, из свитера (без “жгутов”) и клетчатой рубашки. В глазах девушек среди них были “безнадежные”: погруженные в свои книги, они носили черные ботинки с белыми спортивными носками и бежевыми брюками, да еще и очки с толстыми стеклами. С другой стороны, были “сносные”: они совершали некоторые усилия над собой,

вспоминая материнские наставления. Это была знаковая игра, основа основ в период жизни, когда каждому необходимо утвердиться в определенной идентичности.

Кроме различий – прежде всего социальных – между элитой, черными и студентами из среднего класса, всеобщее перемешивание ограничивали и другие препятствия, связанные с разностью интересов и темпераментов. “Интеллектуалы” презирали “спортсменов” (нередко ими были “преппи”), “художники” не понимали тех, кто занимался общественными науками, литераторы потешались над естественниками, любители классической музыки противопоставляли себя поклонникам рока, “консерваторы”, чье поведение и манера одеваться не выходили за рамки традиций, не снисходили до общения с “хиппи”, которые своим видом демонстрировали контркультурные воззрения, “стриженые” отворачивались от “патлатых”: все было проникнуто духом снобистской нетерпимости, категоричных суждений, весьма модных в те времена.

Получив воспитание в Атланте в среде англосаксонской элиты, имея знакомства среди черных, сформированная европейской культурой, – я в действительности не имела понятия о среднем классе, принадлежать к которому мне было предопределено в силу социального и финансового положения моих родителей. Таким образом, в дортуаре, куда меня поместили, населенном в основном студентками, изучающими общественные науки, я впервые окунулась в гушу того самого слоя, который был воплощением Америки на переломе. Его усиливающаяся растерянность отражала глубокие социально-политические потрясения в стране. В этой среде обучение склонны были воспринимать всерьез. Среди WASP, “артисток” и “socialites”* (их “балам дебютанток” ежегодно посвящала самые видные полосы “Нью-Йорк Таймс”) я могла бы встретить более отстраненных, более индифферентных к политическим движениям соучениц. В Норт-Хаусе, напротив, мое повседневное бытие окажется втянутым в американский водоворот тех лет.

Итак, бок о бок со мной жили студентки, собравшиеся со всей Америки: техаски, для которых приезд в Радклиф был все равно что путешествие в Старый Свет, постоянно тосковавшие, однако, по своим вольным просторам; “американо-еврейские

* Заметные особы (англ.).

принцессы” из Калифорнии — от них веяло довольством, а вечные еврейские ценности сочетались в них с чутким к современности калифорнийским духом; юные ирландские католички, уроженки Бостона; дочери университетских преподавателей-евреев и нью-йоркских чиновников-протестантов, флоридские красотки и фермерские дочки, сознающие свою провинциальность. Несмотря на разницу происхождения, для всех этих “клиффи” общим было стремление “достичь успеха” и ощущение, что их прошлое ни в коей мере не тяготеет над будущим. Они чувствовали себя вполне свободными. Семья была лишь отправным пунктом в их жизни, целиком обращенной в будущее. Не так уж важна была их религиозная принадлежность — все они в действительности были воспитаны в протестантском духе и глубоко проникнуты чувством личной ответственности. Работа, досуг, разговоры — ко всему они относились с подчеркнутой серьезностью, плохо маскировавшей их хрупкость. Но говорили они в основном о себе, о том, кем они были и хотели бы стать, о своих страхах и своих амбициях. Что касается политических потрясений в Америке, они обсуждали их как некий добавочный элемент, лишь усиливавший их внутреннюю тревогу.

Этот полный неуверенности эгоцентризм легко объяснялся: перед ними не существовало заведомо закрытых дверей, жизнь в семье уже не давила на них, а если не хватало денег, можно было занять или подработать, — словом, для них не было ничего невозможного. Вдали от мелких материальных забот, вдали от взрослых, в искусственной замкнутой среде они могли предаваться своим подростковым страхам. Суть в том, что мы занимали маргинальное положение относительно юношей. Мужской и женский миры пересекались лишь благодаря “свиданиям”: как правило, субботними вечерами юноши приглашали девушек на “романтический” тэт-а-тэт. Сей ритуал, закрепленный пуританскими традициями, консерватизмом общества, являлся собой единственно возможную форму контакта между юношами и девушками, в то же время ограждая их от излишеств в сексуальной сфере. В Гарварде, таким образом, я вновь столкнулась с узким формализмом Вестминстера. Та же протестантская этика и здесь приносила те же печальные плоды. Мне вспоминались веселые прогулки, беззаботная дружба с моими итальянскими приятелями: вместо всего этого здесь мне была доступна только искусственность натянутых “свиданий”.

Этот церемониал свидетельствовал о трудности взаимоотношений в среде человечества, разделенного на два лагеря, обнаруживая, однако, что игра стоит свеч. Действительно, добрая половина студенток Радклифа знакомилась с будущими мужьями уже на первых курсах. Так что за несколько тысяч долларов можно было надеяться обеспечить себя и перспективным дипломом, и столь же многообещающим мужем: капиталовложение было прибыльным. Охота за “бойфрендом” иногда даже оказывалась важнее занятий: в конце концов целая жизнь могла зависеть от удачного “свидания”.

На матримониальном рынке гарвардцы котировались весьма высоко, хотя, в силу многослойности американской элиты, им принадлежало здесь не столь выдающееся место, как студентам Политехнической школы в коллективном воображении француженок. Однако в районе Бостона, начиненном колледжами и университетами, считалось, что если девице удалось подцепить гарвардца, то ей крупно повезло, особенно — если ее избранник учился в Гарвардской школе права или в Медицинской школе. В этой суровой борьбе, полагала я, все преимущества явно на стороне “клиффи”: кто, если не мы, идеально гармонирует со студентами Гарварда? А то, что нас мало, должно гарантировать каждой из нас усердные ухаживания сразу нескольких претендентов. На самом же деле мы казались чересчур умными, в нас не было достаточной готовности восхищаться героями Гарварда. Студентки довольно посредственного колледжа, где преподавали основы ухода за грудными младенцами, пользовались большим успехом. Они-то нередко с лету и подлавливали какого-нибудь юношу из Гарвардской школы права, искавшего не столько равную себе подругу, сколько добропорядочную супругу и будущую мать.

Как объяснить такое женоненавистничество у студентов с широким кругозором, антифеминистические предрассудки в стенах самого престижного университета Соединенных Штатов? Как объяснить, что молодые люди могли бояться общества умных девушек? Что за странное племя!.. Кстати, иногда я задаюсь вопросом: быть может, мое болезненное отношение к американской культуре, моя неспособность ее принять, вплоть до желаний уехать из Соединенных Штатов, были вызваны в значительной степени этими нелепо-напряженными, замешанными на страхе и чувстве вины отношениями полов? Во всяком случае, странные тут царили обычаи.

Прежде всего, в этом относящемся к высокой этнологии ритуале “свиданий” важно было то, что вы могли сказать окружающим: “Мне назначили свидание”. Кто избранник (-ца), должно было оставаться тайной: ее обнародовали только в том случае, если приятно провели вечер. Пользоваться успехом – вот что было жизненно важно для девушки. Нет “свиданий” – значит, нет успеха в свете, а это – социальная смерть, метафизическое ничто. Не могли служить альтернативой ни встречи в компании, ни знакомства с друзьями подруг. Испытание было индивидуальным, отбор – беспощадным. Возможен был только один обходной маневр: “свидание вслепую”, которое устраивала пара для двух своих друзей, незнакомых между собой. Чаще всего это кончалось неудачей; приступить к ухаживаниям прямо с порога было слишком трудно: незнакомец и незнакомка сверлили друг друга глазами, проверяя свои впечатления, а также произведенный эффект. Итак, приходилось включаться в игру, пускаясь на поиски кандидата в “бойфренды”.

Путь первый: лекции или семинары. Для протестантского менталитета это рабочее время, а дело нельзя путать с удовольствием. Кроме того, трудно по необходимости ежедневно встречаться с бывшим партнером по “свиданию”, если вы с ним не нашли общего языка. Уж лучше было охотиться за мальчиками, приходившими в библиотеку Радклифа с тем, чтобы, поглядывая в книгу, одним глазом коситься на “клиффи”. Результат, однако, не всегда был... убедителен. Оставалось посещение “миксеров” – вечеров, где юноши и девушки собирались на танцы, составляя “смешанное общество”. Обе группы сначала держались по разные стороны. Затем начинала звучать музыка, зажигался яркий свет, и состязание считалось открытым. Девочки оставались стоять до тех пор, пока мальчики их не пригласят. Во время танца происходило знакомство и обмен несколькими фразами, заглушаемыми грохотом “хард-рока”, бывшего тогда в моде. При благоприятном развитии событий идущий следом медленный танец позволял вступить в более подробный разговор. На самом деле “миксеры” посещались в основном девицами из скромных колледжей, которые приходили сюда попытаться счастья в обществе гарвардцев. “Клиффи”, отличаясь снобизмом, устраивали свои собственные вечера, “джоли-ап”, куда являлись только достаточно отважные молодые люди, не боявшиеся встретиться лицом к лицу с опасными умницами.

Искусство “клиффи” заключалось в том, чтобы отыскать идеальную добычу, юного гарвардца с последнего курса, и суметь отвязаться от надоедливых аспирантов или неуклюжих, нелепо вырядившихся парней из Технологического института.

Даже у себя в Радклифе нам приходилось ждать, пока нас выберут. Музыка гремела так же оглушительно, медленные танцы были так же тягостны, как и на более массовых “миксерах”. Соблюдались те же правила: три танца подряд означали, что дело в шляпе. Остаток вечера можно было провести спокойно, просто болтая, чтобы получше познакомиться. Происходил обмен адресами, молодой человек давал обещание позвонить. Но главное, он не должен был сразу назначать свидание. Надо было подумать, выждать какое-то время. Не возбранялось также встречаться с другими. В итоге этого мероприятия кто-то терпел унижительное фиаско — такие рано удалялись, не получив приглашения на танец; некоторые оставались недовольными: им не попался никто, достойный интереса, — одни только “ничтожества”, неудачники; застенчивые не были уверены в том, что они действительно по-настоящему понравились; а кое-кто пребывал в тревоге: они танцевали с мальчиком, который затем пригласил другую партнершу, но еще надеялись, что он передумает; наконец, были и такие, кто в экстазе витал в облаках. Так, одна из моих подруг по прошествии нескольких лет вышла замуж за того самого мальчика, с кем впервые танцевала на первом своем “миксере”.

Три дня спустя наставал момент истины. Мальчики должны были звонить во вторник вечером с тем, чтобы пригласить нас на следующую субботу. В этот вечер никто не выходил из комнаты. Надо было ждать. Если телефон молчал, приходилось все начинать сначала. Наутро легко было догадаться по нашим лицам, что принес вчерашний вечер: радость звонка или отчаяние безмолвия. Наступал пресловутый субботний вечер. Избранницы занимались сборами на глазах у несчастливиц, которым ничего не оставалось, как ужинать в дортуаре, а потом пытаться скрасить кошмар одиночества хорошей книгой. Эти покинутые даже не шли вместе в кино или поесть мороженого. Общественное пространство было для них закрыто, как для изгнанниц или прокаженных. Агора принадлежала только тем, кто умел понравиться, прочим надлежало скрывать свой социальный провал.

Для везучих вечер мог развернуться по двум возможным сценариям, в зависимости от того, приглашал ли их аспирант или студент последнего курса. В первом случае мы имели право поужинать, а затем отправиться в кино или посидеть в дружеской компании у молодого человека. Тэт-а-тэт мог оказаться смертельно скучным: не успевали подать десерт, а чопорный романтизм уже сменялся изложением диссертации. Поэтому студентки первых курсов предпочитали свидания не с будущими диссертантами, а с поклонниками помоложе. Они приглашали нас поужинать в свой “хаус” вместе с их соседями по комнате. Однако в этих трапезах не было ничего похожего на дружескую пирушку. В большинстве случаев присутствующие там девушки не знали друг друга, и разговор оставался нейтральным – возможно, так мы могли заранее приобщиться к искусству светской беседы, владение которым впоследствии пригодилось бы нам на официальных приемах наших будущих мужей. Юноши дружески болтали между собой, но никто из них не обращался непосредственно к гостье товарища – это было бы нескромным апарте. Точно так же было немыслимо, чтобы девушка захватила инициативу в разговоре, поскольку мы не обладали полным “гражданским равноправием”. Скорее мы “принадлежали” тому, кто нас пригласил, и приходилось удовлетворяться более или менее декоративной ролью его временной спутницы. В конце концов, наше присутствие зависело от переменчивых вкусов юных гарвардских принцев, и нередко уже в следующий субботний вечер можно было оказаться за столом с теми же юношами, но с совершенно иным составом дам. У нас нашлось бы больше общего с гейшами, чем с европейским студенчеством, его дружественно-открытой средой.

После ужина каждая “чета” удалялась – шли в кино, в театр, на концерт, чаще всего в стенах университета, после чего возвращались поболтать в “хаус” к юноше. Атмосфера создавалась с помощью пластинки, а если молодой человек был достаточно искушенным, то он угощал девушку рюмкой ликера. В действительности это возвращение не могло быть импровизацией. Оно являлось результатом долгих переговоров между соседями, поскольку категорически исключалось, чтобы две пары провели остаток вечера вместе. Так что мальчики решали между собой, кто имел право занять гостиную, – вопрос деликатный, ведь дальнейшее могло зависеть от того, сколь удачно было использовано это важное в стратегическом отношении помеще-

“Старые пары” могли позволить себе пройти в спальню юноши, но недавно познакомившиеся должны были оставаться поначалу в корректном уединении гостиной. Этот сложный балет в гарвардских “хаусах” в точности напоминал сцены из Фейдо. Тут было все: робкое приоткрывание или внезапное захлопывание дверей, предпринимаемая юношей “разведка”, взоры, направленные в сторону спален, компрометирующие паузы, бегство черным ходом. Ситуации повторялись — с той лишь разницей, что в этой американской комедии женская роль была не главной.

До переворота конца 60-х годов отношения между юношами и девушками подчинялись строгим правилам; согласно им, принимать в своей комнате особу противоположного пола разрешалось в определенные часы: в пятницу или в субботу вечером, после 18 часов 30 минут. При этом нужно было внести фамилию своей гостьи в журнал и рядом записать время ее прихода и ухода. Оглушительный звонок оповещал о том, что время “смешанного общения” истекло, и дежурный по дортуару приступал к отлову нарушителей. Образцовое проявление пуританской традиции, в соответствии с которой в мире сексуальных представлений господствовали запреты и страх перед адюльтером, — эти правила регламентировали все до мельчайших деталей. Сегодня это вызывает лишь улыбку, а тогда они были нам ненавистны, хотя в целом соблюдались, — наверное, потому, что отражали психологию и сексуальные табу большинства. В конце 60-х годов “свидания” в основном были целомудренны.

Я считала эти минуты безнадежно испорченными: непосредственность чувств погибала в тесных рамках ложно-романтических отношений. Но для американцев “свидания” были превосходной формой приобщения к взрослой жизни, что как нельзя лучше доказывал осенний “футбольный уик-энд”, выдающееся событие сезона светской жизни в Гарварде и великолепнейший из всех возможных предлогов для “свидания”. Футбольный сезон открывался с началом учебного года и завершался накануне большого праздника, Дня Благодарения, матчем Гарвард — Йель. Этот уик-энд, блестящий повод для сбора пожертвований, являл собой апофеоз гарвардских традиций, когда представители элиты WASP, бывшие воспитанники университета, возвращались сюда в знак солидарности, как истинные патриоты Гарварда, надев шарфы традиционных

гарвардских цветов. Часто с ними были их сыновья, уже студенты или будущие кандидаты в студенты. В то же время для студентов из среднего класса это был повод утвердиться в своей принадлежности к университету, громогласно выражая “дух Гарварда”.

По случаю матча Гарвард – Йель юноши, ухаживающие за девушками из дальних колледжей, приглашали подруг на два дня, заказывая для них гостиницу. “Красавицы” приезжали с целой коллекцией нарядов на все случаи жизни. К субботнему обеду пары собирались в “хаусах”. Мальчики щеголяли в тройках с галстуками, девочки – в костюмах. Знакомились, рассказывали о своих городах, делились рабочими планами на лето, говорили о пасхальных каникулах, обсуждали незначительные события университетской жизни, отношения с родителями – словом, заполняли паузы. О политике и об ученье не говорилось никогда – совсем как в каком-нибудь элитарном клубе, к посещению которого по окончании университета кое-кто уже готовился.

Перед началом матча запасались одеялами и бутылками виски и стройными рядами направлялись по главной улице к кассам стадиона. Это был знаменательный момент, позволяющий людей посмотреть и себя показать, – настоящее шествие. Билеты и, соответственно, места – в центре или повыше и сбоку – свидетельствовали о ранге и статусе юноши, а следовательно, и его подруги.

На самом деле почти для всех, за исключением горстки фанатов, матч сам по себе был не более чем предлогом. Девушки ничего не понимали в этой стремительной и сложной игре. Но требовалось изображать энтузиазм, даже если было невозможно разглядеть мяч за спинами двадцати двух дюжих молодых людей, ведущих борьбу. Впрочем, и юноши следили за матчем довольно рассеянно. Главное было – присутствовать, а затем разделить с подругой “радость” победы или “скорбь” поражения.

Обратно шли весело, под аккомпанемент “Гарвард-банда”, или же рассеявшись в молчании. Но эти эмоции захватывали нас ненадолго: скоро праздник возобновлялся. На коктейль собирались вокруг “masters”, продолжая незначущую болтовню. Мальчики старались блеснуть друг перед другом, а девочки стояли молча, застыв раз и навсегда с самой очаровательной из всех возможных улыбок на устах.

После обеда начинались танцы. Слегка подогретые всем, что успели выпить, юноши позволяли себе больше непосредственности и осмеливались приглашать на танец подруг своих товарищей. Под влиянием алкоголя беседа иногда принимала более интимный оборот. Мы говорили о себе искренне, уже не контролируя себя. Но об этих кратких минутах расслабления впоследствии вспоминать было не принято. Вечер продолжался как ни в чем не бывало. На следующий день был прощальный завтрак, а затем кавалеры провожали дам. В гнетущей тишине после отшумевшего праздника нередко какая-нибудь чета студентов старшего курса объявляла о помолвке. Свадьба состоится в июне, после церемонии вручения дипломов.

Не все студенты принимали участие в торжествах футбольного уик-энда. Музыканты, поэты, писатели, те, кто раньше других вступил на путь протеста, отвергали этот апофеоз славы WASP. Но и для таких “оригиналов” процедура “свиданий” сохраняла свое значение. Они тоже отводили женщине чисто пассивную роль. Вне зависимости от их происхождения и интеллектуальных ориентаций, большинство юношей, однако, чувствовали себя скованно в обществе девушек – даже рядом со своими избранницами. Поэтому они легко приспосабливались к условностям и общим рамкам, которые, связывая их, в то же время служили опорой. Что до меня, то я жила с ощущением, что в Америке я “проездом”, и нисколько не стремилась к прочным отношениям с “бойфрендом”, который в один прекрасный день мог бы стать моим мужем. Вместо того, чтобы поддерживать бесконечную череду монотонных тэт-а-тэтов, мне больше нравилось менять кавалеров. Уж лучше развлекаться самостоятельно и за свои деньги, полагала я, чем быть чьей-то постоянной спутницей, которой в конце концов предстоит заплатить по счетам чувств. Но приходилось, пусть не по своей охоте, подчиняться общепринятым обычаям.

Парадоксально, но за мной ухаживали мальчики, вызывавшие зависть подруг, а я не знала, что с ними делать. Когда я возвращалась домой, подруги спрашивали, хорошо ли все прошло, “тот” ли это наконец, но меня это не заботило. Мне порой завидовали – а я тосковала по настоящей дружбе, в обмен на которую охотно пожертвовала бы столь однообразными романтическими дуэтами. Как турист, прогуливалась я по Гарварду, этому человеческому базару, в поисках невозможной дружбы,

а мне предлагали всякую мишуру. Среди моих знакомых были славные парни со Среднего Запада: порядочные, патриотически настроенные и пугавшиеся абстракций, они обращались с девушками, как с фарфоровыми статуэтками, — жениться на них можно, но дотрагиваться нельзя. Знакомились со мной евреи с Восточного побережья — в них шла борьба между интеллектуализмом и мещанскими замашками, они стремились к блестящей карьере — чаще всего в медицине — и сами наслаждались собственными рассуждениями. Пойти с ними куда-то означало выдерживать непрерывную дуэль. Проведя по двадцать лет рядом с обожающими их мамами, они всегда считали себя правыми. Если их авансы отвергались, они могли перестать с тобой здороваться. В этих существах была какая-то странная незавершенность, как будто у них все чувства атрофировались из-за их жажды пробиться и поскорее добраться до верхних ступенек американского общества. Нас ничто не сближало: ни иудаизм, ни связь с европейской культурой, ни честолюбие. И все-таки кое-кто из них настаивал на том, чтобы представить меня своим родителям, хотя мы были едва знакомы. Видимо, это было им нужно для того, чтобы доказать, что они действительно ухаживают за “очаровательной еврейской девушкой”, а не за какой-нибудь обольстительной блондинкой, способной извратить их сущность.

Попадались среди моих поклонников мечтатели, бунтари, враги конформизма. Эти никогда не посещали футбольных матчей, пренебрегали ресторанами и предпочитали авангардное кино. Но и они искали единственную в жизни женщину. Все как один похожи были на счетные машинки, планируя жизнь, совсем как оптимальный распорядок дня. Такие встречались среди прилежных студентов, старавшихся заниматься спортом, чтобы получить престижную стипендию. Среди студентов факультета политических наук, которые, стремясь повысить свои шансы на поступление в Школу права, занимались общественно-политической и благотворительной деятельностью. Среди будущих медиков, посещавших лекции по литературе, потому что на лучших факультетах ценилось “всестороннее развитие”. Все они, включая и тех, кто уже уделял особое внимание своей адресной книжке, считали, что избранница должна нравиться не только им самим, но и производить впечатление на окружающих. Они были чувствительны лишь к отражению их собственного образа “лидера”.

Разумеется, на мою долю достались и аспиранты, стоявшие на полпути между студенческим и взрослым миром. Они жили по-цыгански в старых рабочих кварталах близ Кембриджа. Их ветхие жилища были обставлены старыми диванами и матрасами, расстеленными прямо на полу. Но между стопками книг уже занимали почетное место роскошные стереоустановки, свидетельствуя о промежуточном статусе своих владельцев: их небрежность улетучится без следа, как только они получают свое первое место в университете. все они были такие одинаковые – нервные, беспокойные, плохо скрывавшие под глянцем утонченности бесконечную свою серьезность. Астрономы, историки, экономисты, философы – эти будущие великие специалисты нагоняли на меня скуку. Они возделывали свое исследовательское поле, не видя ничего вокруг. Их уравнения, теории, литературные или исторические комментарии, часто очень академичные, не имели ничего общего с их бытовым поведением средних американцев, и, как только оставались позади первые попытки произвести впечатление, они возвращались к привычным способам разрядки, распивая бутылочку пивка перед матчем или покупая запчасти для машины в торговом центре. Гоббс, Британская империя, тайны Государства–Провидения или сияние звезд – все это были не более чем профессиональные “отступления”, не затрагивавшие их души, от всего этого они старались освободиться по окончании восьмичасового рабочего дня, дабы не пострадала их личность. Им нравились девушки, с которыми можно вместе отдохнуть, а вовсе не те, кто способен помочь в работе. Подходящим для них мог оказаться любой вариант: и “клиффи”, и – с тем же успехом – секретарша, продавщица, медсестра. Женвшись, они ничем не будут выделяться из массы американцев.

Странная это была жизнь, где случайность соседства по комнате и случайные встречи стали условиями нашей неограниченной свободы. Но каждый из нас в одиночку испивал свою чашу опыта, и что-то, а реальное “перемешивание в котле” нам не грозило. Множественные миры Гарварда, с их параллельными дорогами, пересекались лишь изредка. Давление традиций, сексуальные комплексы, страх перед личным выбором превращали свободу в тяжкое бремя.

Противостояние

Помимо университетских традиций и ритуалов, на гарвардскую жизнь конца 60-х годов наложило особый отпечаток движение протеста. В самом деле, как было не протестовать, если за каких-то три года Америка поразила весь мир убийствами Мартина Лютера Kinga и Роберта Кеннеди, пожарами в объятых отчаянием гетто, нарушением демократической конвенции в Чикаго, эскалацией войны во Вьетнаме, избранием Ричарда Никсона и усилением террора белой реакции, наконец, вторжением в Камбоджу и гибелью студентов в Кент-Стейте? Местная и общенациональная хроника ежедневно пополнялась фактами насилия и несправедливости.

Символами американского студенческого протеста стали другие университетские городки – особенно Беркли и Колумбия. Они развернули борьбу либо раньше, либо с большим размахом, чем Гарвард, где радикализм и пуританство повели боевые действия не так стремительно, зато с особым ожесточением. Ведь протест против войны во Вьетнаме, против всемогущества крупных финансовых объединений, против военно-промышленного комплекса, политики ограбления бедных, назначения “экспертов” в Вашингтон – все это было равнозначно протесту против самого университета, символа истеблишмента, а также Америки Большого Бизнеса и межнациональных корпораций. В Гарварде, который представлял собой витрину Америки и в то же время жил под стеклянным колпаком, выступления “против” и призывы “за” определяли общий тон, создавая сумеречную атмосферу.

Война во Вьетнаме, которой телевидение “угощало” нас по вечерам, давила свинцовым гнетом. Преследуя нас неотступно, она сеяла страх и тоску, опасения за друзей. Она ставила под угрозу американскую мечту, основополагающие мифы страны,

ныне вовлеченной в глубокий кризис. Для моего поколения это была не просто проигранная война, а пятно позора, бич Америки, обличавший ее грех. То, что мы погрязли в этой войне, такой далекой, не зная толком, против кого мы сражаемся, вызвало прежде всего нравственное осуждение. Было просто необходимо уничтожить машину, которая финансировала войну, помириться с врагом, восстановить все, что разрушено бомбардировками, а главное – возродить американские идеалы. Герои антивоенного движения сосредоточены были только на самих себе, они надеялись очистить собственную совесть через нравственный порыв, но ничего не знали о вьетнамской действительности и повиновались голосу инстинктивного изоляционизма, завуалированного покровом пацифистских ценностей.

Едва приехав в Гарвард, я попала в гущу этих настроений. Я посещала лекции по теории политики, где в центре внимания были права и обязанности личности; среди присутствующих преобладали яркие активисты. Многие из них участвовали в организации бунта, поводом к которому послужил приезд в Гарвард Роберта Макнамары с намерением прочитать здесь лекцию. Министр обороны, воплощение старого Гарварда, Макнамара вынужден был ретироваться черным ходом. Зачинщикам волнений при очередной провинности могло грозить отчисление, но они этим гордились – они считали себя преемниками Антигоны и Билли Бада, чья нравственная оппозиция закону и составляла тему посещаемого нами курса. Сама того не зная, я оказалась слушательницей тех лекций, благодаря которым обретали вполне определенную направленность страсти наиболее политизированной молодежи. Из ее рядов вышли организаторы движения “Студенты за демократическое общество” – крепкого ядра противостояния.

Я могла непосредственно наблюдать, как эти “великие бунтари” воспринимали уроки одного из наших профессоров-политологов. Так называемые “бэби из красных пеленок” были потомками участников коммунистического движения или троцкистских группировок, активных в 30-е годы и во второй половине 40-х. Дети возрождали семейную традицию, почти угасшую в период маккартизма. Это было вполне естественно, тем более что тень Советского Союза уже не маячила над левым движением. Среди них было немало евреев из Нью-Йорка, близких к кругу “бундовцев”. Они ненавидели американскую

элиту, протестовали не только против вьетнамской войны, но и против истеблишмента в целом, и видели себя как бы в роли троянского коня: они стали студентами Гарварда с тем, чтобы изнутри, в самом зародыше разлагать систему, определяющую американский консенсус.

С другой стороны, были здесь и благополучные дети протестантского англосаксонского общества из ухоженных предместий. Они выросли, полностью доверяя системе, прилежно читали Библию, увлекались типично американскими видами спорта, а перед началом уроков разносили почту, зарабатывая на карманные расходы. Они встречались с симпатичными девочками и посещали публичную библиотеку в целях просвещения. В школе они ежедневно присягали на верность американскому флагу. Это были питомцы протестантской этики, идеальные будущие граждане демократического государства, не имевшего ни проблем, ни истории. Они поступили в Гарвард, полные надежд, преклоняясь перед святая святых национальной культуры, и с энтузиазмом погрузились в общественную жизнь. Но, участвуя в качестве студенческих делегатов в различных комиссиях, они скоро обнаружили, что обожествляемые ими институты далеко не так уж значительны. И, поскольку им пришлось выступать от имени коллектива, они осознали, что нижние эшелоны никак не влияют на верхние, и подлинная власть недоступна. Их идеал пошатнулся, не выдержав столь жестокого удара; со всей досадой и гневом, на какие способна обманутая любовь, они предали себя разоблачению иллюзий представительной демократии. Они хотели строить новый мир — воплощение чистоты их юношеских мечтаний.

Эти два течения, изначально не имевшие ничего общего, были едины в своей ярости, в своих пылких обличениях. Разочарованные демократы заимствовали у радикалов революционный лексикон, частично состоявший из марксистских лозунгов, а радикалы увлеклись мечтами о прямой демократии в духе первых пуританских общин Новой Англии. Они пользовались поддержкой отдельных известных деятелей из протестантской элиты, которых также побудило восстать против своей среды глубокое чувство вины. Всех их сплотила одна страсть, один неистовый порыв, одна религия — “дело”.

Согласно единодушному мнению студентов, необходимо было очистить университетский городок от всех сатанинских

знаков, напоминавших о вьетнамской войне. Конкретно речь шла прежде всего об удалении из университета Резервного офицерского учебного корпуса. Он был организован после второй мировой войны в целях подготовки для армии и флота офицеров такой квалификации, какую не могли обеспечить военные академии. Вместе с тем это давало возможность способным, но плохо обеспеченным молодым людям получить образование в лучших университетах, став офицерами запаса и взяв на себя обязательство отслужить три года в армии. Дважды в неделю, надев форму, они проводили на окраине университетского городка учения, составлявшие часть их программы. В разгар вьетнамской войны непосредственное присутствие армии в университете воспринималось как провокация, несчастных студентов-офицеров считали предателями. Под давлением масс этот корпус в конечном итоге был упразднен после захвата университета студентами в 1969 году.

Но в 1967 году антивоенное движение еще было борьбой во имя принципов, которую вел авангард бунтарей-пацифистов. Движение расширилось год спустя, когда правительство Линдона Джонсона отменило освобождение от военной службы для тех, кто продолжал учиться, уже имея диплом лиценциата. В одночасье все студенты американских колледжей, которые до сего момента считали войну делом профессиональных солдат, а также самых обездоленных и малообразованных слоев населения, явственно ощутили, что она прямо касается их самих. Они поняли, что точно так же рискуют сгинуть во вьетнамских болотах.

Правительство провело всеобъемлющую лотерею, пронумеровав все дни года. Тем, кому достались первые номера, предстояло отправиться первыми. Другие, при некотором везении — в случае, если война не затянется, — могли надеяться избежать призыва. Лотерея эта травмировала целое поколение: в тот вечер, когда она разыгрывалась, все сидели у телевизоров, всматриваясь в шарики, несущие неисчислимые страдания, а кому-то, может быть, и смерть. Самые удачливые посылали букеты роз матерям в знак благодарности за то, что их родили в “счастливый” день. Стоило этому случиться на несколько часов раньше или позже, и все могло быть иначе...

Произвольная “сортировка” призывников побудила большинство студентов присоединиться к движению протеста. И развернулась целая эпопея маршей протеста, многотысячных

митингов в парках Восточного побережья, молчаливых шествий, распространения листовок и петиций. Началась эра коллективного самобичевания, которое не остановила предпринятая незадолго до того попытка загладить национальную вину путем передачи средств на реконструкцию больниц в Северном Вьетнаме. Америка вершила над собой суд, и этот процесс быстро вышел за пределы университетских городков. Вскоре профессора и матери семейств присоединились к митингам левых бунтарей и студентов. Хиппи, окутанные дурманом наркотиков, непримиримые университетские преподаватели, а рядом — перепуганные мещанки и ветераны второй мировой, — все протестовали против грязной войны, голосуя ногами. Повсюду силы Добра заклинали: вернемся домой, нам нечего там делать, мы чудовища, наша страна — самая опасная в мире. В этом вновь проявлялся инстинктивный изоляционизм и американский эгоцентризм. “Худшая из худших” — и тут Америка была “чемпионом”.

От вьетнамских болот, от ветконговцев и от вьетнамцев нас отделяло целых тридцать часов лета, но для нас это место, эти люди были всего лишь бледным фоном чисто американского конфликта. Война для нас означала прежде всего каждодневные студенческие выступления, постоянное брожение, поддерживаемое героями антивоенной борьбы. “Солдаты мира” стремились привлечь на свою сторону все американское общество — они проповедовали “в массах”, просачивались в ряды крайне правых, осаждали власти петициями, вели пропаганду среди мелкобуржуазного населения бостонских предместий. Несмотря на все их старания не слишком выделяться своим “бунтарским” видом, им едва удавалось скрыть отвращение к безукоризненному домашнему порядку, свойственному благонравной Америке.

И все же за их дырявыми джинсами и длинными гривами, символизирующими мир и чистоту, психоделической музыкой и наркотиками, портретами Кастро и цитатами Хо Ши Мина скрывался все тот же ниспровергаемый ими конформизм. Марихуана сменила “мартини”, в почву формализма были брошены семена сексуальной свободы, туман ЛСД заслонил мираж капитализма, но суть поведения, в котором все еще было заметно влияние пуританского сознания, почти не изменилась.

Впрочем, многое изменилось на словах. В нашем укрепленном лагере, где царило недоверие к людям старше тридцати,

телефонные звонки из дома воспринимались словно сигналы инопланетян. Все родители считались достойными презрения, — совсем как в нашем любимом фильме “Выпускник” с Дастином Хофманом. Их советы, их стиль жизни, их идеалы и стремления — все это напрочь отвергалось. Когда я покупала родителям подарки к Новому году, мои товарищи искренне удивлялись. Они никак не могли взять в толк, что я на самом деле хочу доставить удовольствие близким и ради этого готова потратить время на выбор книг или не совсем обычных безделушек, — ведь можно было, как другие, отделаться банальным флаконом духов или бутылкой виски. Все уверяли, что их родители не только не оценили бы, но даже “не поняли бы” моих подарков. Наверное, в этом они были правы.

Так же бурно восставали мы против порядков университета, призванного осуществлять над нами “родительскую” опеку. Ношение галстука, регламентация общения между юношами и девушками, обязательное посещение лекций, система оценок, дистанция в отношениях с преподавателями — все это студенты рассматривали как невыносимые путы, не желая подчиняться “старикам”. Как и выступления против войны, это была одна из форм оппозиции абсурдной авторитарности зашедшей в тупик власти. Традиционному Гарварду противостоял новый мир — мир студенческого недовольства, прогрессивных устремлений части преподавателей, требований негров и евреев, осознавших свою национальную и расовую идентичность. Башня из слоновой кости разрушилась.

В эти беспокойные годы атмосферу в культуре определяли снобизм и протест. Правительство, Уолл-стрит, банки, свободные профессии стали воплощением сил зла. Мир “чистой” мысли сознательно вступил в борьбу с “нечистой” властью, прежде всего с теми, кто поставлял свои идеи Князю мира сего, — политиками. Это была схватка не столько между Гарвардом и Вашингтоном, сколько между несовместимыми элементами разделившегося в самом себе Гарварда. В стенах университета бушевала идеологическая борьба: факультет искусств и наук олицетворял добро, которому угрожали два дьявольских монстра, два порождения власти: Медицинская школа и Бизнес-школа, расположенные на противоположном берегу Чарльз-ривер. Причем оба лагеря боролись за влияние над Гарвардской школой права, самой неоднородной по составу и символизировавшей

власть законности в стране. На самом деле в борьбе против истеблишмента проявлялись остаточные признаки им же порожденного духа элитарности среди интеллектуалов.

Эти противоречия сказывались на иерархии изучаемых дисциплин: ценность каждой из них определялась в зависимости от ее вклада в решение конкретных важных вопросов современности. Классические гуманитарные науки, понятно, относились к загнивающим, тем более что преподавала их старая профессура, представители WASP. Изучение современных языков и зарубежной литературы отдавало дендизмом. Исключение составляло социально-критическое направление в литературоведении. Точные науки считались подозрительными: не вносят ли все они, так или иначе, в большей или меньшей степени, свой вклад в войну? Оставались, таким образом, только социальные науки: лишь они могли быть источником решения социальных и политических проблем. Доминирующее положение занимали социология и политология; они подкреплялись историей и этнологией, призванными обогащать понимание современности благодаря включению в поле зрения явлений более отдаленных. Даже выбор лекционных курсов не мог быть нейтральным — он отражал политическую “сущность” каждого студента, как и любое его высказывание, любое мнение, любая мысль. Редукционизм и детерминизм захлестнули нас с головой. Так, чтобы получить “прощение” за свой интерес к физике, во “искупление вины” необходимо было записаться на какие-нибудь лекции по проблемам современности: культ “уместности” диктовал свои требования.

От безграничной власти идеологии, регулирующей малейшие детали личной жизни, свободны были только этнические меньшинства. Например, негры на законных основаниях могли не интересоваться ничем, кроме самих себя: ведь они и так представляли собой особую проблему и имели свои задачи. Впрочем, по этому поводу разгорелся спор между “радикалами”, которые настаивали на том, чтобы все исследования, связанные с проблемами негров, были сосредоточены в отделении “афро-американской идентичности”, — и “консерваторами”, которые не считали нужным выделять такую тему. Евреи имели право изучать древнееврейские рукописи, не опасаясь обвинений в том, что они заучившиеся декаденты. Подобные занятия рассматривались как форма оппозиции господствующей

элитарной американской культуре и как проявление политического чужа. Точно так же, приверженцы кошерной еды могли питаться отдельно, собираясь в собственном центре: никому не пришло бы в голову осудить такое поведение, увидев в нем несколько устаревший традиционализм. Скорее это считалось законной формой самовыражения сообщества, требовавшего признания своих прав, а значит – политическим жестом...

Мало было исследовать горячие темы, кроме этого, предписывалось служить обществу: обучать неграмотную черную молодежь бедных кварталов Бостона, проводить занятия с заключенными, разбираться в проблемах жен, поколоченных мужьями, содействовать бездомным, отстаивать студентов, исключенных из университета. Надо было обязательно “что-то делать”. Общественная деятельность ставилась во главу угла, а за политическими лозунгами вполне ясно просматривались нравственные категории протестантизма. Даже преподаватели факультета искусств и наук не остались в стороне: специалист по логическому эмпиризму вдруг принимался читать и комментировать сочинения Ленина, биолог начинал проповедовать марксизм. Каждый разрывался между своими интеллектуальными, научными интересами и сиюминутными политическими эмоциями.

Во время захвата колледжа в 1969 году все студенты и большинство преподавателей собрались на митинг на стадионе: смятение и растерянность нашего микрообщества бурно выплеснулись наружу. Гарвардская психодрама обернулась катарсисом для всех, дала выход тревогам и страхам, обуревающим нацию в состоянии распада. Америка благих либеральных намерений, борьбы с бедностью и расизмом, та Америка, какой она виделась мне в Атланта, уступила место Америке ненависти. Убийство Мартина Лютера Кинга уничтожило первые ростки доверия между черными и белыми, теперь пропасть разверзлась вновь; отныне негритянское гетто станет прислушиваться к голосам самых ярких экстремистов. Горящие гетто, убийство Роберта Кеннеди были ударами для элиты белых реформаторов. “Hardhats”* – лидеры строителей – не скрывали ненависти к студентам, считая их деятельность бесполезной. Полицейские кинулись на бунтарей. Либеральные иллюзии и миф о благо-

* Шлемы (англ.).

стной демократии рухнули – страну охватила ярость. Америка объявила войну самой себе.

Весной 1970 года, когда мне исполнилось двадцать лет, чаша переполнилась: последними каплями оказались вторжение в Камбоджу и выстрелы национальной гвардии в студентов Кент-Стейта. И тогда жизнь университета (до того, несмотря на череду трагических событий, так или иначе продолжавшаяся) остановилась полностью. Студенты объявили забастовку, профессора отменили лекции, экзамены были сорваны. Администрация между тем занималась подготовкой к церемонии “Начала”. Этот торжественный и радостный праздник, отмечавший вступление студентов во взрослую жизнь, был воплощением духа Гарварда. По традиции, он открывался выходом на сцену “Board of Oversees” – исполнительного совета университета, во фраках и цилиндрах, следом за ним шествовали президент университета, деканы, профессорский состав – все в парадной форме. Студенты в черных мантиях, ожидающие вручения дипломов, вместе со своими родителями заполняли зрительный зал. Именно к ним обращались ораторы: с заранее заготовленными речами на латыни выходили лауреаты премий; сочинители произносили похвальное слово учителю или товарищам. Выступали президент университета и почетный гость, чья речь нередко становилась украшением первой полосы центральных газет. Так, в 1947 году на празднике Начала в Гарварде Джордж Маршалл поведал миру свой план восстановления Европы.

Но в 1970 году праздник этот ознаменовал вступление в эпоху катаклизмов. Церемония потонула в хаосе: программу не смогли напечатать, так как не был составлен список выпускников, студенты отказались надевать мантии. Они размахивали транспарантами с пацифистскими лозунгами, нацепив вместо традиционных бархатных шапочек пестрые повязки. Как только президент встал, чтобы объявить церемонию открытой, на него сейчас же накинулась необъятных размеров негритянка, явившаяся по поручению жильцов какого-то дома на окраине, принадлежавшего университету. Попытка охраны удалить ее привела к потасовке: вопреки протоколу, студенты и преподаватели настаивали на том, чтобы ей предоставили слово. Наконец ей удалось зачитать нескончаемый список своих требований, после чего она с бранью покинула сцену. Прерванная церемония продолжалась среди ледяного молчания. Бледные

ораторы промямлили свои никому не нужные речи. Я не запомнила ни почетных гостей, ни их выступлений. Может быть, они говорили о светлом будущем, которое открывалось перед нами? Или упоминали об актуальных событиях? Помпезная церемония, наверное, стала последним детским подарком для наших родителей. Но этот гостинец отравлен был горьким напоминанием о конце света.

Движение протеста и его мишурный героизм, с годами введенные в культ памятью, наложили отпечаток на целое поколение. Если не говорить о надеждах, связанных с неким новым миром, который во что бы то ни стало надо было построить немедленно, — протест этот был глубоко пессимистичным, глубоко болезненным. Недоставало юмора и безрассудства, как и твердой почвы под ногами: рано или поздно героям предстояло вернуться в стены вечного Гарварда. Что-то останется: смутный след, воспоминание о жгучих словах, но ураган утихнет.

Однако популярная тогда критика “американского образа жизни” отражала мои собственные претензии к Соединенным Штатам. Наконец-то я услышала, как другие выкрикивают во весь голос то, что я всегда думала о самодовольстве высшего общества, об американском империализме, о расизме белых, о непроницаемости перегородок между общественными группами, о мещанском образе жизни среднего класса, поглощенного материальными интересами. Я в какой-то степени ощущала солидарность с бунтовщиками, почти готова была примкнуть к той, другой Америке, которую они неловко пытались воплотить. Но меня отвращали их тон, свойственные им эгоцентризм и изоляционизм, их взгляды на мир и на Европу. Моя европейская сущность противилась искушению раствориться в этой американской комедии, где всем не-американцам отводилась роль статистов.

Европа в Гарварде

Европа в Гарварде присутствовала повсюду: в лекциях по литературе и истории, в курсах искусствознания и точных наук, на библиотечных стеллажах, в музеях, в разговорах. Европа прививала вкус к роскоши, к интеллектуальной изысканности и элегантности. Но за этим маячил лишь абстрактный образ, неуловимый аромат то ли ностальгии, то ли экзотики. Дыхания живой, реальной Европы не чувствовалось нигде.

Существовало несколько пунктов, служивших своего рода ориентирами, чтобы получить смутное символическое представление о Европе. В первую очередь – книжный магазин, которым владело чопорное немецкое семейство по фамилии Шенхоф. Здесь царили ярко-желтые “классики Гарнье”, изящные серые томики “Фишер Ферлаг”, книги издательства “Эйнауди” с иллюстрациями на обложках, белая коллекция “Галлимара”. Немногие из студентов отваживались зайти в магазин – их останавливала боязнь нарушить безукоризненный здешний порядок. Впрочем, мало кто мог себе позволить что-нибудь тут купить. Большинство отдавало предпочтение соседней букинистической лавке. Там, заплатив всего один-два доллара, можно было углубиться в лабиринты британской истории, наслаждаться сонетами Шекспира или американской классикой. Приветлив был и сам хозяин-букинист.

Кроме того (а для некоторых это и было самым главным), слово “Европа” означало еще особую кухню. На элегантнейшей улице Гарварда в магазине Кардулло горой громоздились изысканные лакомства. Тут можно было найти все самое вкусное и самое дорогое: немецкие марципаны и французское печенье, итальянские пряники и бельгийский шоколад, английский чай и конфеты, а также кое-какие сорта сыра (в основном из Голландии и Германии), преодолевшие барьеры Управления продо-

вольствия: от камамбера и прочих мягких сыров оно приходило в ужас. Здесь, как и у Шенхофа, нас встречали не слишком-то радушно, а главное, покупателю приходилось выкладывать кругленькую сумму. Во времена, когда еще не распространился маркетинг кондитерских изделий, европейское пирожное “мадлен” было недешевым удовольствием. Но все равно все сюда заглядывали, поскольку потчевать гостей заокеанскими деликатесами считалось хорошим тоном.

Студенты из тех, что побогаче, стремясь произвести впечатление на девушек, приглашали их в шикарные европейские рестораны. Мексиканский или китайский ресторан для такого случая не подходил – там слишком чувствовался дух третьего мира. Итальянская кухня тогда еще ассоциировалась с пиццей и лазаньей, чем мы и угощались время от времени, совершая студенческие вылазки в эмигрантский квартал. Зато воплощением утонченности слыл французский ресторанчик “У Фердинанда”, спрятавшийся в красном деревянном домике в стиле XVIII века. Сложные “па” официантов во фраках, роскошь сервировки, демонстрация безукоризненных манер настраивали на ожидание самых серьезных авансов, чему способствовал также миф о любви по-французски. Кроме декора, огромное значение имели названия блюд и каллиграфически выведенное меню: все это создавало живое ощущение Европы, хотя обслуживали порой довольно неуклюже, а качество блюд изысканностью не отличалось.

Помимо всех этих банальностей, выпадающих из времени, существовал только магазин Маримекко, где торговали предметами скандинавского и итальянского дизайна, да еще маленький кинотеатр – там крутили шедевры европейского авангардного кино. Это кино было глотком свежего воздуха: оно обладало качеством, безнадежно отсутствующим на американском горизонте, – “сложностью”. Однако лишь горстка студентов-”интеллектуалов” наслаждалась очарованием черно-белых фильмов Бергмана, диалогами Годара и напускной жизнерадостностью Феллини. Остальные представляли себе Европу по насыщенному местным колоритом фону “Касабланки” – фильма, обожаемого не одним поколением студентов. Все они были готовы дважды в год, сидя в битком набитом зале, хором вторить репликам Хэмфри Богарта и добродушного жандарма-интригана Клода Рена, стонать, сопереживая Ингрид Бергман, и

грезить о секретных заданиях Виктора Ласло. Отзвуки войны и Соппротивления таяли в тумане взлетной полосы, когда герои поднимались в воздух: далекая Европа исчезала из виду.

В конце 60-х годов газеты из Европы – “Монд”, “Коррьере делла сера”, “Франкфуртер Альгемайне” и “Таймс” – появлялись в киоске на Гарвард-сквер с опозданием в несколько суток. Там можно было обнаружить и старые, запыленные номера “Экспресса”, “Эспрессо” и “Шпигеля”. Приходилось не один раз повторить киоскеру название нужной газеты, после чего он наконец-то ее разыскивал. В соседстве с внушительными стопками “Нью-Йорк Таймс”, “Вашингтон Пост” и “Бостон Глоб” скромные старосветские газеты воплощали образ европейских стран – маленьких и отсталых.

Европа оставалась в тени, хотя удельный вес ее культуры в университетском образовании был велик. В этой оглядке на старый континент таилась неоднозначность. Ведь Америка претендовала на то, чтобы нести миру весть о Европе-матери, колыбели западной культуры. Америка желала сберечь ее наследие, сохранить ее сущность. Однако нужно это было для того, чтобы подчеркнуть исключительное значение самой Америки, то новое и лучшее, что она сумела создать, не потеряв при этом уважения к своим дальним корням. И именно Гарвард – Афины и Рим Нового Мира, средоточие пионерско-пуританской традиции, питомник президентов; Гарвард, удобренный кровью двух мировых войн, принявший изгнанников Старого Света, давший жизнь Плану Маршалла, – этот Гарвард олицетворял не только долг Америки по отношению к “культурной” Европе, но и гордыню ее блудной дочери, избравшей для себя путь демократии. Отсюда, из самой “европейской” точки на всем американском континенте, взирали на старый мир с восхищением и вместе с тем – свысока.

Европа, воплощая ценности Запада как такового, была конгломератом стран с особыми культурно-политическими условиями. Соответственно, гарвардское представление о Европе строилось по принципу русской матрешки – куклы, в которую упрятаны куклы поменьше. Благодаря предмету под названием “западная цивилизация”, охватывающему все – от Платона до Сартра, студенты младших курсов могли познакомиться с матрешкой-мамой, пока еще не заглядывая вовнутрь. Раскрывая вторую, затем третью матрешку, они все еще получали представление об общих тенденциях развития европейской культуры, от

Атлантики до Урала. Они погружались в тот мир, где Данте подавал руку Чосеру, Сервантес соседствовал с Монтенем и Спенсером, Достоевский – с Флобером, Толстой – с Эмилем Золя и Звево. Божий перст Микеланджело словно указывал на внутреннюю преемственность в европейском искусстве – от средневековых триптихов до танцующих силуэтов Матисса. До последних, самых маленьких матрешек добирались только те, кто хотел специализироваться по проблематике национальной культуры Франции, Англии или Италии. В конце концов все матрешки складывались опять в одну, и этот замечательный предмет, декоративный и престижный, занимал свое место на полке, рядом с Конституцией Америки, африканской маской, японской гравюрой. Обогатившись “общей культурой”, студент мог теперь заняться правом, медициной, бизнесом – словом, вернуться к реальности.

Тот же принцип лежал в основе американского представления об истории Европы. Большие матрешки воплощали эпохи созидания. Кульминацией считался век Просвещения, когда образовались Соединенные Штаты. Куклы средних размеров могли ассоциироваться с национальными движениями XIX века. А последние, самые маленькие – это были частицы континента, ослабленного двумя мировыми войнами. В глубине американской души господствовала уверенность (из вежливости никогда не высказываемая) в том, что гора европейской культуры и истории в муках XX века родила стаю мышей – национальных государств, бестолково и бессмысленно суетящихся на международной сцене, где власть принадлежит супердержавам. Запад одержал победу на пепелище Европы, обреченной превратиться в милый уголок, источник ностальгии – не более. Для западного сознания она стала садом, где приятно гулять, собирая лакомые плоды Культуры, в то время как живые ее побеги растут далеко отсюда.

Множество европейских стран, представляющих лишь часть Запада, отличалось к тому же раздробленностью. Во-первых, непреодолимая граница разделила Запад и Восток Европы, и только Запад в полноте сохранил западную идентичность. После Ялтинской конференции Восток поглотила советская бездна. Прежняя культурная Mittel-Euroпа* оказалась подмененной сообществом неразличимых между собой советских сателлитов.

* Центральная Европа (нем.).

Внутренние расхождения в Западной Европе считались еще более значимыми в культурном отношении, так как проявляли различные грани американской идентичности. Прежде всего, “континенту” противостояла Великобритания – по вполне очевидным причинам, а также потому, что здесь-то, казалось, и сосредоточены высшие достижения старой Европы. Ведь в Гарварде возводились в культ нравы британских университетов, и все студенты, независимо от их происхождения, чувствовали, что Оксфорд и Кембридж – в какой-то степени их родина. Для многих освоение ценностей WASP, коренящихся в привязанности к отечеству предков, не ограничивалось английскими детскими качалками, рассказами Диккенса и рождественским пудингом, но предполагало также путешествие в Англию.

В отличие от Великобритании, вселявшей уверенность, Франция олицетворяла в корне иную позицию: подрыв всех основ. К этому маяку обращали свои взоры несколько разочарованные левые – те, кто стремился бежать от американской действительности, кто жаждал освободиться от традиций консенсуса, кого влекло к костру раздоров. Францию любили только страстные натуры: их восхищали богатство ее литературы и политический радикализм, ее бурная история, величие человеческой комедии, исполненной глубокого драматизма. Дух американской демократии, восставший против английского колониализма, гордящийся своей республикой, основанной на Декларации независимости, прозревал во французской традиции универсальную весть Просвещения, принявшую особое обличье. Сравнение американской революции (с маленькой буквы) и Французской революции (с заглавной), англо-американского мира и Франции входило в круг основных тем исторического анализа в Гарварде, наряду с пуританством, на котором американцы были помешаны. Все студенты-историки – и франкофилы, и англоманы – читали Токвиля, а Ламанш и за Атлантикой сохранял значение границы.

Значительно сложнее были отношения с Германией. О любви, конечно, тут не было и речи, находилось немало поводов для сведения счетов. Те, кто обращался к изучению Германии под влиянием работ Макса Вебера, колебались между антипатией и стремлением понять. Чья-то очарованность Францией или сыновнее почтение иных к Великобритании не имели ничего общего с чувствами германистов. Двенадцать лет Третьего рейха отбросили тень на прошлое Германии, и теперь делались

попытки обнаружить те или иные предзнаменования ее самоубийственного безумия. В более широком смысле судьба Германии воспринималась как свидетельство краха всей Европы.

Противоречия в подходе к Европе отражали три поколения преподавателей. Исконные американцы, гордившиеся войной за независимость и государственным устройством Америки, уже не считали Англию врагом. Они испытывали к ней скорее сыновние чувства — отделиться от родителей для повзрослевшего отпрыска вполне естественно. По сравнению с Америкой, имевшей слишком короткую историю, Англия являла в их глазах образ “цивилизации”. Францию же они осуждали, так же, как советскую модель, с одной стороны, а с другой — рузвельтовскую политику вмешательства — два разных лика якобинства.

Преподаватели помоложе, из поколения пятидесятилетних, не так тесно связанные с Новой Англией, занимались в основном исследованием континентальной Европы. На многих из них сильно повлияла последняя война. Они учились у Уильяма Лангера, авторитетного гарвардского профессора истории дипломатии. Когда он возглавил Бюро стратегических исследований, ученики последовали за ним в Вашингтон. Многим пришлось проходить военную службу непосредственно в Европе, и они были свидетелями освобождения старого континента. Они прочесывали разрушенные бомбежками города, допрашивали пленных, собирали документы, закладывая основы первых военных архивов. Командировка в разоренную Европу стала звездным часом в их судьбе — они неустанно возвращались к своим рассказам, хотя студентов больше волновал Вьетнам. Бывшие сотрудники Управления стратегических служб считали Европу конченным континентом, историческим самоубийцей. Кто-то из них заботился о спасении культуры из-под обломков, которые могли стать ее гробницей; другие прежде всего стремились понять логику происшедшего. Но все они руководствовались целью извлечь из истории полезные для Америки уроки. Им не было дела до послевоенной Европы...

Третье поколение специалистов рассматривало Европу просто как объект анализа, неисчерпаемый источник “казусов” и “моделей” для осмысления. Воспитанные в атмосфере послевоенного позитивизма, когда экономические и социальные задачи реконструкции и модернизации заслонили традиционную историю дипломатии и культуры, эти историки и политики

напоминали врачей, склонившихся над пациентом, история болезни которого может способствовать прогрессу науки. Они полагали, что общество развивается, подобно живому организму. Начальные стадии предполагают постепенное разделение властей, аграрную реформу, индустриализацию, утверждение государства и формирование парламентской оппозиции. Если все эти процессы протекают успешно, то страна имеет шансы достичь зрелости и современного уровня развития без особых осложнений. Однако при сбое на каком-то этапе неизбежно возникают рахит, стагнация, отставание. Эта чисто нормативная схема с большей или меньшей степенью очевидности воспроизводила английскую модель. Таким образом, Европа превращалась в большую лабораторию для проверки политических категорий на “применимость” в развивающихся странах. О сохранении прошлого, о преклонении перед ним здесь не было и речи – считалось важным установить причины патологии и объяснить крах ряда стран, чтобы избежать подобного в Латинской Америке, Африке или Азии. Итальянский фашизм, собственное Франции отождествление нации и государства, британский экономический скачок – все эти “ростки” якобы могли “приняться” в любой точке земного шара. Для судеб мира не имело значения, жива ли еще Европа под аналитическим скальпелем, или она уже испустила дух. Неважно было, кто собрался у изголовья больного – патологоанатомы или анестезиологи, ожидающие его пробуждения.

Немногочисленные преподаватели из Европы обычно не склонны были сопротивляться такому подходу. Жертвы расистского безумия старого континента хотели одного: порвать с ним. Считая себя последними свидетелями канувшего в Лету прошлого, они думали, что приносят сохраненные ими бесценные реликвии в дар непорочной Америке. В сущности, они тоже относились к Европе отрицательно. Их мнение разделяли европейские умы, прибывшие в Америку уже после войны, – их толкнул на эмиграцию не расизм, а косный бюрократизм Европы.

Молодое поколение бунтарей, в основном из студенческой среды, пересмотрело этот взгляд на старый мир. Американские радикалы обнаружили в Европе аналогичные движения протеста. Как по волшебству, там было все, чего так не хватало в Соединенных Штатах: богатые традиции левой интеллигенции, рабочий класс, ставший авангардом общества, активные партии.

Эти силы, казавшиеся нежизненными многим модернизаторам, вдруг, в результате переоценки ценностей, стали средоточием надежд. Англия предстала как страна, где впервые сформировался пролетариат и началась классовая борьба, Франция — как родина революций, Германия, после открытия Франкфуртской школы, — как центр интеллектуального влияния и критического духа, Италия — как обетованная земля социализма “с человеческим лицом”. Все перевернулось в этой воображаемой Европе, которая была всего лишь плодом фантазий и разочарований американских левых.

Специалисты по международным отношениям, консультанты политиков, напротив, постоянно испытывали страх перед новым взрывом в Европе, который был бы на руку СССР. В кругах, близких к Вашингтону, считали необходимым сохранять в подверженной бурям Европе неустойчивое равновесие усилиями сверхдержав. Следовало предотвращать малейшие сдвиги в этом замороженном пространстве, чтобы картонный домик не рухнул. Послевоенная Европа, отрезанная от Востока и связанная с Западом, казалось, должна сплотиться благодаря НАТО. Стратеги опасались, что, освободившись от жесткого “корсета”, страны Европы разбредутся в полнейшем беспорядке, а утверждение каждой из них в собственной идентичности грозит развалом. Особую досаду вызывал у них де Голль, отвергавший логику блоков; его поползновения осуществить свою мечту о независимой Франции, его антиатлантические заявления, проекты достичь внутриевропейской открытости воспринимались с иронией. Стратегам доставили определенное удовлетворение его раздоры со студентами в 1968 году, однако они быстро изменили позицию, осознав реальную возможность победы левых.

Этот призрак мерещился им повсюду; критика демохристиан в Италии, франкистов или греческих полковников парировалась высшими соображениями: поддержка этих режимов необходима ради спасения неустойчивого равновесия пакта. Выздоравливающая Европа имела право и, более того, обязана была развивать и укреплять свое экономическое сообщество. Но в ЕЭС никто, в сущности, не верил: его поносили антикапиталистически настроенные левые, осивистывали представители национальных бюрократий, а население европейских стран, живя замкнуто, даже и не ведало о нем. С точки зрения собственных потребностей Америки ЕЭС представлялось совершенно бес-

полезным, но зато вполне безопасным, ибо оно казалось лишь неосуществимой фантазией технократов.

Такой набор ключей к Европе предоставил в мое распоряжение Гарвард конца 60-х годов. Но ни один ключ не подходил к дверям “моей” Европы. И радикалы, и стратеги, и историки, принадлежавшие к элите, и специалисты по “социальным наукам” – все они, в конечном счете, были схожи в чисто рассудочном увлечении предметом, к которому сердце их оставалось глухо. Все они мысленно рисовали Европу раздробленную, внутренне расколотую, проецируя на этот выдуманный образ страсти и представления самой Америки. Мне же виделась “моя” Европа – там царили справедливая политика и гуманный социализм, умиротворение в повседневной жизни и открытость в обществе и в культуре. По всей вероятности, и это была абстракция, мираж, но по крайней мере с таким образом в душе я росла. А главное, в отличие от тех, кто отождествлял Европу с минувшим, я видела в ней воплощение будущего, полного надежд, далеких от революционных утопий. И еще мне пришлось убедиться в том, что американцы абсолютно не способны поставить себя на место европейцев: изучая Европу, любя ее, вплоть до зависти к каким-то ее достоинствам, самые горячие ее поклонники, твердые космополиты, все-таки в глубине души сохраняли уверенность в превосходстве американского общества. Европейец мог стать американцем, но немыслимо было, чтобы американец стал европейцем. Именно там, где сосредоточился самый цвет просвещенной и, казалось, открытой всему миру Америки, можно было оценить реальную глубину культурной пропасти между берегами Атлантики.

Задумав вернуться в Европу, я решила распрощаться не только с Гарвардом и студентами-бунтовщиками, но и с самой Америкой – поблекшей и измученной, трагической Америкой, с разочаровавшей меня Америкой насилия. Мечта Мартина Лютера Кинга разбита. Казалось, у меня отняли идеал, который – я верила – мог привязать меня к этой стране.

Нетрудно было оценить степень ее развала – стоило лишь выйти за ограду университета. Картина становилась еще яснее, когда я садилась в автобус “Грейхаунд”, направляясь в Нью-Йорк, чтобы навестить родителей. Среди пассажиров были студенты –

я легко узнавала их по набитым книжками рюкзакам, по раскрытому роману в руке. Очевидно, они путешествовали автобусом только из экономии и потому, что еще молоды. На самом деле “их” виды транспорта – машина и самолет, и они получают их в свое распоряжение, как только окончат университет. Рядом сидели старики, негры, матери семейств, молодые бродяги – американский “анти-истеблишмент”.

В “Грейхаунде” ехали неудачники – бывшие инженеры, раньше времени выброшенные на пенсию беспощадной перестройкой в экономике: чтобы дать образование детям, им пришлось заложить дом, продать хорошую машину, искать приработка. Негритянки “on welfare”* ехали на свадьбу или на похороны, усталые, изнуренные многолетними домашними заботами: в прошлом у них было замужество, надежды на нормальную жизнь, дальнейшее общеизвестно – пьянство, наркотики, измены, безработица, темные делишки.

Ехали бедняки, для которых вся Америка была дорогой без конца, а “Грейхаунд” – ее пророком. Не без гордости рассказывали они о бесчисленных работах, на которые им приходилось наниматься во всех концах континента. Они не думали о будущем и полагались на свою смекалку, как другие – на диплом. Чем только они не занимались: продажей мороженого, ремонтом покрышек, торговлей вразнос подержанным товаром, сезонными сельхозработами, мытьем оконных стекол – занятия бродяжнической жизни, не оставляющей ни следов, ни воспоминаний.

В основном это были люди без комплексов, большей частью пассивные. Конечно, они выказывали враждебность к правящим классам, к тем, кто пользовался привилегиями в этой системе. Но в их попытках возмущения не было взрывной силы – может, потому, что они сознавали: испытывая тяжелое бремя несправедливости, они отчасти расплачиваются за собственные слабости. Наступала и моя очередь отвечать на расспросы, однако стоило мне сказать, что я “из Европы”, – и среди разговора повисала напряженная пауза. Европейцев они не знали, в Европу никогда не ездили и не поедут. В них жило инстинктивное недоверие к Старому Свету. Мои собеседники старались не ударить лицом в грязь перед иностранкой, и тон разговора

* Получающие пособие (англ.).

резко менялся. С этой минуты, как будто желая подчеркнуть связь собственной незначительной жизни с чем-то более величественным — с судьбой народа, они начинали употреблять различные формы и высокопарные обороты типа “как у нас здесь принято”.

Наконец мы приезжали в Нью-Йорк. Сначала автобус шел через Бронкс и Гарлем — зоны бедствия, разоренные не войной, а нищетой и социальным неравенством. Затем мы попадали на автовокзал, где в любое время высаживалась масса тружеников Манхэттена. Какими упованиями жили обитатели Нью-Йорка? Вряд ли теперь, как после войны, их обнадеживал вид “Big Apple”*. А до встреч космополитической элиты, которые будут происходить здесь в 80-е годы, тогда еще было далеко. Нью-Йорк скорее походил на символ заката мира.

Конфликты между черными и евреями, забастовки, развал системы обслуживания, дефицит муниципального бюджета — фон существования этих американцев, усталых, униженных необъяснимыми экономическими перепадами и нескончаемым насилием, разуверившихся жителей города-маяка, утратившего свою душу. Я смотрела на обескровленную Америку их глазами и глазами моей матери. Спустя два месяца после убийства Мартина Лютера Кинга она ушла из атлантического Университета для черных, оставив позади разбитую мечту и черное сообщество, гальванизированное ненавистью и навязчивой идеей “Black Power”**, за которой угадывалось плохо замаскированное бессилие. В Нью-Йорке она нашла место преподавателя в одном из окраинных колледжей, где учились в основном американцы итальянского происхождения. Они принадлежали к новому среднему классу. Этим людям, заполнявшим пригородные поезда, суждено было стать наступающим флангом рейгановского “нравственного большинства”. Вместе с эпопеей борьбы за гражданские права кончилась История с заглавной буквы. Ту, прежнюю Америку сменила Америка ярости и отчаяния: она то взрывалась ненавистью, то робко топталась на месте. Мне не нравилось ни то, ни другое; оставалось только уезжать.

* “Большое яблоко” (англ.), синоним Нью-Йорка. — Прим. пер.

** Власть черных (англ.).



Американка

Итальянское интермеццо

Осенью 1970 года я приехала в Италию с дипломом бакалавра *summa cum laude** и стипендией Фулбрайта в кармане. Согласно американским представлениям, формально этот год мог считаться просто очередным этапом университетского образования. Для меня же это было возвращение в Европу, встреча с континентом, где я надеялась вновь обрести целостность души. Вот почему, отказавшись от стипендии, которая открывала передо мной двери Оксфорда, я предпочла Англии Италию. Зачем ехать на поиски британских корней Гарварда, если я хочу вернуться к собственным истокам? Настало время познать изнутри ту Италию, которая до сих пор главенствовала в моей жизни, хотя и оставалась далекой.

Теперь я уже не ребенок, не девочка, какой была в 60-е годы. Я превратилась в молодую женщину с достаточно зрелыми взглядами и, имея некоторый опыт изучения предмета, открыла обратную сторону медали: социальное расслоение, политическую путаницу, скрытые противоречия послевоенной Европы. Со времен моих беззаботных европейских каникул континент во многом стал иным. Эйфория реконструкции и экономического чуда сменилась новыми требованиями и всеобщим политическим возмущением, которое вылилось в кульминацию 1968 года: почти повсеместные забастовки и университетские психодрамы, — а затем пришла в действие inferнальная машина терроризма.

В 1968 году я старалась разобраться в тех бурных событиях, читая отпечатанную на тончайшей бумаге “Коррьере делла

* “С высшей похвалой” (лат.).

сера”, а во время моих приездов в Италию обсуждала происшедшее с римскими и миланскими друзьями – они рассказывали о схватках студентов с полицейскими. Международный характер движения, проявившегося во Франции и Германии, Италии и США, наводил на мысль, что болезнь имеет общий источник, что этот бунт един повсюду. Но все-таки я считала борьбу американцев более “истинной”, а расизм и войну во Вьетнаме – более конкретными объектами критики, чем “капитализм” или “империализм”, абстракции, вокруг которых разгорались страсти в Европе.

В 1970-м, меньше чем через год после террористического акта неофашистов на Пьяцца Фонтана в Милане, где погибло шестнадцать человек, Италия уже не была тихой гаванью моего детства. Сменялись правительства, захлебывались очередные реформы, ожесточались профсоюзы, крупные промышленные объединения национализированного сектора потрясали бесконечные скандалы; насилие, бич традиционалистского юга, перекинулось на север. Но политическая система – закосневшая, зараженная коррупцией – не оказывала видимого влияния на повседневную жизнь. В отличие от полного тревоги Гарварда, здесь сохранялись доброта и тепло человеческого общения. В конце концов, в такой напряженной политической обстановке лучше уж проводить вечера среди друзей, чем терпеть тягостную церемонность “свиданий”.

Однако итальянская доброжелательность имела границы, что было особенно заметно в обществе буржуазии, напуганной политическими волнениями, недовольством молодежи и распространением среди интеллигенции левых идей. Еще сильнее это чувствовалось в узком кругу евреев, охваченном кризисом идентичности. Общаясь с ними, впервые я ощутила в себе трепет души “американки” и смогла оценить, сколь глубоко на меня повлияло протестантство, от которого я отреклась в Америке.

Я все же проявила осмотрительность и отказалась от мысли поселиться в Риме, где жили друзья детства, – мне не хватало уверенности в том, что я смогу долго продержаться в тамошней атмосфере “сладкой жизни” и цинизма. Было ясно, что мой итальянский эксперимент в этом случае провалится:

на римской почве я не приживусь. И выбор пал на Павию, один из крупнейших университетских центров севера поблизости от Милана: там мне была гарантирована свобода от контактов с родственниками.

Стипендия давала мне право поступить в один из самых престижных колледжей при университете – Колледжо Гизльери. Он был основан в XVII веке как учебное заведение для юношей из высокопоставленных семей Ломбардии; после войны здесь стали учиться и девушки. Элитарность, корпоративный дух, соблюдение традиций в действительности сближали колледж с Гарвардом, а еще больше – с Оксфордом и Кембриджем. В столовой – огромном зале под сводами, расписанными фресками, – нас обслуживала целая армия официантов в белых перчатках и форменных тужурках с галунами. В маленьком парке проходили теннисные матчи: учтивость соперников являла контраст агрессивной одержимости американских спортсменов. Колледж дышал покоем и традиционным комфортом.

Почти все студенты были из Ломбардии или из пьемонтских и венецианских городков долины реки По. “Северяне”, они считали “югом” всю территорию южнее По – как видно, Италии было еще далеко до единства. Несмотря на явные социальные различия среди студентов, здесь царила атмосфера непринужденности и братства, в противоположность тому, что я наблюдала в Америке. Официально меня приняли как “американскую” студентку, но вскоре все увидели во мне “свою”, вернувшуюся издалека итальянку. Мы бродили компанией по тихой, окутанной дымкой ночной Павии, гуляли по набережным Тичино, заходили перекусить в городские ресторанчики, бежали в кино, в теплую погоду катались на лодках, ездили на машинах посмотреть ближние городки и, конечно, засиживались за разговорами до поздней ночи... Павия стала для меня городом наконец-то обретенной дружбы.

Увы, 1970-71 учебный год был просто катастрофой. Университеты по всей стране погрузились в сплошной хаос, затронувший – теперь, когда 1968 год был давно позади, – и основательную Павию. В самом деле, в результате забастовок администрации и волокиты с неизбежным для всякого иностранца заполнением анкеты в полиции я никак не могла даже записаться в колледж. Мой американский диплом не произвел должного впечатления, а собрать комиссию для рассмот-

рения моей кандидатуры не представлялось возможным. Ответственные лица, к которым я обращалась, встречали меня довольно холодно: вероятно, моему заявлению преграждали путь, с одной стороны, антиамериканизм левых, с другой – консерватизм университетской среды.

Такой прием пробудил во мне снобизм – свойство, которого я и сама раньше в себе не подозревала. Живя в США, я гордилась тем, что учусь в Гарварде, но не считала, будто этот университет в чем-то превосходит европейские, более того: я жалела, что поступаю в университет без той солидной базы, какую обычно дает среднее образование в Европе. Знакомство с университетом в Павии бросило тень сомнения на мои убеждения. Стоило ли испытывать комплекс неполноценности перед европейскими университетами, которые погрязли в хаосе и прозябают без средств? Где библиотеки, лаборатории, просторные аудитории, семинары? Я обнаружила лишь лабиринт грязных двориков, запертых дверей, каморок с заспанными сторожами. Мне удалось присутствовать на нескольких лекциях: профессора разглагольствовали перед совершенно равнодушными студентами. Как видно, тема была столь “захватывающей”, что все мечтали поскорее вернуться домой, к единственной книжке, необходимой и достаточной для сдачи экзамена. И тогда я осознала смысл сотен домашних заданий, конспектов – всего, что мне пришлось делать в Гарварде. Сосредоточенность и активность американских студентов на лекциях вспомнились мне, как какое-то чудо. Они были вовсе не безграмотными варварами, а увлеченными искателями истины, тогда как их итальянские собраты напоминали вялых зверюшек в клетке, зависимых от скупого библиотекаря, который время от времени “подкармливает” их парой книжек из запертого шкафа. Двери университетской библиотеки были чаще всего на замке, и я мысленно переносилась в Уайднер, где стеллажи протянулись на километры. Так я вдруг поняла, что, думая попасть в рай, оказалась из него изгнанной.

Привычным оформлением студенческого движения протеста в Италии были огромные транспаранты, объявляющие войну всему подряд: капитализму, фашизму, университету, Америке, профессорам. Я всматривалась в них с пристальным любопытством – настолько отличались они от американских плакатов того же периода. Лозунги итальянцев в основном представляли

собой цитаты из Маркса и Ленина, Энгельса и Мао – вневременные, безличные фразы. Американские студенты формулировали свои требования прямо, чуть ли не от первого лица. А тут ограничивались констатацией фактов, не призывая к активным выступлениям. Можно было написать, проскандировать эти лозунги, а потом преспокойно отдыхать в угловом кафе, пока история вершит свое дело... Я реагировала на все это как “прагматичная” американка, воспитанная – хотя и поневоле – этикой действия. Мне не приходило в голову, какими преимуществами оборачивалась для итальянской молодежи абстрактность ее установок: ведь ей были неведомы страстная одержимость и муки молодых гарвардских бунтарей – пуритан, преисполненных чувства долга и обремененных высокой нравственной миссией.

Движение протеста в Павии походило на интеллектуальную моду: будущие инженеры и медики со всей серьезностью штудировали трактаты по марксистской политэкономии. Юные филологи, отложив в сторону Звево и д’Аннунцио, наслаждались прозой Маркса и Грамши. Нередко эти революционные сочинения валялись на заднем сиденье машины – вместо модного бестселлера. Здесь “ангажированность” была холодной, отождествлялась скорее с системой мышления, а не с личной позицией, в ней не было пылкости душевного порыва. Не ощущалось в ней и признаков той живой силы, что одушевляла борьбу за гражданские права в Атлантах.

Контраст казался тем более разительным, что, насколько я могла видеть, бунтарские декларации совершенно не соответствовали окружающей действительности. Я записалась в университет вольнослушательницей, к тому же занятия часто отменялись, и у меня хватало времени, чтобы гулять по улицам, наблюдая жизнь горожан. Павия, находящаяся в 45 минутах езды от Милана, – городок со славным прошлым. Его украшали изумительные романские церкви, сады, здания разных эпох и огромный замок, когда-то принадлежавший семейству Висконти. Некоторые улицы были вымощены неровными, острыми камнями, и, чтобы не продырявить подошвы, приходилось ступать по “рельсам”, проложенным в давние времена для карет. Город дышал ароматом обветшалости и грустным очарованием, даже когда его окутывал знаменитый зимний туман.

Но Павия была богата и не замыкалась в собственном прошлом. Люди свободных профессий, промышленники, крупные землевладельцы играли важную роль в ее экономике и гордились своим процветанием, сознавая, что римские “командоры” или неаполитанские рантье им не чета. Это были серьезные люди, настоящие труженики. Они не обладали выдержкой, необходимой для участия в политических играх, и больше всего боялись нестабильности. Им нужна была Италия современная, с эффективной экономикой — и с этой точки зрения Соединенные Штаты представлялись им достойными преклонения.

Поодаль от богатых домов просвещенной буржуазии жила своей жизнью другая Павия — город ремесленников. На узких улочках теснились лавки и мастерские сапожников, шорников, плетельщиков, художников-реставраторов, матрасников, рамочников, краснодеревщиков, квартальных фотографов. Они трудились, напевая, и всегда были рады на минутку оторваться от работы, чтобы поболтать с девушкой — не очень-то похожей на иностранку. Многие из них сочувствовали левым; они пережили фашизм, а некоторые даже сражались в отрядах Сопротивления в холмистом Пьемонте. Социалисты и коммунисты ненавидели нынешнюю власть демохристиан, но большинство проявляло свойственное народу безразличие к политической жизни — по их мнению, неизбежно зараженной коррупцией и вообще никчемной. Они считали себя левыми, скорее следуя культурной традиции, чем в силу политической убежденности. Так они по-своему выражали протест против фашизма, против несправедливости, спонтанно выбрав эту форму противостояния безумию общества, одержимого навязчивыми идеями прибыли и прогресса, разрушительными для жизненного уклада этих людей. Наблюдая, как они живут и работают, зная, какие они строят планы, нетрудно было догадаться: за их политической индифферентностью — вовсе не покорность отчаявшихся, а неявное признание того факта, что при этой власти им живется неплохо. “Борьба с капитализмом” означала для них своего рода формальный ритуал, тем более что они пользовались всеми благами общества потребления. Чувствовалось, что социальная ненависть им незнакома.

В Павии были текстильные фабрики, но собственно рабочих кварталов не существовало, так как использовался в основном труд женщин — жен и дочерей мелких ремесленников и

сельскохозяйственных рабочих. Никакой пролетарской психологии в среду горожан они не привносили. Главной в жизни оставалась для них роль жены и матери, зарплата служила лишь дополнением к семейному бюджету. Несмотря на одну длительную забастовку, из них так и не получилось того абстрактного “пролетариата”, которому поклонялись студенты, обуреваемые жаждой Революции.

Невзирая на забастовки, город моих прогулок 1970 года отчасти еще сохранял тепло Европы, запомнившейся мне с детства. Вечерняя игра мужчин в шары, пантагрюэльские обеды в демократичных ресторанчиках, лавочки ремесленников вокруг романских церквей, кондитерские около величественного собора – все говорило о налаженном, спокойном бытии, неподвластном времени. Между розовыми или голубыми ленточками, прикрепленными у входа в дом по случаю рождения наследника, и плотными черными шторами, оповещавшими о покойнике, сплеталась ткань мирной жизни. Иной раз в ней проскальзывал некий лукавый намек.

Статуя папы Пия V перед зданием колледжа пророческим жестом указывала на церковь напротив, давно уже не действующую и служившую гаражом похоронного бюро. Когда оно не бастовало вместе со всеми, можно было наблюдать выезд похоронного фургона из бывшего нефа. Папа провожал фургон строгим взором, словно только что отпустил ему какое-то прегрешение – неполадки в моторе или преступную заржавленность. Подальше, на фасаде одного из домов на набережной выделялась каменная скульптура – маска разъяренной фурии, показывающей язык: как видно, на другом берегу реки жил заклятый враг семьи. Эта гримаса, которую не скрывал даже туман, куда как ясно говорила о смехотворности не только давних клановых войн, но и нынешних политических столкновений между людьми, связанными единым образом жизни. Ибо и в Павии 70-х годов продолжалась мелочная война в духе комического киногероя Дона Камилло: на всех стенах коммунисты расклеивали листовки с серпом и молотом вплотную к черно-белым траурным объявлениям, как будто желая напомнить, что права живых важнее, чем покой усопших. Но, не считая этих бумажных перепалок, дни Павии текли мирно. Это был мир маленького провинциального городка, неподалеку от которого – и тут история вновь лукаво подмигивает – находился

единственный в Италии крупный картезианский монастырь, перенесенный Стендалем, допустившим поэтическую вольность, в Парму.

Крышу и колокольню монастыря, возвышавшегося над огромными цистернами сыродельного завода, было видно из окна поезда. Он стоял почти на полпути из Павии в Милан. По этому маршруту я ездила несколько раз в месяц, навещая родственников. И вот что удивительно: когда в поле зрения появлялся монастырь, нейтрально-вежливый разговор в поезде становился более интимным и взволнованным. Обвинения сыпались на правительство и еще больше на тех, кто имел какую-то власть в повседневной жизни. Так открывалась оборотная сторона добродушия итальянцев; но в них говорило извечное презрение к любой власти, ничего общего не имеющее с революционными призывами студентов. Каскад упреков разом обрушился на государство: ни с чем оно не справляется — никогда не выплачивает вовремя пенсии, слишком рано взимает налоги, не рассматривает ходатайства, не выдает стипендий. Не обходилась без проблем даже регистрация рождения и смерти. Солдаты особенно возмущались равнодушием бюрократов: из-за полного беспорядка на железной дороге в 70-е годы им приходилось все время своего увольнения проводить в поезде.

Попутчики мои представляли живые силы общества, отнесенные на периферию беспорядочного, неравномерного развития страны. Я сравнивала их с пассажирами “Грейхаунда”. Американцы жаловались на свою судьбу, но никогда не осуждали в целом общество, в котором живут, не считали его источником всех своих бед. Для итальянцев, напротив, все проблемы, все несчастья исходили от государства, от власти. Себя они ни в чем не винили. Когда я говорила, что приехала из США, поначалу все думали, что я проводила там каникулы, — ведь я итальянка, как и они. Я показывала свой американский паспорт, и недоверие сменялось изумлением, даже восхищением. Паспорт передавался из рук в руки, словно каждому хотелось прикоснуться к “амулету”, на меня смотрели как на счастливицу, приехавшую “оттуда”. Американский орел все еще производил впечатление, в нем видели символ надежды, силы и открытости, тогда как итальянским властям, казалось, эти

понятия были чужды. В годы хаоса многие из моих попутчиков и знакомых, не исключая юных революционеров, охотно поменялись бы со мной документами. Вопреки реальности кризиса в Америке, миф о ней сохранял свою привлекательность.

Возмущение пассажиров было для меня прелюдией к встрече с Миланом, разительно изменившимся со времен моего детства. Витрина модернизации Италии за короткий срок превратилась в арену политических и социальных конфликтов. Огромный вокзал был сплошь оклеен призывами к забастовкам и завален грудями мешков с почтой. Небоскреб Пирелли утопал в транспарантах — они звали на борьбу с промышленным капитализмом и агитировали рабочих многочисленных заводов компании бастовать. Знаменитые черные каучуковые тротуары вокруг небоскреба, предмет восхищения и гордости миланцев, усеяли старые листовки с отпечатками следов тысяч демонстрантов. Модернизированная Италия утратила первую свежесть...

Мне было хорошо знакомо здание префектуры, примыкавшее к дому, где жила тетья. Из окон кухни я видела полицейских в кабинетах — они старательно печатали на машинках бесчисленные формуляры. Куда больше тревожило происходящее на улице: ворота то и дело открывались, выпуская автобусы, набитые людьми в касках, со щитами и дубинками. нередко они маячили в районе университета. Но однажды их скопление возле дверей собора как-то особенно бросалось в глаза.

Площадь была пуста и безмолвна. Исчезли даже голуби. Лишь кучка прохожих стояла у заграждений, установленных полицией, как будто в ожидании какого-то зрелища. Пока полицейские готовили заряды слезоточивого газа, все отчетливее слышались шаги демонстрантов, приближавшихся к площади. На лицах полицейских, большей частью совсем молодых, читались страх и смущение: ничего похожего на враждебность американских полисменов к демонстрантам кампусов — “интеллигентам” и “золотой молодежи”. В отличие от столкновений в Америке — столь обнаженно-резких, — итальянская конфронтация объяснению не поддавалась. Казалось, социально-политические различия до смешного раздуты революционно-антифашистской прозой с ее фальшивым пафосом, а на самом деле на площади попросту разыгрывается сцена из оперетты, после чего все актеры соберутся за ужином, забыв о расправах персонажей.

Атмосфера чисто умозрительного ожидания революции, царившая на филологическом факультете, приводила меня в полное недоумение. Даже лозунг о братстве с рабочим классом звучал фальшиво: “рабочие” были чем-то вроде принадлежностей для модной игры, но к вечеру игру прекращали, и все расходилось по домам. Солидарность существовала только на словах и ничего не стоила.

Я наблюдала эти надуманные и безуспешные попытки “симбиоза”, единения с “товарищами из народа”: они рассаживались на буржуазных диванах дяди и тети, чтобы вместе с кухней “коллективно” готовиться к экзаменам, а главное — к предстоящим демонстрациям. После революционного чаепития импровизированной ячейки дети рабочих возвращались в свои кварталы, а кухня с друзьями отправлялась на вполне буржуазную вечеринку. Эти встречи для одной стороны были поводом открыто выказать ненависть к “классу угнетателей”, а для другой — капризом избалованных юнцов. Бунтарство на протестантский манер, соединенное с нравственным поиском, имело хотя бы преимущество подлинности.

В итальянском движении протеста меня больше всего огорчала его антиамериканская направленность. Парадоксально, но мне просто невыносимо было слышать, как критикуют американскую модель развития те, кто никогда не бывал в Соединенных Штатах, — а ведь я сама вынашивала подобные мысли, живя в Америке. Что они знали об Америке? Что они понимали? Итальянские левые клеймили ее как мифическую гидру со смертоносными головами и ядовитым телом, несущую гибель всему миру. Америке все ставилось в упрек: экономическая система, формальная демократия, империализм, колониализм, расизм... Какая несправедливость! За ней стояли иллюзии избалованной молодежи, совсем не разбиравшейся в американских проблемах и наивно полагавшей, что стоит разоблачить противоречия американской системы, как великан рухнет сам собой.

Точно так же, весьма абстрактно представляя себе Америку, левые газеты, не имевшие корреспондентов на месте, печатали о Соединенных Штатах все что угодно, вольно обращаясь с фактами, именами, географическими названиями. Стоило ли труда доискиваться, что на самом деле происходит в США? Разве надо идти к сатане, чтобы предать его анафеме? Резкая критика отражала полное отсутствие интереса к другому миру: его

называли “сатанинским”, а следовало бы увидеть, что он просто другой. Никакого любопытства не испытывали и мои друзья: они никогда не расспрашивали меня о жизни в Америке, как будто целый пласт моей биографии совсем не имел значения. Возможно, меня к тому же подозревали в “сговоре с врагом”. Во всяком случае, мое прохладное отношение к их революционно-антиимпериалистической борьбе они объясняли тем, что жизнь в США, наверное, сделала меня “реакционеркой поневоле”. Впрочем, все их марксистские тексты я действительно читала; но в Америке даже радикалы не рассматривали эти сочинения как “Священное писание”, видя в них скорее инструмент анализа. Там ожесточенная борьба разворачивалась прямо на глазах, и не было нужды извлекать из пыли классиков революционной мысли, чтобы поразить умы; американские проблемы требовали поиска новых решений, а не готовых моделей. Итальянские студенты, независимо от их материального положения, имели одно общее качество: они не считали себя активными членами общества. Понятие социальной ответственности было им совершенно неведомо. Судьба отверженных их не касалась — это было заботой государства. Видя недостатки в функционировании общественной системы, они не спешили взяться за дело сами, а только пророчили неминуемый крах ненавистного им порядка.

Эта их чисто теоретическая позиция, предполагавшая весьма ограниченную общественную ответственность, оскорбляла мои гражданские чувства. “Формальную” демократию нужно совершенствовать, но нельзя отменить, полагала я. Однако мой реформизм — тот же, что проповедовали американские либералы, — не устраивал “ярых” революционеров. Экстремизм сближал их с молодыми американцами, хотя идеологические основы позиций тех и других были прямо противоположными.

Пробуждению во мне “американки” способствовали и другие, более глубокие факторы, в первую очередь — связанные с иудаизмом. В США я вполне сжилась с мифом о достаточно прочной интеграции итальянских евреев, сильных своими тысячелетними корнями и культурно-интеллектуальной рафинированностью — в противоположность склонным к меркантилизму американским евреям, чья энергия не имела исторической почвы. Однако обнаружив в Милане ключья былого наследия предков, я смогла, вопреки прежним поверхностным

представлениям, осознать серьезность ран, нанесенных фашизмом и Катастрофой.

Мои итальянские родственники всегда обходили молчанием тему войны, и в детстве я это объясняла их желанием забыть о страшном прошлом, вновь начать нормальную жизнь. Теперь же я поняла, что на самом деле за молчанием скрывался кризис идентичности: прежнее чувство укорененности было утрачено, а уехать в Израиль у многих не хватало решимости. Ощущение потери корней усиливалось, а когда евреи стали подвергаться критике, наступило подлинное смятение, — это произошло после 1967 года: победив в Шестидневной войне, Израиль превратился из Давида в Голиафа. Позаимствовав кое-какие темы у крайне правых, антиимпериалистически настроенные и сочувствующие третьему миру левые приняли сторону палестинцев против “сионистской” экспансии. В 1970 году я видела, что итальянские евреи охвачены тревогой и совершенно растеряны: угроза неофашизма воскрешала давние кошмары старшего поколения, в то время как антиссионизм левых вынуждал многих сверстников отречься от своих убеждений. Именно тогда, когда я предполагала вернуться “домой”, многие из них окончательно поняли, что только в Израиле смогут быть евреями и оставаться левыми. И уезжали, полные презрения к безнадежно деградирующей Европе.

Друзья из еврейской общины, с которыми я познакомилась в эти годы политического и социального кризиса, находились на распутье: их привлекал Израиль, но удерживала привязанность к итальянским истокам. Стремясь создать еврейскую семью, юноши безуспешно искали девушек, с которыми не были бы знакомы с детства, в надежде на обновление старой крови. Но в общине, насчитывающей тридцать пять тысяч человек, это было нелегкой задачей. Смешанные браки (кстати, их не избежала и моя семья) переживались как беда, как рана, которая никогда не зарубцуется. Впервые я столкнулась с реальными последствиями малочисленности сообщества, к которому принадлежала, — а я так гордилась этим, живя в США. Но находясь вдали, я и представить себе не могла, что сообщество это поистине обезглавлено. И, что важнее всего, я была не готова внести свой вклад в его обновление, влиться в крошечный этот мирок. Совершенно обескровленный в культурном отношении, с почти угасши-

ми общинами, он не привлекал меня. Однако я вернулась в Италию не для того, чтобы отсюда отплыть в Израиль.

Ровесница университетских бунтарей, благодаря семейным связям я завела знакомства и среди интеллигенции, которая в кризисный период задавала тон в обществе. Этот круг мог бы стать моим, если бы я решила остаться в Италии. Я побывала в ультрасовременных гостиных крайне левых миланцев, на лекциях технократов-реформистов, в буржуазных квартирах римских коммунистов, занимающих прочное положение в обществе. Словно играя в “пазл”, я безуспешно пыталась найти свое место, вписать в какую-то нишу собственный культурно-политический силуэт. Но все было напрасно. Передо мной вырастали неодолимые преграды слов и традиций.

Еще в Гарварде я познакомилась с одним миланским социологом, приехавшим прочесть несколько лекций о социально-политическом положении в Италии. Оказавшись в Милане, я обратилась к нему, стремясь лучше понять суть происходящего в охваченной брожением стране. Один-два раза в месяц я стала посещать его семинары вместе с молодыми социологами, ведущими опросы в заводской, рабочей среде. Официально это считалось “научно-исследовательской работой”, но она вполне соответствовала их политическим пристрастиям и желанию участвовать в “революции”. Так я вошла в элитарный круг бывших сторонников модернизации (их можно было назвать даже технократами), отказавшихся от послевоенной мечты об индустриализации и выбравших политическую борьбу в маоистском ее понимании на стороне “подавляемого” рабочего класса. Все эти проповедники нового общества, где место политических партий отводилось профсоюзам, принадлежали к буржуазным семьям. Они продолжали жить в своем уютном мире: у них были горничные, виллы в горах, они совершали экзотические путешествия и пользовались всеми плодами общества, которое собирались разрушить, — как будто их разум, поглощенный замыслами изменения мира, существовал сам по себе, независимо от тела, наслаждавшегося комфортом и роскошью. Революционный аскетизм занимал свое скромное место в их жизни — наряду с покупкой картин, биржевыми инвестициями, о которых никогда не упоминалось, любовными похождениями

и шикарными автомобилями. Казалось, я попала в фильм Микеланджело Антониони: тот же зашифрованный язык, та же холодность при видимой политической заинтересованности.

Иногда возникало ощущение, будто я нахожусь в петербургской гостиной, среди интеллигенции начала века. Я недоумевала, как можно, будучи революционером на словах, вести буржуазный образ жизни (впрочем, так жил и сам Маркс). Правверная пуританка, я не принимала расхождения между словом и делом. Но миланская интеллигенция привыкла к такого рода неустойчивым конструкциям. В основном ее заботило, как рассчитаться с фашизмом – грехом старшего поколения. У нас не могло быть общих врагов.

Мамин двоюродный брат, бывший член коммунистической партии, после войны близкий к Тольятти, директор научно-исследовательского института, ввел меня в круг своих подопечных, молодых технократов. Благодаря субсидиям фондов молодые люди, пройдя конкурсный отбор, получали возможность участвовать в циклах семинаров по экономике и социологии. В отличие от левых бунтарей, стипендиаты представляли течение модернизаторов-центристов. Вместе с ними я приняла участие в семинарах по общей культуре, проходивших в блистательной зимней Венеции. Нас разместили в самых элегантных отелях, и каждое утро мы отправлялись на остров Сан-Джорджо в фонд Чини, где слушали рассуждения нескольких специалистов о проблемах индустриального общества.

Эти собрания привлекали меня, так как позволяли надеяться, что способности могут быть оценены обществом по достоинству, чем и вдохновлялись молодые представители элиты, которые не теряли времени, витая в университетских утопиях, зато были достаточно честны, чтобы поступать в соответствии со своими взглядами. Я уже не помню сути дискуссий, довольно академичных по духу, даже когда на них приглашались такие люди, как Роже Гароди, недавно исключенный из партии. Суровости ментальных категорий и экономических концепций противоречили несказанная прелесть пейзажа, мерное волнение лагуны. Казалось, бессмертная Италия насмешливо взирала на разоренный социально-экономический ландшафт. Больше всего удивила меня обстановка взаимной доброжелательности, которую поддерживали лекторы и руководители семинаров. Все они были известными людьми. Некоторые из них – например,

Ферруччо Парри и Джузеппе Берти – возглавляли Соппротивление и правительства, пришедшие к власти сразу после войны. Были здесь историки-коммунисты, журналисты, симпатизирующие социалистам, центристы. Кое-кто из ученых был близок к кругам демохристиан, находящихся у власти. Они представляли не только весь спектр политических тенденций, но и все регионы Италии, от севера до юга. Здесь, в этих конкретных условиях, стирались все разногласия, которым газеты посвящали целые передовицы, когда из-за них случался очередной правительственный кризис. Здесь заклятые враги вместе обедали, смеялись, вспоминая свои ссоры, как будто они попросту разыгрывали их на потребу зрителей, жаждущих боевых схваток. Коммунисты, совсем недавно публично разоблачавшие коррумпированность нынешнего режима, веселились вместе со всеми. В конце концов политика была не более чем игрой для немногих избранных: они разбирались между собой, а на сцене представляли чистейшую пародию на демократию, дабы толпа не волновалась. Те, кому в будущем предстояло принимать решения, усваивали главный урок за завтраком – лекции служили лишь прикрытием.

После семинаров я выходила на улицу, опьяненная красотой умирающей Венеции, но игры политиков, сговаривающихся за спиной у публики, оставляли неприятный осадок – как и то, что нас развозили по городу пароходики-такси, а между тем множество людей толпилось на пристани в ожидании битком набитых “*varoretti*”*. Я почувствовала уважение к гарвардской элите, осознав глубину контраста. Этика общественного служения выглядела несравнимо благороднее, нежели политическое деячество. Американская “*res publica*”, конечно, походила на мяч, который старались поймать охваченные азартом игроки, однако итальянский вариант скорее представлял собой пирог, поделенный между приятелями. Я предпочитала быть зрителем на стадионе, а не за столом.

С особой опаской приближалась я к конечному пункту своих интеллектуальных странствий – Риму. Ведь мне хотелось отыскать живую искру под крышами сумрачных жилищ, осенявших мое детство. Авторитет римских левых, довольно близких к коммунистам, не был связан ни с их участием в движении

* Пароходики (итал.).

протеста, ни с заслугами технократов: они снискали уважение нравственными качествами, проявленными в прошлом, своей ролью в Сопротивлении, гуманизмом и образованностью. Здесь героями считались пожилые господа, сподвижники Грамши и Тольятти, фаталисты, вскормленные латынью. Они играли в “свою” Партию так же увлеченно, как мальчишки в шпионов. Их революционность сочеталась с консерватизмом. Напоминая царственных особ в боевых доспехах, вождей непросвещенного народа, эти “красные” с их несколько пожелтевшими идеалами, расхаживали по своим гостиным, от пола до потолка уставленным книгами, а сгорбленная служанка бесшумно приносила им кофе. Дух элитарности преобладал над так называемым коммунистическим товариществом. Когда они обсуждали собрания Центрального комитета, казалось, у них больше общего с карбонариями, чем с молодыми наивными энтузиастами, которые шли протестовать на улицу.

Уважая ценности культуры, нормы иерархии, повиновения и пиетета, эти интеллигенты выбрали коммунизм, найдя в нем опору для борьбы с фашизмом, но проглядели демократию. Воспитанные в духе немецкого идеализма, они были англофобами в философии и антиамериканистами в политике: будущее западного мира виделось им на Востоке. Мне же, приехавшей с “Запада”, они представлялись какими-то фантастическими динозаврами, прячущими консерватизм под маской революционности. Смешно было вспомнить, что им запрещался въезд в США как членам якобы “опасной” партии.

Коммунисты практически ничем не отличались от остальных своих коллег. Вообще в Риме политические взгляды считались делом вкуса, как выбор подруги или галстука. Независимо от политических оттенков, людям этого круга в равной мере были свойственны интеллектуальный авторитаризм, чувство элитарности, покровительственное отношение к “низшим кастам”. Выход за рамки снисходительной вежливости, требуемой обстоятельствами, “братание с народом” для “просветителей” были недопустимы.

Не думая о человеческой потребности в зеленых пространствах, они сожалели о том, что знаменитые римские виллы и парки вокруг них обезображены нашествием посетителей. Они отвергали любые университетские реформы. Антикапиталистические декларации не мешали им прилагать усилия к тому,

чтобы обеспечить своих детей дорогими квартирами. Я сопоставляла противоречия, свойственные, с одной стороны, итальянским коммунистам, с другой — убежденным капиталистам Гарварда, которые посвящали все свое время общественно-полезной деятельности. Англосаксонские проявления иронии судьбы были мне симпатичнее. Как бы громко ни провозглашала степенная римская интеллигенция марксистские и социалистические лозунги, дух элитарности сводил их на нет...

Так я провела год в Италии, терзаясь несовместимостью двух пластов жизни — дружеского общения и сферы политических принципов. Я предавалась радостям повседневной жизни, проводя время с друзьями в разнообразных вылазках, прогулках, трапезах. Но где-то во мне — вернее всего, в моем разуме — прочно поселилась тревога. Смогу ли я остаться в стране с застывшей элитарной структурой, принижающей политическую жизнь до уровня оперетты, в закрытом аквариуме, где пренебрежительно оценивают все, что происходит за его стенами?

До меня доносилось дальнейшее эхо американских событий. По вечерам Америку можно было увидеть в теленовостях: она появлялась в конце, перед рекламой, словно какая-то задняя мысль, мелькнувшая в последний момент. Я осознавала незаметные перемены в себе самой, мешающие мне удовлетвориться взглядом на мир, принятым на полуострове. При всей моей горячей любви к Италии, с американского берега она виделась мне только частью Европы, а сама Европа — частью “свободного мира”, как тогда говорили. С моей точки зрения, Италия никогда не была в центре событий, вопреки мнению ее граждан. Не в силах разделять это господствующее стремление считать свое местонахождение пупом земли, я заведомо оказывалась белой вороной.

Весьма смущали и другие аспекты общественной жизни, свидетельства глубочайшего дефицита демократии. Меня поражала политизированность итальянского телевидения, и я вспоминала американских журналистов, моих надежных вожатых в течение десятилетия политических катаклизмов, — они не имели никаких связей ни с Белым домом, ни с Конгрессом. Я знала, что они захвачены своими интригами, борясь за влияние на основных каналах телевидения, но в этом не было ничего общего с желанием подчинить информацию власти политиков.

напротив, итальянские мои друзья вовсе не стремились формировать независимое от власти телевидение, а хотели превратить его в вотчину левых сил. Я же считала, что пресса призвана быть противовесом власти — любой, какова бы она ни была, а не ее сателлитом, не “колонией”. В этом я ощущала себя стопроцентной американкой, и политический туман, заслонявший телевизионное окно в мир, действовал на меня угнетающе.

Иногда я терялась перед мелочами быта: например, не могла понять, почему принята суммарная форма телефонных счетов, освобождающая администрацию от обязанности отчитываться перед абонентами. Неизбежным следствием было вечное недоверие к государству: ему ставили в вину обсчет граждан; с другой стороны, в буржуазных домах служанок (в те времена нанимали еще не филиппинок, а итальянок) подозревали в том, что они украдкой звонят куда-то на край света. Подобные подозрения закрадывались даже в отношении гостей.

Меня то ужасало, то смешило невероятное количество бумаг, которые — в соответствии с требованиями контроля по обмену валюты — надо было заполнить в банке, чтобы вывезти из страны ничтожную сумму денег. Я выслушивала полные отчаяния речи путешественников и деловых людей, вступавших в борьбу со служащими — беспомощными, недовольными, без конца бастующими. Итальянцы критиковали систему за то, что она плохо функционирует; а я критиковала эту систему как таковую. Однако мне не приходило в голову отстаивать принципы свободной экономики: в США экономическая свобода была просто незаметна — ею дышали, как воздухом.

Самым неприятным казалось то, что государство во все вмешивается. Гражданское сознание американки кипело возмущением. Я попала в безвыходную ловушку: в США ратовала за полномочия государства, которое смягчило бы социальную несправедливость, а в Италии была далеко не уверена в правоте друзей, требовавших усиления контроля и власти государства. Наконец я сочла себя настоящей анархисткой, нетерпимой к любому принуждению, и противницей каких бы то ни было посягательств на свободу личности.

Италия в конечном счете была лишь одним из путей в моих поисках Европы. Но образ “моей” Европы, куда я так стремилась,

при встрече с реальностью рассеялся, как мираж. Друзья-итальянцы, увлеченные Кастро или вьетконговцами, смотрели на меня с недоумением, стоило мне завести разговор о строительстве новой Европы, о надеждах, которые могло бы оно пробудить. Чем была в те годы Европа для евреев, эмигрирующих или остающихся? Только символом позора и объектом вечных обвинений. Чем она была, если не скопищем всех грехов, терзавших “белого”, “западного” человека? Разве не была она реакционным монстром, окаменевшим в своих традициях, застывшим в своих границах? Признаки оживления возникали только вокруг молочных, масляных или мясных войн на Общем рынке. Пожалуй, Европа отождествлялась с карликовым королевством интриг и болтливых брюссельских комиссий, где неплохо бы подыскать местечко своим людям.

До идеала, как и до европейского единства, было далеко. Испания еще дремала под гнетом диктатуры. Франция после де Голля, держась на расстоянии от Бенилюкса, Германии и Италии, искала свой путь. Британия впала в американизм. Скандинавские социал-демократии проявляли первые симптомы истощения; Швейцария, как всегда, лелеяла свои слитки, а Австрия – лыжни и концертные залы. Центральная Европа еще не вошла в моду. Югославия с ее успокоительным самоуправлением уже никого не прельщала. Слышались далекие отзвуки первых забастовок польских шахтеров. В самом деле, только явившись сюда из Америки, можно было доискиваться общего смысла в том, что казалось (по крайней мере, на Западе) лишь химерой технократов. Даже литература ничуть не способствовала собиранию осколков погибшего континента. Замкнувшись в текстовом анализе или в воспоминаниях о прошедшей войне, она желтела себе на полках книжных магазинов, забытая читателями, увлекшимися революционной прозой. В культурной пустыне не слышно было ни единого голоса, поющего гимн Европе.

Один европейский город воплощал этот разброд как нельзя лучше – Берлин. Находясь в Павии, я получила от американского правительства приглашение в Берлин, на сбор всех стипендиатов Фулбрайта, рассеянных по Старому Свету. Я знала Италию и Францию, воспитывалась в духе англо-американских идеалов и ценностей. Когда я окидывала взглядом из Америки “мою” Европу, ее граница проходила по Рейну. Этот предел, эту мысленную линию Мажино мне и предстояло пересечь.

Чтобы лучше рассмотреть неведомую, теневую Европу, я поехала на поезде. Наверное, мне нужно было время, чтобы приближаться к Германии постепенно, километр за километром, — я всегда предпочитала делать вид, что ничего о ней не знаю, словно старалась не вдумываться в идею нацизма. Помнится, в США мне начали надоедать бесконечные разговоры друзей о еврейской Катастрофе, но тут, в уютном купе, я вдруг заметила, что вздрогнула при виде немцев “того” поколения. Мои идеи о европейском сообществе, о пространстве, объединенном мироощущением, культурой, историей, испарились, стоило мне увидеть современников кошмара, которые сидели передо мной, болтая, как ни в чем не бывало. Я отчаянно старалась овладеть собой, но ощущение расколотого мира не уходило.

Поезд остановился, и окрики пограничников вернули меня из страшного прошлого в тревожное настоящее. Мы подъехали к Железному Занавесу. Декорации поменялись — и нахлынули новые впечатления: наваждения еврейской девушки отступили перед волнением свободной гражданки. Все купе заполнилось солдатами в касках с овчарками на поводке, и в течение нескольких часов путешествие продолжалось словно в бронепоезде. Мы стояли на призрачных вокзалах, а вооруженные солдаты не спускали с нас непроницаемых взоров. В моей голове перемешались образы разных эпох, но леденящая душу реальность тоталитарного мира превосходила все, что я могла вообразить. Описывая ужасы коммунизма, американские газеты моего детства грешили недосказанностью.

Прильнув к окошку, я пыталась рассмотреть поработленную Германию. Старые крыши, безлюдье, бездорожье. Единственный признак жизни — лай собак где-то вдаль. Я вновь переживала чувство, однажды овладевшее мной, когда еще ребенком, в Майами, я узнала о венгерских событиях. Это необъятное серое небо с низкими тяжелыми облаками и было Европой. А в Америке тем временем неистовые ураганы чередовались с прояснениями горизонта. И все же низкое небо, видевшее столько исторических событий, притягивало мое сердце. Я вдруг почувствовала, что эта незнакомая местность мне близка. Оставив позади Рейн, я как будто заключила в объятия всю Европу.

Вокзал Западного Берлина. Наконец-то можно вынырнуть на поверхность, вдохнуть вольного воздуха. В движениях людей ощущалась свобода. Но на улице все немцы — пусть свободные,

пусть даже на вид самые беспечные – вызывали у меня смутное беспокойство. Что таилось за улыбками пожилых дам, о чем молчали безделушки в витринах? Эту землю я приняла, ее людей – пока еще нет.

В одной из таверн на Kudamm произошла встреча с “соотечественниками”. Все они уверяли, что в восторге от “experience abroad”*. Но потом в один голос стали жаловаться на трудности адаптации к образу жизни “аборигенов”. Чего только не испытывали эти загостившиеся туристы: в домах плохо топили, не находились нужные лекарства, молоко казалось странным на вкус, удивляла цена почтовых марок. Между тем все они были утонченными, образованными молодыми учеными, прекрасно знали Британский музей, Прадо, Сорбонну, Академию Санта-Чечилиа, но повседневная жизнь оставалась для них за семью печатями. Большинству эта поездка нужна была для диссертации: требовалось “взять пробы”, запастись капиталом, а уж потом можно будет бережливо пользоваться им всю жизнь.

Но нас пригласили в Берлин не ради нашего удовольствия и совсем не для того, чтобы наше сознание захватили тени прошлого или ностальгия по бывшей столице Рейха. Нам надлежало увидеть то, что станет, по замыслу Вашингтонских лидеров, витриной “Pax Americana”, и уяснить себе суть политики, спасшей половину Германии и Европы. Начало 1971 года было временем массированного вторжения Соединенных Штатов во Вьетнам. Возникла необходимость раскрыть перед молодыми американцами, в большинстве пацифистами, задачи внешней политики. Трудно было найти лучшее место для урока, чем... подножье Стены. Так что это берлинское мероприятие служило фоном драмы, которая разыгрывалась на рисовых полях, в тысячах километров отсюда. Точка нуля в международной системе, Берлин выступал лишь в качестве символа.

Итак, главной целью путешествия был Восточный Берлин. Когда-то в Америке высокопарные лекции официальных лиц вызывали у нас насмешку. Но в Checkpoint Charlie**, у врат Империи Зла каждый прямо-таки вцепился в свой паспорт – а ведь еще недавно кое-кто готов был его сжечь. Оказавшись по ту сторону, мы увидели старомодную одежду восточных немцев, киоски, где продавалась одна-единственная газета. Казалось,

* Заграничного опыта (англ.).

** Пограничный пункт между Западным и Восточным Берлином. – Прим. пер.

это антураж фильмов Хичкока. Но ощущение мороза по коже было вполне реальным.

Некоторые, правда, приняли за чистую монету показуху ультрасовременного Берлина и восторги нашего гида по поводу пятилетних планов. Постепенно и любопытство, и идеология отступили на второй план, все заслонили коммерческие интересы: по сравнению с ценами на Западе здешние государственные магазины поражали дешевизной. Музыканты торжествующе потрясали пластинками с полным собранием Бетховена – в Гамбурге или Лондоне за те же деньги купишь разве что одну сонату. Философы набрасывались на собрания сочинений Маркса (не такие уж полные), физиков соблазняли новинки восточногерманской оптической промышленности. В общем, каждый нашел свое счастье. Бизнес заставил забыть обо всем. На обратном пути в автобусе разговор коснулся вечной темы целей и средств. Многие удивлялись тому, что народная демократия оказалась столь “современной”. В таком контексте неприлично было говорить о поруганных формальных свободах – это означало повторять слова из лексикона официального Вашингтона, оскверненные во вьетнамских болотах. Последователи Франкфуртской школы отказывали в правоте и Востоку, и Западу. Таким образом, вопреки предположениям пригласивших нас сюда бюрократов, впечатления путешественников отличались неоднозначностью. Во всяком случае, крестового похода на коммунизм не получилось.

Я вышла из автобуса, взволнованная этим нереальным днем. Думала о том, как страшно жить берлинцам в двойных тисках собственного режима и советских войск, исполняя роль подопытных кроликов в социальном эксперименте, происходящем на глазах у их свободных братьев. Однако неловко было смотреть и на американских солдат, олицетворяющих сопротивление людоеду-СССР. Сидя в своих джипах, они не достаивали берлинцев вниманием. Выходило, что Германия-палач и Германия-жертва связаны одной веревкой, и распутать этот гордиев узел Европы мне никак не удавалось. Чтобы его развязать, надо было разрушить Стену. Тогда я даже не представляла себе, что это возможно. Я находилась в точке нуля Европы.

Отправляясь в Италию, я собиралась остаться там на постоянное жительство и была готова в случае необходимости принять

прежнее гражданство, которое сменила на американское лишь из практических соображений. Но по прошествии нескольких месяцев мне стало понятно, что это невозможно. Отказаться от американского паспорта означало оставить общество, которое, несомненно, находилось в состоянии внутренней войны, но она велась во имя близких мне принципов. Это означало покинуть динамичный, развивающийся мир ради загнивающей страны, пленницы непреодолимого прошлого и косных идеологий, ради иллюзорной Европы, одержимой призраками минувшего. Глубокое несоответствие между этим обществом и моими ценностями ранило меня, как в свое время моего отца; не случайно многие молодые евреи уезжали отсюда. В конце концов, возможно, что отец был прав, и следовало остановить свой выбор на Америке...

В один прекрасный летний день я прибыла в Геную, чтобы отплыть на теплоходе “Микеланджело” в направлении Нью-Йорка. Молодая особа, привыкшая летать самолетом, решила (стипендия обязывает!) повторить классический долгий путь всех эмигрантов, словно желая измерить реальное расстояние между старушкой Европой и Новым Светом. Меня провожал приятель, помогавший мне пробираться сквозь шквал забастовок. Прежде чем взойти по трапу на борт теплохода, надо было преодолеть океан препятствий: железная дорога, такси, носильщики – подвоха стоило ждать с любой стороны. Приключения начинались на суше, далеко от синей ленты моря. И в самом деле, я расставалась с северной Италией в беспорядочной Генуе, получив от моего друга в качестве прощального подарка автобиографическую книгу какого-то рабочего, ратующего за взятие власти над предприятиями ФИАТ. Итальянское интермеццо завершилось так же, как началось: я вновь была путешественницей, обремененной багажом, а вокруг дремало погруженное в застой общество.

В Неаполе произошла незапланированная остановка в связи с забастовкой моряков. Мое пребывание в Италии продлилось на двадцать четыре часа в родном городе отца. Неаполь – пограничный пункт моих детских представлений о Европе – уже не казался каким-то исключением среди городов полуострова. Он торжествовал победу, поскольку свойственный ему хаос все больше овладевал севером Италии. Бурбоны победили Габсбургов. Через тридцать один год я повторила путь моего отца,

отплыл в Америку из того же самого порта. Он спасался от расизма фашистов, а я бежала из деградирующей Италии. Он был инициатором разрыва, который я углубила.

Зачем оставаться в Италии, откуда уезжали многие итальянцы, в то время как меня ждал Гарвард, где я могла продолжать занятия? Моя попытка вернуться на родину предков потерпела крах. Я старалась себя утешить, забившись в третий класс вместе с маргиналами, выбравшими необычное время для плавания. Внезапно жестокая буря обрушилась на гигант “Микеланджело”, сотрясая его, словно крошечный плот. Пассажиры окопались в койках. В опустевшей столовой, где тарелки скользили по наклонной плоскости стола, совсем как в фильме с братьями Маркс, остались только я да члены экипажа. Эта буря, разразившаяся посередине пути, в центре антициклона Азорских островов, стала символом моих терзаний.

За день до прибытия в Нью-Йорк теплоход ожил. Пассажиры и матросы готовились к встрече с землей и нью-йоркским портом. На берегах Америки еще не погасли ночные огни, а у нас за кормой уже занималась утренняя заря. Мне казалось, что корабль плывет невероятно медленно. Я успела забыть, как огромен американский континент. Монотонно-плоский Лонг-Айленд тянулся бесконечно, и вдруг над горизонтом повисла зеленая лента – мост Вераццано, форпост нью-йоркского порта. Когда мы проплывали под этим чудом техники, едва не задев его высокой мачтой, все затаили дыхание. По другую сторону моста ожидало лоцманское судно, чтобы потихоньку отбуксировать нас к Манхэттену; впереди приветственно расстилалась по глади воды пенная дорожка. Мы вошли в залив Титанов.

Перед нами высилась величественная статуя Свободы. Будто иммигрантка, приближалась я к вратам Нового Света, и впервые меня захлестнула волна патриотических чувств к Америке. Их так не хватало, когда я принимала американское гражданство, а теперь они взорвались во мне, как бы освобождая от накопившегося в Европе напряжения. Вокруг был водный простор и небоскребы; Америка вновь открыла мне свои объятия, готовая меня принять.

Отрывистые звуки команд заглушили мой эмоциональный порыв. Появились офицеры иммиграционной службы, приглашая пассажиров покинуть палубу: нам предстояла отвратитель-

ная процедура полицейского контроля. Я сошла с теплохода с яблоком в руке. Молодой таможенник, мой ровесник, заставил меня открыть все чемоданы, попутно болтая о том, о сем. Прежде чем подписать разрешение на въезд, он отобрал у меня яблоко (запрещенное ко ввозу на американскую землю, оно было обречено на сожжение), после чего, вновь повернувшись ко мне с самой обворожительной улыбкой, попросил назначить ему свидание. Американская мечта вновь обрела реальность.

Возвращение в Гарвард

Надеясь вернуться после итальянских разочарований в привычную спокойную обстановку, я нашла в США калейдоскоп контрастов.

Университет уже не был тем защищенным от взрослого мира коконом, каким знала его я прежде... Былые различия между студентами начальных курсов утратили значение в свете навязчивой идеи “стиля жизни”. Тут подразумевалось единство бытового поведения, мировоззрения и политической позиции. Чтобы снять комнату в квартире, надо было выдержать собеседование, настоящий инквизиторский допрос: преданность неким кардинальным ценностям значила куда больше, чем порядочность или чистоплотность. По аналогии с кастовой системой в Индии, принято было поселяться вместе со “своими” — будь то феминистки или гомосексуалисты, негры или правоверные иудеи. Критерии отбора “своих” дифференцировались более тонко: вегетарианцы и приверженцы макробиотики не уживались с “плотоядными”; активные противники курения не могли допустить, чтобы им непрестанно досаждали курильщики; любители гашиша презирали “непосвященных” за их ограниченность; адепты восточной медитации не могли достойно общаться с людьми “от мира сего”. Были тут и сторонники ручного труда, осознанно отвергавшие мир мысли в своем увлечении прудонизмом; любители макраме — оппоненты поклонников плексигласа и тех, кто бредил информатикой... Все они входили в замкнутые кланы, которые, однако, не враждовали между собой. Общими для них были вера в личное действие и прагматический волюнтаризм, чрезвычайно далекие от идеологи-

ческой ангажированности европейцев. Все эти “life styles”* породила протестантская этика, и даже в стремлении с ней спорить они оставались ей верны.

Молчаливое согласие кланов между собой и со всей Америкой в целом относительно основных правил игры составляло силу многочисленных движений протеста того времени: они по-прежнему хотели изменить мир, но не проповедовали ни насилия, ни ненависти к “другим”. Каждая группа, уверенная в том, что обладает Истиной, могла позволить себе игнорировать всех прочих, тех, кто “пока еще” не нашел верного пути. Чтобы помочь другим, надо было убеждать собственным примером, то есть неуклонно следовать выбранному “стилю жизни”. Причем не исключалась возможность поочередного перехода из вегетарианцев в курильщики, из спортсменов в гедонисты, но на любой из стадий требовалось соблюдать выбранные принципы: в этой игре считались противоестественными эклектика, синкретизм или компромиссы...

Занимаясь историческими исследованиями уже в качестве дипломированного специалиста, я сразу же окунулась в атмосферу серьезности, характеризующую профессиональную жизнь американцев, в том числе и в университете. Речь шла об аскетическом погружении в работу, о безраздельном принесении себя в жертву на алтарь Науки. Если в первые годы обучения в университете я относилась к занятиям чересчур серьезно, то позже, готовя докторскую диссертацию, я так и не сумела достичь монашеского идеала, о котором говорилось на первом же заседании отделения истории. Среди аспирантов от двадцати двух до двадцати семи лет был будущий преподаватель Вест-Пойнтского военного училища, двое радикалов, человек, увлеченный историей еврейского народа, молодая женщина, углубившаяся в науку, чтобы доставить удовольствие мужу-историку, и несколько прилежных учеников, интересы которых еще не определились. Нас ничто не связывало между собой – ни стиль жизни, ни духовное родство. Но главное – моих товарищей, по-видимому, волновал выбор специальности, меня же – поиски смысла. Я изучала историю, чтобы понять настоящее – мое настоящее. Другие твердо верили в знание как таковое.

* Стили жизни (англ.).

Я настороженно присматривалась к обильному потоку исследований социологов и политологов, посвященных Европе. Первые на моей памяти молодые коллеги-американцы резвились в том самом саду, который, как я думала, принадлежал только мне. Они возвращались из Европы настоящими космополитами, тонкими знатоками лучших бистро и ресторанчиков и красочно описывали Париж или Милан. Однако Европа их картотек имела мало общего с моим собственным миром. Их интересовали только рабочие ФИАТа и “Рено”, синдикалисты и борцы грядущих революций. С моей же точки зрения, эти ученые подходили на буржуа, побывавших в скверной компании. Бравые демократы, у себя дома они боролись за вторичное использование стекла и отказывались покупать в магазине салат, чтобы поддержать профсоюз сельскохозяйственных рабочих-мексиканцев. Им-то легко было рассуждать о будущих победах коммунистов и о гегемонии рабочего класса: ведь платить за все это придется другим...

Измученная вьетнамской войной, расколовшаяся на многообразные “стили жизни”, обуреваемая сомнениями по поводу своей роли в мире и собственных основополагающих ценностей, Америка пережила травму Уотергейта как национальное возрождение. Вся страна, оскорбленная в своем достоинстве, сплотилась в порыве возмущения, чтобы защитить принцип разделения властей и дать отпор глумливой лжи, угрожающей демократической гласности. Скандал повлиял на психологию людей. Культивируемая пуританством личная ответственность, этика отношения к труду и профессиональный ригоризм – качества, которые прежде проявлялись только в частной жизни, теперь вновь вышли на первый план, на сей раз во имя демократии – общего идеала, всех объединившего в борьбе. Забота о благе общества оттеснила частные интересы. Америка вновь стала единой.

“Момент Уотергейта” был краток, но он вернул Америке национальную гордость, доверие к своим институтам власти. Они работали: американская демократия – в канун ее двухсотлетия – устояла. А европейцы – и в самой Европе, и даже в Гарварде – ничего не поняли. Левые и правые, марксисты и консерваторы реагировали одинаково цинично: “С чего это американцы подняли такой скандал вокруг ничтожной, банальной истории с подслушиванием телефонных разговоров?..”

Что касается демократии, разница в степени зрелости ее понимания достигла апогея, и межатлантические разногласия не ослабевали.

Для меня это был странный период жизни. Многие годы продолжалось мое одинокое плавание где-то между Европой и Америкой среди равнодушного окружения. Теперь я казалась себе маленьким парусником — меня теснили огромные морские суда, захлестывало бурными встречными течениями, а суть того, что они с собой несли, так и оставалась неуловимой. Не в силах отречься ни от гордыни американской демократки, ни от потребности жить по-европейски, я решала квадратуру круга: мне нужно было пуританство в убеждениях без пуританства в поведении, открытость при условии стабильности, динамизм — и вместе с тем глубокая основа. В принципе уважая “стили жизни” и личную активность как свидетельства широты американской демократии, я с трудом терпела то и другое в обыденной жизни. Кембридж предоставлял разнообразные возможности испытать себя, поэтому здесь для личности характерно было состояние вечного “эскиза”, жизнь превращалась в ряд черновиков, подвергавшихся бесконечной переделке.

Сдав экзамены, дающие право приступить к докторской диссертации, я переехала из квартирки в городе в университет, в добрый старый “хаус”, на сей раз в качестве “tutor’a”*. Времена изменились. Протест 1968 года увенчался подлинными победами: отныне Гарвард был открыт для женщин. Теперь они без тени смущения возвращались насквозь потные со стадиона вместе со своими товарищами. Они могли выбирать профессии, прежде доступные только мужчинам, и беспрепятственно появлялись там, где присутствие женщины когда-то считалось нежелательным...

А в городе, за воротами университета, постоянно тлела между тем опасность насилия. Нас не оставлял страх перед нападением, столкновением с сумасшедшим, ограблением и даже убийством. Женщины не выходили одни по вечерам. Даже мужчины остерегались углубляться в дальние уголки парка, где какой-нибудь незнакомец, выйдя из-за кустов, мог ни за что ни

* Младший преподаватель (англ.).

про что отнять у вас жизнь, прежде чем вновь безвестно исчезнуть. За сияющим фасадом наших свобод бок о бок с нами, как нечто обыденное, бродил призрак смерти.

На фоне кровопролитий в американских городах, не обошедших и университетскую башню из слоновой кости, казался смехотворным рафинированный космополитизм, навеянный Старым Светом, а европейская экзотика была скучна. Восторги насчет воды Перье, лотарингского пирога, оливкового масла, французских батонов и пармезана, интеллектуальные моды, ориентирующиеся на французские профсоюзы или на итальянских коммунистов, — все представлялось мне искусственным. Между неистойвой Америкой и этой мишурной Европой отсутствовала какая-либо взаимосвязь. Попытавшись вернуться к своим итальянским истокам, я потерпела поражение. Возможно, мое влечение к Европе искало другие пути воплощения в жизнь?

Европа—1975

Та Европа, которую я могла вновь наблюдать в 70-е годы, отнюдь не блистала здоровьем и все же возрождалась. Теперь уже я смотрела на нее не только через призму Италии. На моем горизонте возникли Франция и Германия. Вдали поднимали голову Португалия и Испания. В то время как в СССР нарастал кризис авантюризма, а в США кризис отступал, Западная Европа с трудом стряхивала оцепенение. Но невозможно было определить, какая сила одерживает верх: эссенции терроризма и свободы, коммунизма и демократии смешивались во взрывчатую смесь.

Чистилище звалось Италией. Гражданское общество, подточенное термитами идеологии, рассыпалось в прах. Традиционный цинизм перешел во всеобщую индифферентность. Смыкались друг с другом авторитаризм правых и левых, фатализм крестьян и нигилизм элиты. Крик и ропот молодежи — как неофашистов, так и маоистов — нагнетали атмосферу ненависти и отвращения, то и дело взрывавшуюся незаконными забастовками. Я будто бродила по политическому кладбищу, где непогребенные останки всех провалившихся режимов устроили пляску смерти, этаким финал-апофеоз. Вся Италия — передвижной музей гротеска — участвовала в спектакле.

Можно ли было принимать всерьез страну, где хронически не хватало мелких денег? На родине изящных автомобилей, дизайна, стильных бетонных конструкций, выпив чашку кофе или купив талончик в метро, приходилось набивать карманы тающими леденцами. Телефонный звонок без мелочи в кошельке требовал героических усилий. Повседневная жизнь, некогда такая спокойная, теперь напоминала джунгли. Полное падение

итальянского государства ознаменовал тот день, когда банки выпустили свои собственные билеты взамен испарившихся денег. Угрюмо-тревожное средневековье, какого Италия никогда не переживала, опустилось на полуостров.

Как сеньоры, забаррикадировавшиеся в своих замках, барды назойливых демохристиан и аморфной партии социалистов — все такие же бесцветные и непоследовательные — монополизировали политическую сцену, где климат нисколько не менялся за время моих продолжительных отсутствий. От года к году газетные заголовки в точности повторялись: неизменно шла речь о “параллельной конвергенции”, и для оценки тех же самых эфемерных политических альянсов использовались все те же заимствованные из геометрии метафоры. Университетская реформа вечно назначалась “на вторник”, как в одной из пьес Ионеско, а потом, так и не вызрев, с падением очередного правительства умирала. Владельцы предприятий — загорелые, динамичные, всегда очень элегантные — и их финансовые операции не сходили со страниц газетной хроники. Серьезная пресса соскальзывала на происшествия: везде насилие, деньги, секс. После страстей Уотергейта мне чудилось, будто я попала в обветшалые Содом и Гоморру.

Не заметно было и сколько-нибудь выразительной реакции на этот маразм. Мурлыкали уверенные в себе профсоюзы, давно превратившиеся в никчемные побрякушки. Коммунистическая партия выступала на политической сцене, где уже не оставалось иллюзий, как Святая Дева в ореоле непорочности, пользуясь репутацией тем более незыблемой, что ее никогда не подвергали испытанию. Среди этого болота возникали другие силы, сиявшие “новизной” (впрочем, ложной): неофашизм со свойственным ему тайным насилием, фундаментальный синдикализм с застарелым советским душком, наконец, терроризм, с отзвуками Сопrotивления и вооруженной антифашистской борьбы. Все покрылось слоем нафталина, причем смертоносного. Ибо теперь уже демонстрации не обходились без кровавых жертв. Какой-то молодой человек, сраженный анонимной пулей, упал у витрины магазина “Кристофль”. На следующий день невест, явившихся сюда за свадебными подарками, встречал траурный букет: Милан — город цветов.

Как было в этой ситуации не примкнуть к левым? Но к каким левым? Сенсационное сочетание элитарного снобизма и

отчаянного радикализма в “шикарном” Милане символизировал Фонд Джанджакомо Фельтринелли. В подчеркнуто аскетичной библиотеке Фонда, в двух шагах от “Ла Скала” и элегантнейших “бутик”, витал властный дух международного гошизма. Патрон Фонда, издатель Джанджакомо Фельтринелли в своих частных апартаментах руководил организацией первых вооруженных групп. Но когда по воле случая он подорвался у подножия опоры высоковольтной линии на заряде динамита, предназначенном для того, чтобы взлетела на воздух вся сеть электропередачи, его обугленное тело опознали только по шелковым трусам из самого элегантного миланского магазина. Между прочим, его гибель причинила беспокойство многим великосветским дамам — им пришлось изыскивать в своем расписании время, чтобы загладить последнюю выходку “Джанджи” присутствием на его похоронах, достойных представителя наиболее благороднейшей фамилии.

Салонный радикализм прекрасно уживался с радикализмом старательных мелких служащих, из которых в основном состояли Красные бригады. Позже те, кто не находил своего места в полностью дезориентированном обществе, ударились в карикатурный анархизм. Но безумию левых соответствовало такое же безумие правых. Консервативные молодые люди, склонные к неофашизму, “по старинке” одетые и вечно в черных очках, кипели ненавистью. В США они входили бы в “молчаливое большинство”, а позднее — в “нравственное большинство”. В Италии, держась в тени, они просачивались в высшие государственные сферы. Их можно было встретить в римских салонах, где с подобающей нигилистам небрежностью они демонстрировали безупречные манеры и пустой взгляд.

Среди этого маразма естественнее всего было искать единства с силами “прогресса”, со средним классом, не связанным с Церковью, сочетающим уважение к традициям с умеренностью, избегающим крайностей. В то время его представители, за неимением лучшего, тяготели к остепенившейся коммунистической партии. Так в середине 70-х я вернулась в свой прежний мир 1968 года: это были врачи, инженеры, адвокаты и университетские преподаватели, полностью “обратившиеся”. Демократы, люди ответственные — они могли бы стать настоящими либералами в американском понимании, но их, словно бабочек на огонь, влекло к партии. Отныне все разговоры

вращались вокруг официальной линии, собраний ячеек, “товарищеских” дискуссий, осторожных толкований демократического централизма. Собираясь в воскресный день в сельском кабачке, молодые “белые воротнички” забывали о своих профессиональных заботах, внимая истинам из уст местного партийного секретаря. Эта “прогрессивность” недешево обошлась — все казались поставлены на колени. Великие баталии за свободу итальянского общества, переживающего полную трансформацию, велись под знаменем умеренного ленинизма. Выступая за развод, надо было осуждать формальные свободы; отстаивая отделение Церкви от государства — поклоняться историческому материализму; крича о свободе — закабалить собственный разум. Короче, надо было воевать с традициями, сохраняя союз с Историей.

Эта ментальная гимнастика и нравственное трюкачество отбрасывали тень на демократические победы. Не станут ли они предлюдией к торжеству нетерпимых левых? В поисках возможного противоядия стоило пристальнее присмотреться к скромным провинциальным католикам-консерваторам — с ними я познакомилась в католической резиденции во время короткой научной командировки в Милан. Здесь я увидела “реальную страну” — Италию в преддверии Просвещения. Для этих дочек промышленников или простых крестьян демократия была чем-то вторичным, знача несравнимо меньше, чем преданность бессмертному католицизму, а грех социального развала внушал им гораздо большие опасения, чем призрак фашизма. В лоне Христианской демократии прилагательное считалось важнее существительного.

Будущие администраторы поступали в свой католический университет с безупречно чистыми стенами, удаляясь от забастовок и марксизма, чтобы освоить игры с властью. В большинстве посредственности, циничные, корыстные и коррумпированные, в соответствии со своими политическими аппетитами, они входили в университетские аудитории, как кондотьеры, которым неведомо благородство. Казалось, они достойны лишь презрения — до такой степени им были чужды какие-либо идеалы. Одержимые куцей, едва ли не пошлой в их интерпретации идеей стабильности, желая спасти только самих себя, они все же сыграли свою роль в спасении Италии от опасностей экстремизма.

А тем временем опухоль терроризма росла, паразитируя на ослабленном теле общества, утратившем иммунитет. Оценив серьез-

езность миланских друзей, я с ужасом наблюдала, как римские приятели играют в жмурки с темными силами терроризма. Считая, что конец государства близок, не питая никакого уважения к властям, левые не желали выдавать им “своих”. Они всего лишь лицемерно называли террористов “товарищами, которые заблуждаются”, и с постыдной беззаботностью совершали худшее из преступлений против “*res publica*”. На обедах в Риме без всякого стеснения оживленно спорили о ком-нибудь из знакомых: он-де “что-то знает”. Непринужденно строили предположения о подозрительном поведении какого-то приятеля друзей — так, будто речь шла только о психологии личности, а не о выживании демократии. Все охотно включались в игру. Казалось, взгляды пресыщенных левых политиков горели азартом борьбы без риска. Но убийства, покушения на журналистов и судей были реальным фактом. И не случайно террористы нападали именно на них: пресса и правосудие обеспечивали дыхание свободной демократии. Тот, кто в Америке был бы героем, в Италии становился жертвой.

Я понимала желающих вырваться из этой чересчур затянувшейся пьесы — то ли трагедии, где нет ничего возвышенного, то ли фарса без всяких признаков комизма. Ряды отъезжающих молодых евреев пополнялись. Дядя и тетя из Вилладжо Амброзиано эмигрировали в Канаду. Другие замкнулись в своей скорлупе, дома дрожали от страха и надолго пускались в экзотические путешествия. Жуткая расправа с Пьетро Паоло Пазолини и политическое убийство Альдо Моро имели решающее значение: час моего расставания с Италией пробил.

Годы, проведенные в Америке, не прошли для меня бесследно. Я не могла поверить, что идеологии прошлого, которые я так долго изучала, все еще способны оказывать воздействие на нашу повседневную реальность. По-прежнему я была убеждена, что свободная демократия является “естественным условием” существования для современного человека. Сторонники марксизма и неофашизма попросту играли словами, кокетничая с толпой, но это были зуряднейшие личности. Цепляясь за “измы”, в своем жизненном поведении они оставались пошлыми обывателями и индивидуалистами. “Протестантка” в душе, я возмущалась их непоследовательностью. Таким образом, я наблюдала за политической сценой не

без скептицизма, но довольно наивно, почти как любой средний американец, в отличие от американцев-коллег, наслаждавшихся зрелищем этого идеологического цирка.

Германия снова помогла мне разобраться в своих чувствах. В баварской глубинке, на перекрестке германского прошлого и современности без цвета и запаха, обнаружила я первые робкие ростки новой Европы. Я провела два месяца в Институте Гете, в Мурнау — деревеньке с почтовой открытки, некогда любимом месте отдыха знаменитых живописцев “Синего всадника”: берег озера, тропинки и холмы увековечены на экспрессивных полотнах Франца Марка, Шмитта-Редлупфа, Макке и самого Кандинского. Но комфортабельные шале “Прекрасной эпохи”, в которых собирались художники-гуманисты, теперь уступили место банальным резиденциям богатых баварских предпринимателей. Меня окружали мир и довольство немецкого экономического чуда.

Мурнау — традиционная деревня с красивыми яркими домиками и простыми церквушками — процветала также благодаря земледелию. И потому приезд сотен студентов, привлеченных Институтом Гете, для ее обитателей был очень кстати. В этом сельском уединении мне жилось уютно. По полям колесил на велосипеде почтальон. В “Konditorei” собирались старушки на ритуальную чашечку чая. В тавернах, потягивая из кружек пиво, крестьяне курили расписные фарфоровые трубки. Вечерами молодые люди бродили вокруг озера, а те, кто жаждал романтического свидания, брали напрокат лодки. В воскресенье после мессы они прогуливались по кладбищу, а потом рассеивались в лугах. Эта устоявшаяся испокон веков жизнь словно сошла с картин Брейгеля.

Так думала я до тех пор, пока не решилась, усовершенствовав свой немецкий, вступить в беседу с деревенскими жителями. Волшебная сказка кончилась. Мой райский уголок, конечно же, оказался оплотом архиконсерватизма, всецело преданным местному герою Францу Йозефу Штрауссу. Но эта верность почти нескрывая попахивала нацизмом. Крестьяне на все лады восхваляли достоинства нацистского “Возрождения”. Дама, у которой мы снимали комнаты, трактиршики, молодые сельскохозяйственные рабочие готовы были петь дифирамбы Гитлеру, сумевшему поднять Германию, великому строителю шоссе-сех дорог, создателю системы пенсионного обеспечения.

Они отдавали предпочтение фюреру по сравнению с послевоенными политиками. Выходит, цветы на могилах молодых солдат, погибших за Третий рейх, имели не только личное значение. Этим ностальгически настроенным крестьянам не пришлось пережить тех ужасов, что творили нацисты в городах; в их окружении не было евреев, они не испытали бомбардировок в конце войны, — и они даже не понимали, насколько чудовищны их слова. В отношении к истории они сохраняли полную невинность, а при упоминании об уничтожении евреев махали рукой, как бы желая сказать, что им уже надоело вечно слышать одну и ту же песню. Как и жители Дахау, вынужденные постоянно показывать туристам дорогу к концлагерю, они считали “еврейский вопрос” не то чтобы деталью, но скорее как-им-то беспредметным заблуждением, которым иностранцы им досаждали сверх всякой меры...

Что касается немецкой культуры, в те скудные времена мы могли рассчитывать лишь на жалкий эрзац. Институт Гете, при всем блеске его “модерна”, унаследовал от великого тезки только имя. Мы попали туда прежде всего ради изучения языка, однако это был язык, лишенный какого-либо содержания, застывший еще в большей степени, чем мертвые языки. Впрочем, для большинства студентов погружение в немецкий язык имело чисто практический смысл: они хотели сдать диссертационный экзамен, проникнуть со своим “делом” на немецкий рынок (среди нас уже были и представители Японии), организовать туристический сервис. Тот немецкий, что нам преподавали, был языком абсолютно стерилизованным, без малейших ссылок на историю, географию или культуру. Мы имели право только на “официальную” Германию, без цвета и запаха. В предлагавшихся нам для чтения безликих текстах качества немцев сводились к способностям управлять машиной или ездить на поезде, беседовать в кафе о погоде, мирно трудиться в благополучной конторе или на благополучном заводе, читать иллюстрированные журналы и возделывать свой садик. Эта лубочная картинка, скорректированная применительно к ценностям общества потребления, разумеется, контрастировала с тем “грубым” политическим языком, который мы слышали в деревенских пивных, с отзвуками альтернативного движения, доносившимися — стоило лишь прислушаться повнимательнее — из Берлина или из Мюнхена, с грохотом первых акций, развязан-

ных террористическими группировками – подпольными силами, чье существование должна была скрыть преподносимая нам прилизанная Германия.

Я чувствовала всю тяжесть недуга Германии. И если оставить в стороне то, что я знала о Франкфуртской школе, при ее очистительной роли не отличавшейся избытком оптимизма, – культурное запустение предстало передо мной в грандиозных масштабах. Укрощая демонов, Германия нанесла поражение и светлым духам. В своей баварской дыре я наблюдала безрадостную победу Института Гете над самим Гете.

Однако даже при такой глубинной опустошенности Германия, словно на негативе, проявляла европейскую идентичность студентов, учившихся в институте. Англичане, французы, итальянцы, в большинстве своем воспитанные в провинции, вдали от культурных мод, – все мы, столкнувшись с почти непристойной ностальгией крестьян по легким временам нацизма, реагировали одинаково, с естественным отвращением. Даже испанцев, к удивлению прочих, это ужасало: оказывается, они были демократами и с нетерпением ждали смерти Франко, смеясь над его цензурой и горя желанием присоединиться к “Европе шести”. Казалось, все недоразумения рассеиваются. Я впервые смогла посмотреть на беды Италии как на нечто относительное. Мы нашли друг в друге единомышленников, и это было предзнаменованием будущего Европы, свободной от идеологических барьеров, от игр политиканов и от волокиты “взрослых”.

В результате португальской “Революции гвоздик” 1974 года впервые за послевоенный период скованная “мерзлотой” карта Европы начала оттаивать. После трагедий в восточных странах, когда демократические требования были потоплены в крови, португальская весна принесла глоток свежего воздуха в Европу, усыпленную идеологическим наркозом и впавшую в историческую амнезию. Но с этим пробуждением активизировались силы, которые с 30-х годов все еще дремали, законсервированные подо льдом послевоенных лет. Европа середины 70-х – от португальской революции до фантастического разбега еврокоммунизма – напоминала портрет в технике “кьяроскуро”: еще не определившиеся черты несли печать возрождения марксизма, но в них светилась и надежда на открытость.

Воспоминания о совершенном однажды путешествии в Португалию помогли мне представить радость уличной толпы, празднующей падение режима Салазара. В памяти возникла весна в замороженном Лиссабоне 1970 года: на лицах читался страх, разговоры обрывались при появлении полицейского и даже в такси — шофера подозревали в том, что он “стукач”. Вокруг я видела бедность — быть может, такую же, как в Неаполе, но ее усугублял политический гнет; от этого перехватывало дыхание, и атмосфера христианско-демократической Италии казалась почти безоблачной.

Как было не разделить ликование португальского народа, первым среди европейцев пустившегося в пляс на празднике обретения свободы? Но над этим весельем сгущались антидемократические тучи: угроза военных путчей как справа, так и слева; ностальгия по Сталину отряхнувшихся от нафталина коммунистов; утопии маоистов, с их абсурдными попытками опереться на крестьянские массы, не слишком увлеченные Красной книжечкой Мао; политические маневры технократов — все это единым фронтом уже надвигалось на новорожденную демократию.

Я следила за перипетиями португальских событий из своего миланского католического колледжа: надежда, тревога, смятение проносились вихрем, сменяя друг друга. Очень скоро, уже с весны 1975 года, газета “Ла Пренса” стала испытывать давление изнутри, со стороны сталинистов, открыто враждебных к любой форме плюрализма. Обеспокоенные конфликтом между португальскими социалистами и коммунистами, французские и итальянские социалисты не знали, как себя вести. Коммунисты, даже те из них, кто считал себя “просвещенными”, старались во имя эфемерных ценностей революции хоть как-то оправдать неприемлемые действия камарильи сталинистов. Интриги, в которые пускались “красные” и “розовые”, явно были недостойны тех высот, где веял ветер свободы.

Мне было не по себе от реакции, вызванной проуждением Португалии в других странах. Левые разных оттенков усматривали в этом событии некий тест, облегчающий плетение собственных домашних интриг в лабиринте противоречий, на радость американским ученым. Последние — новые Джоны Риды — со страстным нетерпением ожидали возможного революционного всплеска в Европе. Хуже того: в страхе перед коммунизмом кое-кто взял сторону реакционных авторитарных режимов, так как лишь они якобы способны поддержать видимость “порядка”. В католи-

ческом колледже, где я тогда находилась, многие опасались, что идущая из Португалии красная волна в дальнейшем захлестнет всю Европу. Нити, которые кропотливо сплетал “Opus Dei”, связывая технократов из церковной среды с традиционной сетью религиозных организаций Иберийского полуострова, вот-вот могли порваться. Целый мир ощущал себя на краю бездны — это легко было понять по лицам находившихся в колледже монахинь и священников, когда все смотрели телевизионные новости.

Испания, сравнительно богатая и с крепким социалистическим подпольем, пережила конец франкизма значительно благополучнее. “Мягкий” коммунизм Сантьяго Каррильо резко отличался от сталинизма Альваро Куньяла; к тому же об ужасах режима Франко было известно достаточно — хотя бы из воспоминаний о гражданской войне; незадолго до смерти диктатора распространились сведения и о казнях через удушение. Италия, забыв о своих внутренних противоречиях, единодушно осуждала подходящее к концу царствование варвара. В 1966 году, когда Коста Гаврас снял фильм “Война окончена”, Испания как будто находилась где-то далеко, на краю света. К 1975 году она уже приблизилась. Туризм успел одержать победу над франкизмом: страна узнала обо всех течениях и особенностях жизни за рубежом. Испании оставалось только сбросить ветхую оболочку, чтобы готовые уже распусться побеги гражданского общества зазеленели в ней повсюду.

Возвращение Испании в лоно Европы немедленно оживило самые безумные фантазии левых, в частности еврокоммунизм. В этом движении ярко воплотилась двойственность эпохи. В его магической формуле, казалось, обретали смысл взаимоисключающие начала — демократические импульсы, упования на революцию и интернационализм, вера в национальные реформы. Это было попыткой найти квадратуру круга: играть в парламентскую демократию, признавая в то же время ведущую роль партии; причем растущее могущество Советского Союза в расчет не принималось. Американка либеральных убеждений, я видела в еврокоммунизме лишь сумасбродную авантюру. Коммунистические лидеры развивали мудреные объяснения, достойные блестящих пассажей средневековых богословов. Можно ли молить блаженного Ленина о даровании веры в демократию? Тревога на лице Энрико Берлингуэра, “папы” еврокоммунизма, как будто говорила об этом не спадающем напряжении. Спусти

несколько лет он умер от удара, — помнится, я тогда подумала, что его мозг не выдержал невыносимых противоречий, для разрешения которых ему приходилось использовать все свое умение и такт, в то время как развертывалась авантюра еврокоммунизма.

Чары еврокоммунизма, однако, распространились далеко за пределы левых кругов. Американские университеты связывали с ним новый революционный “толчок”, а политические консультанты в США искали способы остановить это движение. Реформистские и антикоммунистически настроенная буржуазия видела, что этот враг, маскирующийся под опасно-соблазнительной внешностью, осложняет ее жизнь. Вечером за столом в лучших итальянских домах люди просвещенные уже поговаривали о том, что готовы, зажав нос, отдать голоса за демохристиан, из страха перед мятежной незнакомкой, за чьей спиной стояла советская угроза. Террористы неустанно обличали “старческую расслабленность” коммунистических партий. За этот мираж Италии пришлось дорого заплатить.

От еврокоммунизма стоило в конце концов оставить лишь робко прорастающее “евро”. Впервые за послевоенный период прилагательное “европейский” высвободилось из скорлупы технократизма и стало ближе населению, чьи политические и профсоюзные представители всегда выступали против ЭЭС. Капиталисты и противники капитализма, рабочие и средний класс начали, таким образом, искать партнеров по ту сторону ставших тесными государственными границ. Цветок “еврокоммунизма” увял, но стремление к открытости потихоньку укоренилось в сознании европейцев, — можно даже утверждать, что это движение предвосхитило распад коммунистической догмы и нынешний кризис левых, которые считали себя победителями, но уже тогда отстали от мира. В отличие от американцев моего круга, радостно предвкушавших революционный кризис, я видела в еврокоммунизме шаг — пусть неосознанный — к демократической открытости. Мы поклонялись разным богам.

Либерализм американки не позволял принимать всерьез иллюзии еврокоммунизма, а опыт жизни в Европе, близкое знакомство с ней пробудили во мне большую чуткость к растущей угрозе коммунистического интернационализма. Когда-то, как и все американцы моего поколения, я смеялась над антикоммунистическими и антисоветскими крестовыми походами США. Но тогда угроза была далека, а Америку одолевали собственные бесы.

Находясь в Италии, уже невозможно было проявлять подобную безоглядную беспечность. Новость о падении Сайгона в 1975 году оставила горькое, смешанное чувство. Кошмар наконец-то кончился, и американцы уходили из Вьетнама. Мы получили то, за что так долго боролись. Но произошло это при условиях столь недостойных, что у меня, в отличие от итальянских левых, победа вьетконговцев особого ликования не вызвала. Антиимпериализм и жестокость революционеров пугали. Желая, чтобы Америка изменилась к лучшему, я не хотела, чтобы она была раздвлена. Кроме того, меня тревожило пустословие европейских политиков. Канатные плясуны, специалисты по запутыванию следов – эти интеллектуалы могли взять власть. Я не представляла, чтобы мной стали управлять люди, не приемлющие безоговорочно формальных свобод и разделения властей. В тот момент, когда и в Азии, и в Европе дело шло к победе левых антиамериканских течений, я, словно защищаясь, крепко держалась за то, что было во мне “американского”.

В середине 70-х годов единственным островом покоя в сердце Европы казалась Франция. Ее молодой президент прервал преемственность долгого правления голлистов. Судя по всему, он был намерен ввести страну в фазу интенсивного обновления. Идеологические битвы 1968 года как будто стихли, и многие – как среди правых, так и среди левых, – делали вывод о семилетии без крупных политических столкновений “по американскому образцу”. Приезжие – вроде меня – удивлялись знаменательным переменам: исчезли автобусы сил безопасности, раньше постоянно дежурившие в Латинском квартале (признак полицейского государства, где всегда пахнет пугчем); точно так же исчезли из Люксембургского сада сторожихи, собиравшие с посетителей плату за стулья. В Париже в эпоху Помпиду развернулись крупные строительные работы, он оброс лесом подъемных кранов, омолаживаясь на глазах, в отличие от Америки, “современный” вид которой несколько потускнел, и от Италии, где не прекращались идеологические сражения.

За этой многообещающей витриной шла подготовка к осуществлению иного идеала: переживающий трансформацию рабочий класс и все более неустойчивые средние слои, вспоминая лексику и образ действий революционеров, намечая пути

классовой борьбы, мечтали о “единстве левых сил”. Но во Франции середины 70-х годов, где не было терроризма, а крайне правые не поднимали голову, два антагонистических идеала уживались мирно. Общество, сохранявшее стабильность даже при вспышках возмущения, удерживало идеологический конфликт в каких-то благородных рамках. “Милая Франция” тех лет выглядела благополучной. Отрадно было дышать ее воздухом.

В этой ситуации левое движение во Франции стало излюбленной темой молодых американских специалистов по Европе. Они проникали в ячейки ВКТ, ФДКТ или ФКП на городских окраинах, где суежилась целая толпа никому не ведомых активистов. Всем этим банковским кассирам, временным служащим, санитарам, школьным учителям, не имевшим постоянной работы, безмерно льстило внимание американских интеллектуалов, которые превращали их в “объект исследования” и охотно шли на общение с ними в повседневной обстановке. Это позволяло им думать, будто они играют свою роль, пусть скромную, в том, что дядюшка Сэм проявляет открытость левому влиянию, а стало быть, вносят вклад и в конечную победу над капитализмом. Но за бутылкой вина выяснялось, что кочегары паровоза революции — большие любители повеселиться: едва завершались политические дискуссии, разговор вертелся вокруг радостей уик-энда, предстоящего отпуска и возможностей лучше распорядиться средствами комитетов предприятий. Никакие реальные беды не питали идеологическую непримиримость. Противостояние классовому врагу было скорее игрой, чем необходимостью. Толкуя Маркса, тут же обсуждали и свежий способ надуть капиталиста. “Гвоздь программы” заключался в том, чтобы вынести из универсама лишнюю упаковку какого-нибудь товара, используя уже имеющийся чек на идентичную, под тем предлогом, будто вы вернулись в магазин, забыв что-то купить, и по ошибке внесли сюда свою законно оплаченную покупку. “Стахановцы” а la française* соревновались, кто больше наворует камамберов, творожных сырков и йогуртов. Американские ученые, твердые в пуританской морали, терялись от изумления — им никогда и в голову не пришло бы украсть, хотя бы ради “правого дела”. Однако заатлантическим кандидатам приходилось мириться с местными нравами, чтобы

* По-французски (фр.)

ценой общения с сомнительной компанией несколько оживить свои сухие диссертации.

Вооружившись карточками для записей и магнитофоном, они прочесывали Париж в поисках революционной искры, проникали на самые рядовые партийные собрания левых, — а те даже к собственным словам относились без особой серьезности. Пребывая в некоей эйфории, американцы в действительности гонялись за миражом, и, как правило, вне их внимания оставался парижский бомонд с его играми вокруг власти. Они не бывали ни на прокуренных модных семинарах греков-марксистов, ни у проповедников идеологии третьего мира, ни на лекциях эпистемологов, привлекавших тогда основную массу лицейских преподавателей философии. Исследователи из Нового Света не замечали идеологических кружков, процветавших под сенью ведущих журналов, слепо проходили мимо узких дверей французской интеллектуальной элиты, в сущности, равнодушные к дебатам закрытого для них общества. Напоминая сезонных рабочих-иммигрантов, они появлялись только затем, чтобы обработать свой участок золотого дна и поскорее убраться восвояси.

Меня влекло во Францию совсем другое. Она рисовалась мне оазисом на полпути между беспокойной Италией и чуждой Америкой, укрытием, где я искала спасения от внутренней бури. Не принадлежа ни к франкофилам, ни к франкофобам, я любила Францию по причинам, не поддающимся рациональному анализу: мне нравились безукоризненно ритмичная работа ее автобусов, новое здание FNAC* и современный аэропорт имени Шарля де Голля, обилие булочных и безмятежность скверов, богатство книжных магазинов, где царил порядок. Многие воскрешало в памяти детский восторг поры летних каникул, когда Париж был моими царскими вратами в Европу. Спокойная уверенность государства, идущего намеченным курсом, продвижение к свободе хорошо структурированного общества, достоинство закона Вей подтверждали представление о Франции как стране, соединившей лучшее из моих двух миров. Любовь помогла мне отважиться на решительный шаг и избрать местом жительства Париж — возможно, конечный пункт моих поисков Европы.

* Национальный фонд современного искусства (фр.).

Гражданка Трансатлантики

Итак, прожив двадцать один год в Соединенных Штатах, я совершила “прыжок в Европу”. Париж, щедрый на впечатления и не внушающий тревоги, город-маяк летних путешествий моего детства, казалось, предлагал идеальный компромисс для углубления моих поисков. Обзаведясь новеньким аттестатом доктора философии и свежее испеченным мужем, я полагала, что вступила в пору зрелости под безоблачным небом.

Мое возвращение в родное лоно, однако, оказалось делом нелегким. Я-то думала, что вернулась “домой”, но в глазах моих новых знакомых-французов я так и осталась американкой, вышедшей замуж за человека “их” круга. Сформировавшиеся в условиях Европы Наций, под сильным влиянием культурного шовинизма, они считали, что идентичность есть плод воспитания, и поспешили приписать моему складу ума и образованию как раз те черты, которых я так чуждалась долгие годы, пока жила в Америке. Короче, для них я была “American academic”, случайно задержавшимся во Франции на длительный срок. Я сама попала в ловушку культурного антиамериканизма, в котором была воспитана, чем и определялись мои собственные реакции в Соединенных Штатах. Не беженка, не изгнанница, совсем не похожая на приезжих из какой-нибудь европейской страны, исполненных благоговения перед Парижем, — я была просто иностранкой, а из-за того, что почти не отличалась от “своих”, мое присутствие еще сильнее их стесняло. Старая Европа не находила места для тех, кто возвращался.

Так я стала — скорее в силу обстоятельств, чем по собственному выбору — “трансатлантическим” существом, кем-то вроде жрицы, призванной служить в храме развивающегося культа франко-американских отношений. С точки зрения окружающих, этот путь был предопределен всей моей жизнью: французским воспи-

танием в Вашингтоне, обучением в Гарварде, американским гражданством, замужеством за французом, знанием обеих стран. Препятствие было только одно, правда, самое существенное: мое желание стать наконец тем, кем я себя ощущала, — европейкой.

В 1977 году я без сожалений рассталась с Америкой, которая быстро исцелялась после отравления вьетнамской войной и шла по пути духовного очищения под эгидой вновь избранного президента Джимми Картера (за него голосовала и я). В обретенной мною Франции усилилось идеологическое брожение. Я променяла демократию, отмеченную печатью библейской традиции, на демократию другого типа — более конфликтную, лавирующую между страхом и революционными надеждами. В период подъема итальянских и французских левых сил тот оазис, каким виделась мне Франция середины 70-х годов, превратился в поле идеологической битвы между ослабленным Западом и победоносным СССР. После того как Италия повернула в сторону “красных”, а Франция взяла “розовый” курс, европейское сообщество рисковало утратить свое лицо. В воздухе витала тревога перед неизвестным, ощущалась опасность игры с огнем.

По правде говоря, этот идеологический всплеск не очень меня беспокоил. Я рассеянно наблюдала за стычками между французскими социалистами и коммунистами. Раскол единой программы, который произошел вскоре после моего приезда, — вполне, на мой взгляд, естественный, — я расценила как хорошее предзнаменование, но не могла принимать все это всерьез. В отличие от Италии, Францию, по моим впечатлениям, не так глубоко затрагивали ожесточенные словесные баталии, в них не было настоящей социальной ненависти. Франции не грозил терроризм, она была сильна своим государством, опиралась на развитые и крепкие социальные структуры и могла не опасаться потонуть в хаосе. Я думала о пропасти, отделявшей идейные разногласия от повседневной реальности, когда проезжала весной 1978 года по солнечному Провансу, — а Италия именно тогда переживала самые тяжелые часы после похищения Альдо Моро. Поистине символичен был контраст между мирным видом усеянного кипарисами ландшафта, столь похожего на итальянский, и новыми ледящими подробностями итальянской драмы, сообщаемыми по радио. Я могла воочию убедиться в социально-политической прочности французского общества: идеологические бури не нарушали безмятежности оазиса.

Меня совсем не удивило, что французы не бросились вслед за левыми в самоубийственную авантюру, а предпочли принять “благоразумное” решение на выборах в законодательное собрание 1978 года и пошли за президентом, тогда еще не казавшимся им высокомерным. На следующий день после выборов отчаяние на лицах левых лидеров, словно сошедших с популярных карикатур Клер Бретеше, выглядело явно преувеличенным. Их с головой поглотила идеологическая иллюзия – и это во Франции, где ритм жизни определялся работой рынков и периодичностью отпусков.

Итальянская часть моей души наслаждалась во Франции покоем, но я все еще оставалась американкой. По законам Соединенных Штатов я не имела право на двойное гражданство; Франция же не предоставляла гражданство сразу по вступлении в брак, так что мой статус объяснялся бюрократическими причинами. Но по правде говоря, у меня были и более серьезные основания держаться за американский якорь. Орел на паспорте воплощал для меня (как раньше для отца) демократическую гарантию моей безопасности в Европе, отягощенной не только прошлым, но и существенной в моих глазах нынешней неопределенностью. Телом и душой воссоединяясь с Европой, я оставила для себя запасной выход. Потом именно во Франции мне пришлось столкнуться с грубой нетерпимостью к моей американской идентичности, скрытой так глубоко, что ни в Италии, ни в Соединенных Штатах меня не признавали американкой.

Между тем, отношение к Америке в стране понемногу менялось. Антиамериканизм, заметный в интеллектуальной жизни французов после войны, стал смягчаться. Правда, празднование двухсотлетия Декларации американской независимости в 1976 году дало особый повод для резкого осуждения геноцида индейцев, “основополагающих мифов” американской демократии и культурного “империализма”, в котором видели новую форму стремления Америки к мировой гегемонии. Но по сути дела антиамериканизм лишился почвы. После поражения во Вьетнаме гигант выглядел более человечным, тогда как угроза со стороны Советского Союза нарастала. Свежие инициативы Джимми Картера вернули кредит доверия американским демократическим институтам, сумевшим во время Уотергейта “слоमित” президента. “Четвертая власть” привлекала французских журналистов молодого поколения, стремившихся освободиться от строгого ошейника Пятой республики с ее политическими нравами. В то же

время и жажда новизны в литературе и кинематографе тянула молодежь к Новому Свету.

Но главное — французское общество в целом, казалось, охотнее поворачивалось к Америке. От джинсов до детективов, от музыки до изобразительных искусств — все способствовало более позитивному восприятию континента, ставшего символом прогресса, открытости, динамизма, а прежний образ “монстра” забывался. Путешествия в Америку понемногу входили в обычай. Итак, именно в то время, когда в сфере политико-идеологической Францию одолевали самые сильные волнения, когда обострился разрыв между левыми и правыми, — живые силы общества, нередко те же, что ратовали за победу левых, начали проявлять интерес к Соединенным Штатам.

Я воспринимала проамериканские настроения с воодушевлением. Появилась надежда на то, что моя расколотая идентичность наконец обретет целостность. Чем шире раздвигался горизонт, чем более искренним в своей открытости становилось население, тем больше я радовалась, убеждаясь в том, что в мощи Соединенных Штатов есть нечто заразительное. Мне нравилась повсюду распространявшаяся реклама в американском духе: ее лозунги свидетельствовали о зарождении демократического индивидуализма. Я с улыбкой отмечала новую моду на майки и куртки тех цветов, что носили американские футбольные команды, на “морские” ботинки, напоминавшие мне о коридорах Вестминстера. Наблюдая, как туристы штурмуют Новый Свет, я знала: они вернутся оттуда другими; я с увлечением погружалась в каждую статью, где положительно оценивалась американская политическая модель. Этот новый взгляд, теша сознание демократки, приносил мне умиротворение. С долголетним равнодушием и враждебностью к Америке покончено. Наконец-то мне удастся собрать в одно целое разрозненные частички моей идентичности во Франции — открытой стране, которая освободится от пут идеологии и превратится в райский уголок, соединив преимущества демократии и культуры.

С огромной симпатией прислушивалась я к голосам реформаторов, выступавших за независимость прессы от политической власти, за укрепление и большую автономию судов, за облегчение контроля над исполнительной властью, расширение свобод для университетов и рост полномочий местных властей — в общем, за развитие плюрализма. Мне были близки эти идеи, и я

хотела большего — а именно, непосредственно участвовать в осуществлении такой программы. Но, радуясь своему “возвращению” в Европу, я не сразу обратила внимание на чрезвычайную закрытость французских учреждений. Сложившийся у меня в детстве образ Франции, несущей всему миру свет своей культуры, помещал мне разглядеть бюрократическую реальность, броню протекционизма вокруг высших государственных органов, замкнутость университетских структур. Иностранцев, если у них не было статуса беженца и они получили подготовку в иной школе, неохотно допускали в сферу образования.

Однако в моих мечтах о Европе Франции принадлежала важнейшая роль. Я была убеждена, что победа плюралистической демократии и духа свободы там, где глубже всего укоренилось нечто противоположное — якобинская демократия с ее авторитаризмом, — будет иметь резонанс далеко за пределами страны. Отвергнув окостеневшие категории марксизма, освободив гражданское общество от тотальной власти государства, родина Революции преподаст миру великолепный урок демократии. Он обязательно будет воспринят повсюду на континенте, включая ту, “другую” Европу, чье культурное богатство я понемногу открывала для себя благодаря беженцам. Таким образом, моя заинтересованность в делах Франции имела более далекую цель: Европу в целом.

Я уповала на то, что старый мир получит вливание демократических ценностей, профильтрованных и очищенных от всех пороков американского общества. Ведь я отнюдь не склонна была приходить в восхищение от “всего американского”. Насколько травмировал меня традиционный антиамериканизм, настолько же мне претил блаженный восторг перед Америкой, — а этим особенно отличалось движение неолиберализма, нахлынувшее, как модная волна, в начале 80-х годов, в эпоху рейгановского “чуда”. Оставаясь гражданкой США в основном по разумным соображениям, я чувствовала себя весьма неуютно, когда на меня смотрели как на “американку в Париже”.

Такова, однако, была моя “визитная карточка” в узком мире FNAC — микрокосме, игнорирующем всю планету и всецело поглощенном своим трансатлантическим менюэтом. Тон задавали звезды, сияющие на вершине, в высшей иерархии этой организации: видные бизнесмены, адвокаты, вхожие в мир политической элиты, послы, считанное число знаменитых художников

и, главным образом, *jet society** обеих стран – законодатели мод, щедро рассыпающие филантропические деяния. Летом эта компания собиралась на коктейль, отмечая на лужайках двух посольств День независимости Америки и 14 июля. Здесь были представители цвета французской аристократии, нередко ударившиеся в антипарламентаризм, под руку с красавицами из американского высшего света, на миг забывшими о республиканских ценностях ради того, чтобы вкусить радостей роскошной жизни. Этот довольно-таки противоестественный союз скреплялся печатью рафинированного космополитизма. Атмосфера элитарного, избранного круга и сбор некоторой суммы долларов на восстановление престижа Версаля или на японский садик в Живерни довершали дело.

В интеллектуальных контактах можно было заметить ту же неоднозначность. Победа левых в 1981 году повлекла за собой наплыв ученых из американских университетов: они жаждали своими глазами увидеть торжество “красных” и лично присутствовать при “разрыве с капитализмом” и “изменении курса”. Эти теоретики революции встречались со своими французскими коллегами, озабоченными тем, как разъяснить в США пользу перемены направления. Одни проповедовали исключительность Франции, другие выступали за возврат к нормам демократии: настоящий диалог глухих.

Вероятно, я не была ни американкой, ни француженкой в достаточной степени, чтобы, играя в посредничество, смягчать предрассудки, снобизм, эффекты зеркальных искажений. Я ожидала, что свежий ветер из Америки сметет кастовый дух и принесет в корпоративистскую Францию культ свободной конкуренции талантов и социальной открытости. Но вместо этого видела, что всю страну и, в частности, представителей университетских кругов привлекают в Америке символы элитарности: золото американского диплома доктора наук, престижность цикла лекций или стажировки в одном из лучших университетов. “Америка” становилась знаком высшего отличия во “франко-французских” отношениях. Проамериканисты 80-х годов, в точности как и антиамериканисты прежних времен, ни за что не желали попытаться понять ценности, достоинства и недостатки Соединенных Штатов. Одна абстракция вытеснила

* Богатая элита, завсегдатаи светских мероприятий в разных странах, постоянно путешествующие самолетом (англ.).

другую. Если бы надо было выбирать между бордовыми флажками французского Гарвардского клуба и позолоченной лепниной салона, где он собирался, отечественная позолота оказалась бы важнее. Я возлагала гораздо больше надежд на блиц-поездки комитетов предприятий и на мечту об Америке массового общества.

Сохраняя инкогнито, я наблюдала перипетии событий во Франции 80-х годов, регистрируя малейшие изменения с помощью своего франко-американского “стетоскопа” и одновременно выслушивая официальных “докторов”, которые находили страну то больной, то здоровой, приписывали ей то склероз, то кризис роста, обнаруживали то симптомы скрытого “величия”, то явную деградацию. Победа социалистов в 1981 году, напугавшая финансово-политический истеблишмент и воодушевившая склонный к левым взглядам “народ”, была, на мой взгляд, событием положительным и своевременным: повеяло долгожданными политическими переменами, необходимыми для всякой подлинной демократии. Эта победа стала не столько венцом политической мечты, сколько исходной точкой движения к открытости французского общества. Судить же предстояло по фактам.

Шло первое социалистическое семилетие: я ловила каждый признак обновления, страшась возврата к косной казенщине. Мне казалось перспективным все, что могло способствовать развитию динамичного гражданского общества: законы Ору, интерес левых к культуре частного предпринимательства, легализация положения иммигрантов, разрешение свободного радиовещания, политика культурного меценатства. Но при всех успехах социалистов их экономические программы, имевшие узконационалистическую базу, отбрасывали тень на процесс обновления: акты национализации и их антикапиталистические обоснования представлялись мне наивными. Как истинная американка, я с изумлением и не без испуга отреагировала на книжку обмена валюты, затруднявшую заграничные поездки французов. А главное, я просто онемела, узнав, что это недопустимое ограничение свободы личности одобрительно воспринято благонамеренными представителями левых: выходит, они еще оставались в массе своей якобинцами и технократами. Ничто не было мне так чуждо, как решения подобного типа, напоминавшие о народных демократиях и латиноамериканских республиках. Абсурдное распоряжение об ужесточении контроля

над импортом электроники усилило мою тревогу и страх оказаться отброшенной далеко назад в стране, столь приверженной чуждым мне государственным ценностям.

Я поддерживала все голоса за плюрализм и против укрепления власти государства над обществом и экономикой, даже если эти голоса исходили из среды, далекой от моей. Сторонница республиканской школы, я приветствовала крупную демонстрацию 1984 года в защиту свободной школы против создания ужасающей по масштабам унифицированной системы светского образования. Верная слушательница “Radio-France”, я поддерживала инициативу организации независимых радиостанций. Если в Америке я презирала бизнес, то здесь обнаружила в себе горячую симпатию к РМЕ* и их владельцам (большой частью самоучкам), ко всем силам, выступавшим за децентрализацию и автономию, либерализм и конкуренцию.

Мало-помалу я поняла, что в сущности “изменение курса” во Франции достигается ценой полупобед. Конечно, критерии, на которые я опиралась в своих суждениях, не имели ничего общего с французской политической традицией. “Победы”, заставлявшие меня ликовать, нередко оказывались преходящими и мелкомасштабными. Я радовалась, что в связи с делом “Rainbow Warrior”** ведется расследование по американскому образцу, но ограждения вокруг Елисейского дворца и почти такие же вокруг Матиньона оставались непроницаемыми. В стране, где все как один испытывали верноподданническое преклонение перед главой государства, путь к разоблачению тайны преграждала автоцензура, тогда как американская пресса, при поддержке мощной судебной системы, ринулась бы в подобном случае в атаку. Напрасно надеялась я на рост авторитета Конституционного Совета и постепенное отмирание якобинского предубеждения против “правления судей” — положение судов и судей не менялось: они по-прежнему были бедными родственниками власти, облагались податью и оброком и зависели от перемен политической погоды. Система университетского образования, застывшая под глянцем, наведенным отчетами сменявших друг друга комиссий, не поддавалась реформе, вопреки добросовестно-благородным начинаниям министров и студенческим бунтам. Похоже, стаканы вечно оставались недолитыми. Или это были бочки данаид?

* Малые и средние предприятия (фр.).

** Название корабля “Гринпис”, взорванного в водах Новой Зеландии. — Прим. пер.

Идеалы и практические цели организации “SOS Racisme” позволяли рассматривать ее как французский аналог бесчисленных американских объединений участников борьбы за гражданские права негров, однако этому благородному движению не суждено было достичь такого же размаха. Оно представляло собой порождение эпохи индивидуализма и гедонизма, путавшей рок-концерты с социальной ангажированностью: этот политический “недоросль” предавался радостям массовой культуры и пользовался поддержкой каких-то высокопоставленных чиновников, надеявшихся таким путем очистить свою совесть и ввести игру в безопасные рамки. В рядах движения состояли главным образом сами жертвы расизма, так что группы “SOS Racisme” во Франции никак нельзя было равнять с отрядами социально ответственной молодежи из среды американской белой элиты, приложившими все силы, чтобы распахнуть двери демократии для черных. Молодежь Нейи-Отая-Пасси держалась от всего этого в стороне, видимо, целиком поглощенная сражением со школой, предвещающим достижение зрелости.

Новые силы французского общества с большим трудом прокладывали себе путь, одолевая препятствия, воздвигнутые замкнутым миром избранных – выпускников Национальной школы администрации. Дипломированные “школьники” – благоразумные конформисты – обосновались в высших органах управления с единственной целью: оградить государство от опасных эксцессов в обществе. Благодаря этой просвещенной касте Франция сохраняла стабильность вопреки политическим потрясениям, особенно в послевоенный период, что, несомненно, вызывало зависть итальянских реформаторов, стремившихся создать свою культуру государственности и высшую школу управления. Обаятельные, толковые, они так чутко прислушивались ко всему, что исходило из “внешнего мира”, так убедительно рассуждали о “мировых вызовах”, – а на деле были поразительными консерваторами. Мало того, что они мерили на свой аршин ваши заслуги, – они присвоили себе право хронометрировать ваш бег с препятствиями. В чехарде назначений, отставок, конкурсов на должность для укрепления авторитета большой стаж не требовался. Таким образом, Франция сочетала – что не делало ей чести – пороки феодально-чиновничьего Китая и безрассудство “старого режима”, доверявшего королевские должности почти подросткам.

При такой замкнутой системе подбора руководящих работников ни возраст, ни опыт особой роли не играли. Государство управляло обществом, насаждая своих людей. Когда-то я надеялась, что американское влияние положит конец рутине, и сформируется новый слой элиты, более пестрый по составу, более открытый миру. Но этого не произошло. После поездки в Америку представители французской элиты, успевшие получить “благословение” отечественной высшей школы, возвращались к своим привычкам.

Пришлось мне признать очевидное. Мечта о том, чтобы привить Франции основополагающие, чистейшие ценности Америки, была не что иное, как поиски квадратуры круга. Франция имела свои традиции общественного развития и, прежде всего, собственные мифы о демократии, причем никто не осмеливался испытать их пред зеркалом истины. Конечно, она формировала свою элиту рутинным методом, однако это делалось не только с согласия, но и при восторженном одобрении ее народа, с малых лет приученного видеть мир в свете внушаемых ему безапелляционных исторических оценок и суждений. И вообще, можно ли что-то изменить в стране, где средний класс обеспечен куда лучше, чем в Америке, и пользуется социальными правами и льготами на зависть населению Нового Света? Пытаться привить американский опыт в стране, где считается обычным делом иметь загородный дом, – затея алхимика, да и только.

И я ушла из “Франко-американских связей” – тем более, что от той Америки, которую я любила, остался лишь призрак. Современную Америку заполонили “яппи” и “золотые мальчики”, она погрязла в эгоцентризме и бескультурье, укрывшись за спиной своего президента. Америка рейгановского “чуда”, не знающая иных ценностей, кроме чисто материалистических, иных путей, кроме естественного отбора, без намека на какую-либо социальную идею, уже не была достойным подражания примером. И тем не менее французов сводила с ума именно она, а не ее старшая сестра, несравненно более благородная, страждущая Америка 60-х годов. Она мечтала о братстве и боролась за равенство, но тогда все отвернулись от нее, выбрав идеологию революции и третьего мира. Однако та Америка, объятая пламенем и сомнениями, с ее слабостями и надеждами, порывами и противоречиями, доказала необыкновенное могущество демократических институтов власти. Рейгановский эрзац с его голливудской мишурой был только карикатурой на прежнюю Америку, забавой для новой кочующей

элиты. Америка, всецело занятая computer chip* и junk bonds**, с опухшим от наслаждений лицом, с запашком Далласа, — то была не моя Америка.

Социальные выступления этнических меньшинств в те годы не несли ничего утешительного. Они рассматривались как проявления групповых интересов и были далеки от пламенных идеалов Мартина Лютера Кинга. Под яркими прожекторами media негры, кубинцы, “чиканос”, феминистки, гомосексуалисты методично делили пирог американской мечты. Учет этнических квот — столь же придиричивый, как и учет квот, определяющих производство молока в ЕЭС, — регулировал общественную динамику, за неимением коллективной точки зрения. Усталая Америка маскировала свои морщины и отчаяние с помощью рейгановской косметики.

Итак, я чувствовала себя вдвойне иностранкой, присутствуя в 80-е годы на следовавших одно за другим франко-американских торжествах, сопровождавшихся тостами и братскими объятиями. Начиная с двухсотлетия Йорктаунской битвы, выигранной американцами благодаря французским войскам в 1781 году, вплоть до двухсотлетия Французской революции (а между этими датами праздновались годовщины путешествий Джефферсона во Францию, столетие статуи Свободы, шестидесятилетний юбилей первого трансатлантического перелета Линдберга) — все поводы были хороши для подтверждения “нерушимости уз, соединяющих республики-сестры”, как говорилось в официальных речах. Но я отлично знала, что, несмотря на более или менее искренние улыбки, здесь каждый пребывал в твердой уверенности относительно превосходства своей стороны. Два универсализма публично обнимались на брачном пиру, где от всех “прочих” требовалось воздержание.

Я сошла с накатанной франко-американской стези, устав от этой нарциссической двусмысленности. Во Франции же я была солидарна с теми силами, которые ценили перспективы подлинной открытости. Мой окольный путь кончился. Для меня настало время вернуться на старые европейские дороги и, продолжая странствие между демократией и культурой, соединить вместе все разрозненные фрагменты.

* Микросхемы (англ.).

** Дуптые облигации (англ.).

Эпилог: панъевропейка

80-е годы, начавшиеся в Европе под знаком пессимизма, а завершившиеся эйфорией революций в восточных странах, увенчались апофеозом Европы без Стены. Давняя мечта моего детства стала обретать реальность: старый континент, очертания которого я созерцала из иллюминатора самолета на заре моих европейских каникул, вновь предстал в его целостности. Обновленная Европа Просвещения, гордая своими достижениями и в то же время признавшая ошибки, исповедующая одни и те же демократические ценности по всему ее пространству — от запада до востока, — Европа сближения наций и возрождения культуры возникла передо мною, как нежданное обетование. Идеологический кошмар остался позади.

В Европе 90-х предугадывались и полная новизна, и нечто ностальгическое: отсутствие границ возвратит нас к эпохе до 1914 года, едва сохранившейся в памяти старожиллов. Но воля к демократии и жажда свободы внесут свежую струю, уводя от социальной напряженности и националистической замкнутости прошлого. Новая Европа восстанавливала мосты, распахивала ворота городов, обновляла административные системы, обретала свой пейзаж — и без нее я уже не мыслила свою жизнь, настолько естественным казалось все это...

И все же тревога не проходила: сумеет ли старый континент преодолеть свою косность, незаметную сегодня за эйфорическими порывами? Сможет ли он покончить с национальной ограниченностью, перестать нащупывать вслепую политические пути, открыться миру, не затаивая протекционистских интересов? Созидающаяся Европа — камень, извлеченный на свет из потемок столетия, — заблестит, лишь пройдя огранку демократии. Она могла бы сверкать, как бриллиант... или мы увидим лишь тусклый отблеск неотшлифованной, мутной поверхности,

в зернах национальной розни? Медленное продвижение 80-х годов, как многие другие исторические повороты, не обещало однозначных ответов на эти вопросы. По крайней мере, дорога надежды проложена.

Оставив в стороне Европу “двенадцати звезд”, рекламируемых на все лады, грузовики TIR, бордовые паспорта, многоязычные этикетки на стаканчиках йогурта, а также технократические игры и громкие заклинания по поводу единого рынка в 1993 году, я подводила свои собственные итоги. Счастливым предзнаменованием показались мне всеобщие выборы Европейского парламента, избрание его президентом Симоны Вей, ее речь на инаугурации, когда рядом с ней стояла Луиза Вайс, — эти еврейские женщины были живым напоминанием об ужасах прошлого и олицетворяли надежду на будущее. Я приветствовала как важное достижение новую договоренность политиков и полиции о выдаче террористов отечественным властям — свидетельство признания демократии в Испании, Италии и Германии.

Эта Европа, проникшаяся демократией, но все еще сохранявшая мишурную оболочку технократизма, казалась мне лишенной духовных основ без восточной ее половины. Воспринимая лучшее, что было в Америке: демократический индивидуализм, бизнес, — она чаще всего поворачивалась спиной к своему Востоку. Значимость государственных интересов, игры пронизанной влиянием media культуры, компромисс с негласно признанным мировым порядком — из всего этого выростала устрашающая преграда. Неким напоминанием служил лишь хрупкий мостик, наведенный диссидентами и беженцами, занимающими маргинальную, почтительно-благодарную позицию по отношению к рассеянному Западу. Я смотрела на них с уважением. Они обладали достоинством и скромностью подлинных борцов. На Европу и они, и я смотрели по-своему, как бы со стороны; объединяла нас и общая мечта о ее будущем. Полностью разделяя их демократический плюрализм и горячую приверженность культуре, я понимала и их разочарования: Европа нередко проявляла ограниченность, поддавалась интеллектуальным модам, мимолетным увлечениям.

Именно в их среде я встретила истинный симбиоз культуры и демократии. Глубоко ценя и культуру, и демократию (в особенности формальные свободы и системы представительства), они не мыслили одну без другой и мечтали, что их страны

вольются в Европу, порвав с советской империей. Изгнанники с Востока не считали Америку воплощением варварства и не равняли ее с “другой” державой-завоевательницей – Советским Союзом. Невозможно было считать этих двух гигантов одинаково неправыми или, хуже того, мирясь с “европейским”, отвергать “атлантического”. Америка была маяком, противостоявшим подлинному варварству, советскому тоталитаризму. Их слова меня ободряли.

Когда эти диссиденты-изгнанники пришли к власти в новой Европе после 1989 года, – могла ли я не рисовать в мечтах идеальный союз Востока и Запада? Восток силен нравственностью и культурой, и прекрасное олицетворение этой силы – Вацлав Гавел; Запад – обладатель стабильных структур демократического мира, представленного Советом Европы, и могущественного экономического сообщества. Однако оптимистическому сценарию не был заранее гарантирован успех. Вновь обретенная Европа дышала весной, но ее все еще окутывал туман политической, историко-культурной неопределенности, где все еще маячили призраки прошлого. Показались на поверхности ксенофобия и расизм, а вместе с ними – застарелая межнациональная вражда, как будто история-победительница тешилась, открывая – в шутку или всерьез – все свои пропыленные ящички для последней инвентаризации. Верить ли, что эти страсти, извлеченные из забытого сундука, возвещают развязку европейских трагедий, что они станут поводом для последнего вывоза нечистот с исторической сцены? Я надеялась на это – иначе “моя Европа” рассыплется, превратясь в архипелаг, раздираемый эгоистическими страстями. Однако появление расизма и этнических конфликтов омрачало едва забрезживший ренессанс...

Я видела признаки возрождения пропахшего нафталином антисемитизма, но не хотела в это верить, как когда-то, в Италии 70-х годов, не верила в динозавров коммунизма и неофашизма. Этот поток скрытой ненависти, не поглотивший реальных жертв ни на западе, ни на востоке, брал начало в культурной пустыне послевоенной эпохи.

Отрыжка плохо переваренного прошлого, антисемитизм, с другой стороны, несомненно представлял собой поверхностный продукт нашего общества, падкого на скандальную информацию. Свастики, намалеванные на еврейских надгробиях во

Франции, были скорее актом осквернения признанных ценностей в духе “панков”, чем проявлением той самой расовой ненависти, из-за которой в исторически иной Европе, да еще в условиях мирового экономического кризиса, разразилась Катастрофа истребления евреев. Теперь, когда изменились политико-юридические структуры, когда пресса не питает былого пристрастия к громким заголовкам, проповедующим расовую вражду, на фоне демократического индивидуализма со свойственной ему индифферентной терпимостью этот антисемитизм – уцененный товар истории, – при всей его отвратительности уже не способен сыграть реальную политическую роль ни на Западе, ни, может быть, даже на Востоке.

Совсем другое дело – глубоко коренящийся расизм в отношении к иммигрантам на Западе и этнические конфликты на Востоке. Будущее Европы зависит от того, как разрешится эта двусторонняя политико-культурная проблема. Западноевропейские страны, ни исторически, ни по своему государственному устройству не подготовленные к плюрализму и терпимости, чуждые традиций “земли иммиграции”, настороженно встречают приезжих (из мест все более экзотических), опасаясь появления на своих территориях гетто и групп давления по американскому образцу. И потому при виде турок, ставших “датчанами” или “немцами”, “британцев” пакистанского происхождения, итальянских филиппинцев или французов-североафриканцев (не говоря уже о черных, жертвах расизма почти повсеместно) мне приходит мысль, что они будут определять обратную сторону свежоотчеканенной европейской медали.

Эти люди, исключенные из круга “двенадцати звезд”, глядели на воссоединение Европы со своих откидных кресел, со страхом думая, что однажды их может “смыть” – если не физически, то в культурном плане, – волной восточноевропейских эмигрантов. На Востоке, как и на Западе, необходимым условием консолидации стран и разнородных групп населения в каждой стране будет инъекция сильных доз плюрализма и терпимости, нейтрализующая национализм. Сможет ли Европа достойно справиться с этой задачей? Грандиозный процесс историко-культурного очищения, вероятно, потребует больших усилий, чем непростые договоренности в области экономики и промышленности. Но, как бы то ни было, эта задача является самой насущной с точки зрения европейской идентичности и достоинства континента.

На заре новой Европы, свободной от идеологических границ, декларирующей множественность своих культур, но в то же время чреватой расовыми, этническими и религиозными противоречиями, я мысленно возвращаюсь к высоким моментам американской истории, которые мне пришлось непосредственно пережить, — и они служат опорой моих европейских упований. Что касается права, религии, социальных перемен, американская демократия, невзирая на все ее недостатки и пробелы, богата добрыми примерами. Вновь вспоминаю Атланту 1964 года — день после принятия Закона о гражданских правах. В тот день белые и черные (одних переполняли ненависть и презрение, других — страх и гнев) впервые ели вместе, сидя рядом в общих ресторанах. Они не питали взаимной приязни, но неукоснительно исполняли государственный закон. Свободный вход в автобусы и рестораны был лишь началом, а позже черные получили возможность выделить из своей среды выдающихся политических деятелей. Социальные трудности, бытовой расизм не изжиты и поныне. Но принятый закон по крайней мере представлял собой незыблемый ориентир и служил рычагом в дальнейшей санкционированной борьбе. Смею надеяться, что когда-нибудь Европа, не довольствуясь чистой риторикой, сумеет установить власть закона, необходимую для обуздания страстей, на самом деле не более жестоких, чем расовая ненависть в Америке. Европейские институты, доступные не только для правительств, но и для простых людей, будут защищать их права, обеспеченные законами — четкими и ясными, созданными не для того, чтобы превратить людей в ангелов, но чтобы научить их сосуществованию в демократическом обществе, несмотря на свойственные им предрассудки.

Думаю еще о таком ярком символе единства и плюрализма, как еврейский центр Гарварда — Гиллель-Хаус... Евреям-гарвардцам самых разных взглядов, объединившись, удалось придти к образцовой терпимости — и как раз в том, в чем компромиссы достигаются с наибольшим трудом: в сфере религиозного культа. Три течения иудаизма: ортодоксальное, консервативное и реформистское, ведущие беспощадную войну между собой в Израиле, иногда переходя от сильных выражений к силовым действиям, в Гарварде (да и вообще среди американских евреев) мирно сосуществуют.

Каждую весну я изучаю два списка: в одном из них выдающиеся выпускники Гарварда — кандидаты в члены Harvard Board of Overseers — совета, возглавляющего университет; в другом — более

молодые гарвардцы, кандидаты в Associated Alumni. Мне, как бывшей воспитаннице Гарварда, надлежит участвовать в выборах. И это наводит на размышления о том, что новой Европе понадобится своя элита. Будет ли она состоять из новых лиц — из представителей всех живых сил, различных общественных групп, — или же Европа предпочтет сохранить прежний элитарный слой и рутинные методы его формирования? Сможет ли горстка новых людей, выдвинутых восточноевропейскими революциями, дать импульс этому процессу? Я всматриваюсь в улыбающиеся лица: мне предстоит выбрать кого-то из трех десятков кандидатов на основании биографической заметки. Дипломы (разумеется, блестящие) что-то о них говорят, но лишь в первом приближении, а содержание их жизни по окончании университета характеризуется тем, какие политические, социальные и культурные интересы они отстаивают. Для меня важны не звания, а личность кандидата, его общественная деятельность.

Здесь передо мною проходит вся Америка. Вот крупные банкиры с Уолл-стрит, адвокаты и деловые люди Среднего Запада — представители традиционного Гарварда: он так мне не нравился в молодости, и, лишь побывав в Европе, я смогла оценить его достоинства. Но рядом с ними — преподавательницы скромных колледжей, консультанты по образованию в наименее обеспеченных штатах; адвокаты из черных, работающие в городских общинах; журналисты провинциальных газет, предавшие огласке какую-нибудь темную историю, чреватую последствиями национального масштаба; врачи-филантропы, вносящие значительный вклад в культурную жизнь своего штата... фермеры, активисты “чиканос”, экологи и даже (среди кандидатов в Ассоциацию выпускников) лидеры гомосексуалистов, оказывающие юридическую помощь “голубым”, заболевшим СПИДом. Разве каждая из этих пчелок, строя свою крошечную соту, не работает в конечном итоге на благо всего американского общества? Разве эффективность их работы не одерживает верх над эгоизмом, вопреки “сепаратистским” интересам?

Весной 1990 года гарвардские выборы совпали с первыми европейскими разочарованиями после эйфории осенних революций. Обнаружились подспудные разногласия между немцами и поляками вокруг границы по Одеру-Нейсе. Разоблачен секрет политико-журналистского монтажа, который хранили тимшоарские трупы. Налицо полная зависимость болгарских

турок и румынских венгров от соседних народов. В Польше первые трещины раскололи прежде единый фронт Солидарности. Прошел год... Францию вновь потрясли убийства на почве расизма, спровоцированные недалекими политиками. Иммигранты, имея законный статус и даже гражданство, повсеместно сталкивались с прежней нетерпимостью. На Востоке в разгаре были этнические конфликты: союз чехов и словаков все более напоминал брак в бергмановских фильмах; распад Югославии обогрился кровью. Повсюду толпы людей отчаянно стучали в закрытые двери. Страны, некогда покидаемые беженцами, стали вдруг мечтой новых иммигрантов. Новая Европа кипела, меняясь на глазах, а старый мир взирал на нее, поеживаясь, без энтузиазма. Хватит ли ему воли и мужества взять на себя эту ношу?

И тогда в разнообразии групповых интересов американцев, которое в молодости меня шокировало, я увидела что-то обнадеживающее. В моем сознании возник образ Европы под управлением совета, похожего на Гарвардский Board of Overseers, где каждый голос будет услышан, где займут свои места и румынский венгр, и словак из Чехии, и немец из Польши, и словенец, где представительство меньшинств только укрепит законные полномочия больших народов. вместо якобинского эгалитаризма, выдвинувшего благородный, но довольно абстрактный лозунг “общих интересов”, восторжествуют подлинный плюрализм и единство на основе глубинных демократических принципов. Новый, разноликий слой элиты станет участвовать в совершенствовании общества, а государство, заняв более скромную позицию, из тормоза превратится в опору этого процесса.

Европейская культура, сильная своей многовековой историей, драматичной, но прекрасной: ее бытовые традиции, ее память и памятники – вот что смягчит издержки плюрализма по-американски. В Европе Пруст никогда не окажется пленником рубрики “gay studies”*. Никакая шайка недоучек не посмеет заявить, будто опыт Платона и Аристотеля, белых представителей мужского пола, бесполезен для всех прочих особей рода человеческого – женщин и цветных. Наоборот, открытая Европа предоставит широчайшие возможности расцвета личности, не ограниченные принятыми в Америке квотами. Опираясь на традиции государства-Провидения и на патернализм бюрокра-

* Исследования гомосексуализма (англ.).

тии, страны Европы избегнут и крайностей либерализма “по-дарвиновски”. Старый континент, с его городами-светочами, историческими ландшафтами, гармонией пространств останется обителью гуманизма.

Но если не прозвучит голос меньшинств (только они, напомнив о давних своих обидах, помогут пересмотреть национальные мифы, отдать должное тем, кто забыт историей), — открытость в культуре, без которой немислимо настоящее европейское пространство, будет всего лишь химерой. Мужество, необходимое для того, чтобы прямо взглянуть на жгучие проблемы прошлого, простить и получить прощение, не может быть уделом одного Вацлава Гавела. Это задача молодых сил великодушной, открытой Европы. Наступит время — и Европа, по примеру Америки, воскресит в книгах и фильмах множество трагических страниц своей долгой истории. Вспомним, совсем недавно Соединенные Штаты признали свою вину перед американцами японского происхождения, интернированными в лагеря в период второй мировой войны: американское правительство принесло им извинения, подкрепленные материальной компенсацией за причиненный ущерб. Европа тоже омоет старые раны — и тогда преодолет решающий рубеж на пути к подлинному плюрализму. Мир воцарится в памяти ее народов, и европейцы осознают свою двойную принадлежность — нации и Европе, со всей ответственностью созидавая коллективный проект.

Когда-то старые европейские нации, кичась своей культурой, видели в Америке лишь пример нецивилизованности, а теперь, возможно, откроют в ней образец для подражания. И тогда завершится мой длинный путь, полный сомнений, сквозь туман послевоенной эпохи. Я смогу наконец работать для Европы — идеала моего детства, как никогда близкого к воплощению, — и в то же время сохранять верность духу Соединенных Штатов — страны, оказавшей гостеприимство моему отцу и меня воспитавшей.

Библиотека Московской школы
политических исследований

Диана Пинто

Меж двух миров

Европейская культура и американская демократия

Редактор С.М.Наджафова

Художник А.Бондаренко

Оригинал-макет подготовлен в издательстве "Ad Marginem"

Сдано в набор 02.02.96. Подписано в печать 05.04.96.

Формат издания 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. п.л. 17 Уч. изд. л. 14,2 Тираж 3000. Заказ № 4080

Издательская фирма "Ad Marginem", 113184, Москва, 1-й Новокузнецкий пер.,
д. 5/7, тел. 231-93-60

ЛР № 030546 от 11.06.93.

Отпечатано в Московской типографии №2 ВО "Наука",
121099, Москва, Шубинский пер., 6